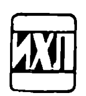
Н. Г. Помяловский

Н. Г. Помяловский









ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Н. Г. Помяловский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва · Ленинград

Н. Г. Помяловский

СОЧИНЕНИЯ
ТОМ ПЕРВЫЙ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва · Ленинград

Р-1
П-55

Тексты печатаются по изданию:
Н. Г. Помяловский, Сочинения, Гослитиздат,
М. — Л. 1951

Вступительная статья и примечания
И. ЯМПОЛЬСКОГО

Иллюстрации художника
Г. ВЕСЕЛОВА

Оформление художника
И. СЕРОВА

Н. Г. ПОМЯЛОВСКИЙ

Шестидесятые годы XIX века — бурная и переломная эпоха в истории России, русской общественной мысли и литературы.

Начался, согласно периодизации В. И. Ленина, второй, разночинский период русского освободительного движения. Именно в шестидесятые годы разночинцы стали ведущей силой в освободительном движении. Разночинцы активно проявили себя не только в политической жизни, но и в области науки, искусства и литературы. Появилась большая плеяда писателей, выходцев из социальных «низов», «разнообразно и размашисто талантливых людей», у которых была непреодолимая потребность поделиться с читателем своими жизненными впечатлениями, «сурово и поспешно рассказывая тяжелую правду жизни».[1]

Они остро поставили в своих произведениях ряд таких вопросов, которые прежде сравнительно редко и большей частью вскользь затрагивались литературой, включили в поле своего зрения различные, преимущественно демократические, слои населения и способствовали дальнейшей демократизации русской литературы. У них не было, естественно, того снисходительного и сентиментального отношения к народу, которое нередко характеризовало даже крупных дворянских писателей. «Когда гг. Помяловские, Решетниковы, Левитовы, Успенские заговорили о тех же людях, — писал в 1872 году радикальный журнал «Дело», — нельзя было не почувствовать, что эти люди — они сами или по крайней мере их близкие знакомые, что среди этих людей проходила или проходит их жизнь, что эти нужды и горе они знают не понаслышке, — в их лице обездоленные

[1] М. Горький, Беседы о ремесле. — Собр. соч., т. 25, М. 1953, стр. 347.

люди могли говорить от собственного своего имени, не прибегая к посредничеству «барственного художника»; в их лице они нашли своих адвокатов».[1]

Ненависть к крепостному праву, ко всем его порождениям и пережиткам в социально-политической, культурной и бытовой сфере, равно как и к складывавшемуся в то время в России миру капиталистических отношений и к буржуазной культуре, непримиримый, бескомпромиссный демократизм, стремление сделать литературу голосом народных масс и действенной силой в борьбе за социальную справедливость — вот что характеризует их творчество.

Одним из наиболее талантливых, умных и смелых писателей этой плеяды был Н. Г. Помяловский.

1

Николай Герасимович Помяловский родился 11 апреля 1835 года на окраине Петербурга — Малой Охте, в семье дьякона кладбищенской церкви. Полудеревенская обстановка Охты давала детям полный простор для их игр и затей. Главной воспитательницей Помяловского, как и героя его рассказа «Данилушка», в котором много автобиографических черт, была «мать-природа». С ранних лет Помяловский имел возможность близко наблюдать жизнь трудового люда.

Родители не сомневались, что сын пойдет по стопам предков — будет дьяконом или священником. Восьми лет Помяловского отдали во второй класс приходского училища, а через два года он перешел в духовное училище.

Программа духовных училищ была очень скудна. Катехизис, священная история, церковный устав, церковное пение, а из общеобразовательных предметов — лишь основы русского языка и арифметики. Сведения по географии и истории предусматривались программой самые ничтожные. Но даже в пределах этой программы учителя большей частью ограничивались тем, что задавали вызубрить «от сих до сих» по нелепому, архаическому учебнику. Сознательное усвоение считалось не только излишней роскошью, но даже вольнодумством. Невежество бурсацких[2] педагогов было нередко анекдотическим, они не знали подчас элементарных вещей, не в состоянии были ничего объяснить своим ученикам, да и не желали

---

[1] П. Никитин (П. Н. Ткачев), Недодуманные думы. — «Дело», 1872, № 1, стр. 11.

[2] Бурсами первоначально назывались общежития воспитанников духовно-учебных заведений, а затем в быту так стали называть и самые училища и семинарии.

утруждать себя объяснениями. Розга была основным методом воздействия на учащихся и внушения им правил нравственности и религии. Ко всему этому нужно прибавить невообразимую грязь, холод, полуголодное существование бурсаков.

Помяловский жил в общежитии при училище. Свои первые впечатления и свои переживания писатель передал в очерке «Бегуны и спасенные бурсы»; самого себя он изобразил в нем в лице Карася. Помяловский рассказывает, что первоначальное состояние придавленности и униженности постепенно перешло в глубокую, органическую ненависть к начальству. Постепенно он превращался в «отпетого» бурсака, резко отрицательно относившегося ко всем бурсацким установлениям. Начисто отрицал он нелепую бурсацкую «науку». Единственная польза, которую она приносила, состояла, по словам Помяловского, в следующем. Видя в каждом уроке своего злейшего врага, насильно завладевшего его мозгами, умный бурсак открывал в учебниках «множество чепухи и безобразия» и тем самым развивал в себе критические и аналитические способности.

Летом 1851 года шестнадцатилетний юноша кончил духовное училище, выдержал выпускные испытания и был переведен в духовную семинарию. Вся система семинарского преподавания и воспитания была направлена к одной цели — семинарии должны были поставлять кадры священнослужителей, всей душой преданных православию и самодержавию.

Петербургская семинария считалась в официальных кругах образцовой. Кормили семинаристов сносно, одевали более или менее прилично, но в семинарии господствовали та же зубрежка, та же бессмысленная муштра, что и в духовном училище. Проводником этих порядков являлся инспектор семинарии А. И. Мишин. Это был типичный представитель николаевского режима, в глазах которого лишь муштра и субординация могли гарантировать общественное спокойствие. Формалист до мозга костей и деспот, он держал в своих руках всю семинарию — не только учащихся, но и педагогов, преследуя малейшие проявления самостоятельности и вольномыслия. Очень невзлюбил он Помяловского, видя в нем постоянный протест против семинарских порядков. Немало натерпелся от Мишина будущий писатель.

В семинарии (еще в большей степени, чем в духовном училище) на первом плане был длинный ряд богословских «наук». Светские, общеобразовательные предметы занимали очень незначительное место. Всякая любознательность, всякие интересы семинаристов, направленные за пределы богословия, решительно искоренялись. В библиотеке можно было получить одни лишь поучительные

нравственно-религиозные сочинения в духе православной церкви. Если у семинаристов обнаруживали добытые ими где-нибудь книги иного содержания, их немедленно отбирали, а провинившихся наказывали. Между тем именно в чтении Помяловский находил единственную отраду. Читал он — особенно в первые годы — совершенно беспорядочно, все, что попадало под руку.

В низшем классе оазисом в пустыне семинарской «премудрости» были для Помяловского лекции по теории словесности, в которых, наряду со схоластическими рассуждениями и определениями, молодой преподаватель все же знакомил учащихся с отрывками из произведений русских классиков.

В 1853 году Помяловский перешел в средний, философский класс. Семинарская наука окончательно опротивела ему. По-настоящему заинтересовался он только логикой и психологией. Помяловский стал записывать свои размышления. При всей их незрелости и наивности они говорят о пытливом уме юноши. Из дошедших до нас заметок того времени особенно любопытна одна — о воздействии окружающей среды на развитие человека.

Только в последние годы семинарской жизни (1855—1857), в старшем, богословском классе, Помяловский, по его словам, «вступил в дружбу с умными людьми».[1] Наиболее развитые семинаристы сплотились в одну товарищескую семью. Под влиянием общественного оживления в стране (после поражения царизма в Крымской войне), отголоски которого проникали и в семинарию, они стали пробуждаться от апатии и спячки, господствовавших в первых двух классах.

Начали выпускать рукописный «Семинарский листок», одним из редакторов которого сделался Помяловский. Он с большим энтузиазмом взялся за это дело. В первых выпусках «Семинарского листка» особенное внимание привлекла статья под названием «Попытка решить нерешенный и притом философский вопрос». Статья эта, подписанная псевдонимом «Тамбовский семинарист», принадлежит Помяловскому. Статья ярко характеризует умственные интересы молодого Помяловского. В ней явственно ощущается тяжелый груз традиционных религиозных представлений и семинарской схоластики, но в то же время она свидетельствует о критических наклонностях семинарского «философа» и его скептическом отношении к правоверному богословскому учению о человеке.

---

[1] Эти слова приведены в биографии Помяловского, написанной его другом Н. А. Благовещенским (впервые появилась в «Современнике», 1864, № 3). Из нее заимствованы и некоторые другие факты и эпизоды.

Журнал внес большое оживление в жизнь семинаристов. Многие заинтересовались политикой и выписали в складчину газету. Стали устраивать вечера с танцами и музыкой, спектакли. Но начальство, узнав обо всем этом, исключило из семинарии нескольких человек. Оживившиеся было богословы упали духом; «Листок» начал хиреть, и, несмотря на усилия Помяловского, выпуск журнала прекратился. «Куда же теперь я дену свои досуги? — с горечью говорил он. — Герменевтику, что ли, долбить? Дудки, брат».

В эти же годы стал формироваться и беллетристический талант Помяловского. Лица, знавшие его в то время, говорили, что он был прекрасным рассказчиком. Тогда же Помяловский написал бо́льшую часть какого-то романа, писал стихи, драму. В последнем выпуске «Семинарского листка» было помещено начало рассказа Помяловского «Махилов». Это первое из сохранившихся его художественных произведений. Рассказ произвел на товарищей большое впечатление.

В «Махилове» прекрасно описана майская рекреация бурсаков, их пирушка, развлечения, песни. Дух бесшабашного молодечества и беспечного веселья окрашивает весь рассказ. Герой его — бородатый богослов, первый силач бурсы — тайно женат на дочери дьячка. Его любовь к Кате, рождение сына овеяны тем же духом здоровой жизнерадостности. Общий колорит бурсы совсем не похож на ту бурсу, которую Помяловский хорошо знал по собственному опыту и которая через несколько лет нашла отражение в его знаменитых очерках. Словно Помяловский искал отдохновения в романтике бурсацкой вольницы. Бурса, изображенная в «Махилове», — это литературная бурса, бурса Н. В. Гоголя и В. Т. Нарежного, недаром действие происходит на Украине. Но это вовсе не беспомощное подражание. Выразительный язык, ярко намеченные образы главных действующих лиц свидетельствовали о незаурядном литературном даровании двадцатилетнего семинариста.

Помяловский кончил семинарию в 1857 году. Четырнадцать лет, бо́льшую часть своей сознательной жизни, провел он в бурсе. Что же он вынес оттуда? Обрывки из разнообразных «священных» текстов и почти никаких знаний, которые могли бы ему пригодиться в жизни. «Бурса наложила на меня такие вериги принижения человеческой личности, — говорил он, — что я никак не могу ориентироваться среди непроглядной и грозной тучи „вопросов жизни“». [1] Но в нем в то же время непрерывно рос протест против царивших в бурсе порядков. Наклонность к критическому анализу, независимость характера, резко отрицательное отношение ко всякому гнету

---

[1] Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 112—113.

и насилию и упорное, хотя еще весьма расплывчатое стремление к более справедливой жизни помогли ему впоследствии выбраться из цепких объятий казенного, официозного мировоззрения и постепенно выработать трезвый, материалистический взгляд на вещи.

2

По окончании семинарии Помяловский поселился у матери на Малой Охте. Отец его умер еще в 1851 году. Материальное положение семьи было нелегкое. Не мог существенно помочь ей и Помяловский. Никакого постоянного заработка у него не было. В ожидании места он занимался частными уроками, читал по покойникам, пел в церковном хоре.

Душевное состояние Помяловского было угнетенное. Сомнения в своем призвании и способностях неотступно тревожили его сознание. Видя в этих переживаниях тяжелое наследие бурсы, Помяловский воспротивился, чтобы его младшего брата также отдали туда. «Я расскажу ему все, до чего додумался: человеком, может быть, сделаю!» Он много занимался с братом, читал в связи с этим сочинения по вопросам педагогики, размышлял о разных теориях воспитания.

Заинтересовавшись вопросами педагогики, Помяловский написал несколько беллетристических очерков. Он долго не решался печатать их, но затем выбрал лучший — «Вукол» — и тайком от всех отнес в редакцию «Журнала для воспитания». С волнением ждал он ответа и скоро — в первой книге журнала за 1859 год — увидел свой рассказ, под псевдонимом «Герасимов», в печати.

Нежная любовь к детям и глубокий интерес к формированию человеческой личности, которые характеризуют все творчество Помяловского, проявились уже в «Вуколе». Рассказ одушевлен теми же идеями педагогического гуманизма, которые пропагандировали в своих статьях Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов. В «Вуколе» описывается, как дикое воспитание коверкает доброго, любознательного ребенка. Возникновение образа дяди Вукола, помещика Тарантова, который от нечего делать доводит племянника буквально до исступления, и пронизывающее рассказ глубокое негодование против насилия над ребенком тесно связаны с той системой воспитания, которую Помяловский испытал на самом себе. Не случайно попали в рассказ бурсацкие злоключения дьячка Гаврилыча. Не случайно некоторые детали перешли затем из «Вукола» в «Очерки бурсы».

Вскоре после окончания семинарии у Помяловского возникла мысль о большом произведении, посвященном бурсе. Косвенно с этим замыслом связан и «Вукол», но началом его непосредственного осуществления является «Данилушка». Помяловский предполагал провести своего героя через всю бурсу и нарисовать при этом полную картину бурсацкого воспитания. В «Данилушке», как и в «Вуколе», показано детство ребенка, и кончается рассказ аналогичным образом — отправлением в школу. Здесь изображена, однако, совсем иная среда, иные семейные влияния и отношения. До поступления в бурсу Данилушка рос и развивался на свободе, без стеснительных ограничений и каждодневных наказаний. Отец Данилушки, дьякон приволжского села, — полная противоположность помещику Тарантову. Но Вукол, поступив в гимназию, встречается с теплым отношением гуманного педагога, а Данилушку ожидала в бурсе совсем другая обстановка. Судьба Данилушки — это судьба самого Помяловского, из любящей семьи попавшего в бурсацкий ад. Оборвав «Данилушку» на том же моменте, что и «Вукола», Помяловский пытался, однако, продолжать его. Таким продолжением является очерк «Долбня» — первый набросок «Зимнего вечера в бурсе». Помяловский долго не решался печатать его. Только летом 1860 года очерк под тем же псевдонимом, что и «Вукол», появился в «Журнале для воспитания».

Время шло. Родственники Помяловского убеждали его приискать себе хотя бы дьяконское место. Сам же он все более охладевал к духовной карьере и все более отчетливо чувствовал, что не в этом его жизненное призвание.

Вторая половина 50-х годов характеризуется неуклонным ростом революционной идеологии и все большим ее распространением в демократических слоях русского общества. Имена В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена были у всех на устах.

Освободительные веяния проникают и в духовные семинарии. Семинаристы зачитываются философскими статьями и книгами, пропагандирующими идеи материализма, и революционной публицистикой. Острый интерес к передовой мысли был в семинариях не случаен. Известно, что разночинная интеллигенция 50—60-х годов рекрутировалась из разных сословий, в том числе из духовенства. Духовенство не было едино по своему классовому составу. Князья церкви — архиереи, епископы и архиепископы — принадлежали к господствующему классу и были верной опорой самодержавия, а угнетенное и приниженное ими сельское духовенство по своему материальному положению и образу жизни зачастую немногим отличалось от крестьянства. В своей массе учащиеся духовных училищ

и семинарий поставлялись именно низшим сельским и городским духовенством. Революционные и научные идеи 60-х годов попадали, таким образом, на благодарную почву. Не мудрено, что сотни воспитанников духовных учебных заведений отказывались от духовной карьеры, становились врачами, литераторами, педагогами и т. д. Многие из них делались непримиримыми борцами с крепостническим государством и царизмом. Недаром самое слово «семинарист» было в устах реакционеров тождественно слову «нигилист». Русская передовая литература, наука и публицистика 50—60-х годов знает немало таких семинаристов. Одним из «отщепенцев» духовного сословия был и Помяловский.

Некоторые сомнения в преподносившихся в семинарии истинах стали тревожить его еще в годы учения. Однако наиболее остро предстали они сознанию Помяловского после окончания семинарии. «Поганая бурса не дала нам никаких убеждений: вот теперь добывай их где хочешь!» — писал он Н. А. Благовещенскому весной 1859 года. И Помяловский настойчиво принялся добывать их.

У нас нет подробных сведений о его чтении, но мы знаем, что читал Помяловский очень много. Самые его произведения свидетельствуют, что он хорошо знал русских классиков. Внимательно следил он за журналами. Из журналов особенное внимание Помяловского возбуждал «Современник». Он с нетерпением ждал каждой новой книжки, статьи Чернышевского и Добролюбова прочитывал по нескольку раз, удивляясь и радуясь сходству своих мыслей с их мыслями. «Составит ли он о чем мнение какое или выразит сомнение в чем, — свидетельствует Благовещенский, — глядь, в «Современнике» то же самое, только выражено оно сильнее и прямее». Влияние «Современника» было одним из самых основных факторов всей его идейной эволюции. «Я ваш воспитанник, — писал Помяловский Чернышевскому в 1862 году, — я, читая «Современник», установил свое миросозерцание». [1]

Кому ни рассказывал Помяловский о своих настроениях после окончания семинарии, о своей жажде знания — все советовали ему поступить в университет.

Петербургский университет переживал в это время эпоху оживления и подъема. Правительство под давлением общественного мнения принуждено было отменить высокую плату за учение, служившую предохранительной мерой против проникновения в университеты демократических слоев населения. Число студентов было

[1] Н. Г. Помяловский, Полн. собр. соч., т. 2, М.—Л. 1935, стр. 272.

увеличено в несколько раз. Социальный состав и облик студенчества резко изменились. Наиболее демократические его элементы чувствовали тесную связь с передовыми течениями общественной мысли, а также принимали непосредственное участие в революционных кружках. Они видели врага не только в университетском начальстве, но и в правительстве.

Слыша со всех сторон об университете, Помяловский решил сходить туда и послушать лекции. Новые сведения, новые мысли, ничего общего не имевшие с теми, которые ему преподносились в семинарии, самая обстановка университетской аудитории сильно подействовали на Помяловского. Он стал с увлечением посещать университет, обдумывая все, что слышал там и узнавал.

Воздействие прочитанных книг и журналов, университет, новые знакомства не могли не сказаться на взглядах Помяловского. Научные и революционные идеи 60-х годов разрушали привитые бурсой традиционные религиозные представления. Это был сложный и мучительный процесс. «Глубоко засевшая в душу философская мистика, — рассказывает знавший все это по собственному опыту Благовещенский, — нелегко, однако ж, исчезала от влияния нового света науки; приходилось разбивать пункт за пунктом каждую отдельную сторону этой мистики и каждая мысль отрывалась с болью, после жестокой усиленной борьбы... О, это тяжелое дело! А Помяловский тогда прямо глядел в свою душу и безжалостно вырывал из нее одну за другою все прошлые свои идеи».

В университете Помяловский впервые попал в атмосферу широких общественных интересов. Небывалое оживление царило тогда в общественной жизни. Вожди революционной демократии были убеждены, что в России в ближайшее время произойдет революция, которая сметет самодержавие и власть помещичьего класса. Верили в коренное обновление социального строя (хотя подчас недостаточно ясно представляли себе пути и способы этого обновления) и более широкие круги демократической интеллигенции.

В 1859—1860 годах в столицах и провинциальных городах возникают одна за другой воскресные школы, отвечая потребности радикально мыслящей молодежи поделиться своими знаниями и сблизиться с народом. В ноябре 1860 года вместе со своими приятелями-студентами Помяловский начал преподавать во вновь открывшейся воскресной школе в рабочем районе Петербурга, на Шлиссельбургском тракте. Помяловский был одним из наиболее активных преподавателей школы. Он с большим увлечением принялся за эту живую и плодотворную работу, отдавая школе много времени.

3

Встретившись в 1860 году с Благовещенским, Помяловский рассказал ему, что пишет большую повесть, в которой хочет «разъяснить отношения плебея к барству» и при этом «описать жизнь обыкновенную, не романическую». Затем он принес Благовещенскому рукопись «Мещанского счастья». На вопрос, где он предполагает печатать свою повесть, Помяловский ответил, что в «Современнике»: «Мне «Современник» больше нравится, чем другие журналы, — в нем воду толкут мало, видно дело... Да и притом, говорят, там всё семинаристы пишут».

Некрасов сразу почувствовал незаурядное дарование Помяловского, и в феврале 1861 года «Мещанское счастье» было напечатано. Так вошел он — до того лишь автор двух очерков — в большую литературу. После появления «Мещанского счастья» Помяловский сблизился с редакционным кругом «Современника». Посещения редакции и беседы с новыми знакомыми произвели на него огромное впечатление. «С каким восторгом, бывало, передавал он мне все подробности этих свиданий!» — сообщает Благовещенский.

Вслед за опубликованием «Мещанского счастья» Помяловский приступил ко второй повести — «Молотов». Работа пошла довольно быстро, и в октябре 1861 года «Молотов» был опубликован в той же книге «Современника», где появились «Коробейники» Некрасова. После «Молотова» имя Помяловского стало известно и в литературных кругах и среди читающей публики. Тургенев, прочитав «Молотова», пишет своим друзьям о «признаках самобытной мысли и таланта» в повести Помяловского, радуется появлению «чего-то нового и свежего». [1]

Круг литературных знакомств Помяловского постепенно расширяется. Он бывал не только в редакции «Современника», но и у Чернышевского дома. Из писателей демократического лагеря Помяловский познакомился с Николаем Успенским, Глебом Успенским — еще до выступлений последнего в печати. Помяловский был в дружеских отношениях с известным историком А. П. Щаповым (произнесшим революционную речь на панихиде по расстрелянным при подавлении восстания в селе Бездне крестьянам), с поэтом Я. П. Полонским, добрым и чутким человеком. Продолжая посещать университет, Помяловский все теснее связывался с революционно настроенным студенчеством. Осенью 1861 года Петербург стал свидетелем небывалых до того времени студенческих волнений. Помяловский был хорошо знаком со многими участниками

---

[1] И. С. Тургенев, Письма, т. 4, М.—Л. 1962, стр. 313—314.

этих волнений и сам принимал участие в известной студенческой демонстрации 25 сентября 1861 года.

Писатель по-прежнему с увлечением работал в воскресной школе. Несколько месяцев он исполнял даже обязанности распорядителя. Человек с ярко выраженной общественной жилкой, Помяловский всегда был охвачен широкими планами: теперь он мечтал об издании популярных книг для народа, о журнале воскресных школ, при помощи которого можно было бы осуществить обмен опытом. Вопросы педагогики были связаны в его сознании с основными вопросами социальной жизни. Так, характеризуя отношение педагога к учащимся, Помяловский исходил из общего отношения передовой интеллигенции к народу. «Все поняли, — читаем в набросках его статьи о воскресных школах, — что низший класс так много сделал для высшего — он построил им гимназии, университеты, академии, лицей, на его подати выучились и смягчили свои нравы, на его подати ездили за границу и привезли оттуда западное просвещение, — так много, говорим, что многие согласились *за честь* участвовать в школе. Вспомнили народ, захотели сблизиться с ним, приподнять его дух и развить до того, чтобы можно было понимать одному другого».[1] Помяловский отвергал покровительственное, снисходительное отношение к учащимся, равно как и механические методы воздействия — наказания, угрозы, выговоры. Нравственная связь между педагогом и учащимися должна лежать в основе школы. А она может установиться лишь при помощи внимательного изучения каждого ученика и той обстановки, в которой он живет.

В январе 1862 года в Петербурге открылся Шахматный клуб. Это был своеобразный литературно-общественный клуб, где встречались и обсуждали события текущей общественной жизни как либеральные, так и радикальные и революционные литераторы. Среди своих знакомых и в Шахматном клубе Помяловский пропагандировал идею коллективного литературного труда. Он хотел объединить группу писателей, которые взялись бы за тщательное, систематическое изучение и изображение быта городской бедноты. Это было бы своеобразное продолжение сборников «Физиология Петербурга», изданных Некрасовым в 1845 году. «Я, например, возьму на свою долю всех петербургских нищих, — говорил он, — буду изучать их быт, привычки, язык, побуждения к ремеслу и все это описывать в точных картинах; другой возьмет, положим, мелочные лавочки для таких же изучений, третий — пожарную команду

[1] Н. Г. Помяловский, Полн. собр. соч., т. 2, М.—Л. 1935, стр. 298—299.

и т. д. Все добытые сведения помещать в особом реальном журнале, устроенном на общинных началах, и из этих сведений, взятых целиком из жизни, впоследствии явится довольно полная картина нашего петербургского быта».

Преподавание в воскресной школе, постоянное соприкосновение с рабочими, ремесленниками, их детьми, их образ мысли и огромная жажда знания еще более усилили демократические убеждения и симпатии Помяловского. На каждого общественного деятеля или литератора, выходящего из низов общества, он смотрел с любовью и гордостью. Вместе с тем все больше росла в нем неприязнь к внешнему, показному либерализму, получившему в эти годы широкое распространение.

Резкое поправение либеральных писателей и общественных деятелей стало к этому времени совершенно явным. Они неустанно кричали о неосуществимости и опасности идей «Современника» и «Русского слова», зная, что те в силу цензурных условий не могут ответить им полным голосом. Ожесточенной травле был подвергнут в равной степени со стороны либеральной и реакционной прессы Чернышевский.

Все это с еще большей отчетливостью раскрыло Помяловскому подлинную сущность либеральных кругов. Все чаще охватывали его приступы тоски. Иногда по целым неделям он стал пропадать в трущобах Сенной площади. Он нашел там новых знакомых и приятелей. Пытливым взглядом присматривался он к страшному быту и выброшенным из жизни людям. Уже тогда Помяловский задумал новый роман, озаглавленный впоследствии «Брат и сестра», и с желчью говорил, что в нем, как и в «Очерках бурсы», он выставит напоказ такие явления действительности, от которых содрогнется «благовоспитанное» общество.

В мае 1862 года Помяловский поселился на даче на Малой Охте. Писатель был полон творческих планов. Он вплотную приступил к писанию романа «Брат и сестра». Успех «Зимнего вечера в бурсе», опубликованного в журнале Достоевского «Время», побудил его взяться за целую серию очерков о бурсе.

Однако ряд событий, свидетельствовавших о наступившей реакции, выбил Помяловского из колеи. Правительство давно готовило разгром революционного движения и передовой мысли и только искало подходящего повода. Таким поводом оказались петербургские пожары 1862 года. Стали обвинять в поджоге «нигилистов» и студентов. Были закрыты все воскресные школы, народные читальни, Шахматный клуб; были приостановлены на восемь месяцев «Современник» и «Русское слово». Начались многочисленные аресты. 7 июля 1862 года был арестован Чернышевский.

Разгул реакции потряс Помяловского. Со злобой он говорил о тех, кто стоял на пути светлого будущего России: «Проклятые!.. Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшие мои надежды...»

Разрыв между либеральными и демократическими течениями русской общественной мысли принял еще более резкие формы после перехода правительства к открытой борьбе с революционным движением. Стали изменять свое направление многие журналы. Это сказалось и на эволюции «Времени». В сентябрьской книжке, где был помещен второй очерк Помяловского — «Бурсацкие типы», появилось объявление об издании журнала в 1863 году. В этом объявлении Ф. М. Достоевский заявил о том, что «Время» видит своего главного врага в «свистунах» и «теоретиках», причем под этими кличками имелись в виду идеологи революционной демократии, демократическая журналистика, и в первую очередь — приостановленный правительством «Современник». Прочитав это объявление, Помяловский тотчас же порвал с «Временем».

Обострению тоски способствовала и неудачная любовь. Помяловский уже давно любил девушку, воспитанницу столоначальника, и хотел жениться на ней, но столоначальник воспротивился их браку и отказал Помяловскому, как человеку материально необеспеченному. Личное горе и тяжелые общественные потрясения губительно сказались на писателе: он стал много пить. Но это только увеличивало его мучения.

Лето 1863 года писатель решил провести вместе с братом и приятелем, студентом Медико-хирургической академии, на берегу Невы, между Петербургом и Шлиссельбургом. Они поселились в крестьянской избе. Спокойная жизнь на лоне природы с близкими людьми хорошо подействовала на Помяловского. Здесь он написал четвертый очерк — «Бегуны и спасенные бурсы» и начал рассказ «Поречане». Бодрое, рабочее настроение скоро, однако, покинуло его.

В минуты подъема Помяловский не раз говорил о своих планах и замыслах. «Теперь работать, работать! начну новую жизнь, — все старое к черту!» — мечтал он. Но скоро нелепый случай прервал его жизнь. В конце сентября 1863 года на ноге у писателя образовалась опухоль, а затем сделался нарыв. Когда нарыв вскрыли, оказалось, что у него гангрена. 5 октября 1863 года, на двадцать девятом году жизни, Помяловский умер, не успев осуществить главные свои замыслы, свидетельствовавшие о быстром творческом росте.

Похороны Помяловского вылились в демонстрацию любви и симпатии к нему широких кругов демократической интеллигенции. На могиле один из провожавших покойного, характеризуя его как

честного, правдивого писателя, с сердечной болью писавшего о том, что «под гнилыми общественными условиями мрут лучшие человеческие силы», обратился к нему со следующими словами: «Если бы ты мог свидеться теперь с Полежаевым, Белинским, Шевченко, Добролюбовым или кем-нибудь из наших погибших лучших людей, мы просили бы тебя сказать им, что у нас по-прежнему гибнут лучшие люди».[1]

4

В демократической литературе 60-х годов были две основные творческие линии. Для первой характерны очерки, для второй — повести и романы, отличительным признаком которых был образ «нового человека», поиски положительного героя из разночинской среды. В творчестве Помяловского представлены обе эти линии. К первой принадлежат «Очерки бурсы», ко второй — повести «Мещанское счастье» и «Молотов».

«Мещанское счастье» и «Молотов» связаны судьбой главного героя и представляют собой результат единого художественного замысла. Это первые в русской литературе 60-х годов крупные произведения, в центре которых стоит плебей, разночинец, причем описанный не со стороны — враждебным ему или, во всяком случае, плохо понимающим его природу автором, а, так сказать, изнутри, писателем демократического лагеря.

Повести Помяловского поднимали актуальные и существенные вопросы своего времени. Тема и проблема повестей — процесс созревания социального самосознания разночинца и его борьба за свое место в жизни, конкретные формы и внутренние противоречия этой борьбы. Первые же строки «Мещанского счастья» раскрывают перед читателем его основную коллизию. Конфликт между продающим свой труд «умственным пролетарием», не имеющим ни кола ни двора, ни «благородных» предков и традиций, и его хозяином — помещиком, «дед и прадед которого умерли под теми же липами», составляет основу идейной и сюжетной ткани произведения. Помяловский хотел показать всю неизбежность этого конфликта. В пренебрежительных словах Обросимовых о Молотове нашел отражение известный «общественный закон», и когда Молотов впервые столкнулся с этим законом, вопрос о непримиримости плебейства и барства встал перед ним во всей своей остроте.

Противопоставление бедного молодого человека, вышедшего из низов, помещикам, в имении которых он живет в качестве учителя

[1] «Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 158—160.

или секретаря, встречалось в русской литературе и до Помяловского. Вспомним хотя бы Круциферского и Негровых в романе А. И. Герцена «Кто виноват?». Но у Герцена это противопоставление иначе мотивировано (любовь Круциферского к Любоньке) и не так социально заострено.

Конфликт плебея с барами вскрывает подлинную сущность последних. Сначала Помяловский — разумеется, умышленно — изображает Обросимовых как бы с точки зрения Молотова, симпатичными, добрыми, порядочными людьми. Но вся их деликатность и гуманность оказываются обычной маской либеральных помещиков, которые допускают сближение с плебеем лишь до известного предела и эксплуатируют его, хотя и не в таких грубых формах, но не меньше, чем бурбоны-крепостники.

Такое изображение Обросимовых тесно связано с атмосферой кануна крестьянской реформы. Главной задачей прогрессивного лагеря 40-х годов была борьба с крепостным правом и его оплотом — николаевской монархией. Поэтому основные удары передовой литературы этого десятилетия были направлены на крепостников (Негров в «Кто виноват?» Герцена, Крошин в «Противоречиях» М. Е. Салтыкова и др.). Во второй половине 50-х годов, в ходе борьбы с крепостническим строем, наступает окончательный разрыв между революционно-демократическим и либеральным лагерем, намечавшийся задолго до этого. Характер изображения Обросимовых в «Мещанском счастье» определяется этим историческим фактом. Именно так писали о либералах Чернышевский и Добролюбов, нередко видевшие в «господах эманципаторах»[1] более опасных врагов, чем откровенные крепостники, потому что это были враги, маскировавшиеся громкими фразами о реформах и народе. Именно помещика-либерала развенчал уже после Помяловского и В. А. Слепцов в своем романе «Трудное время».

Из проблемы взаимоотношения плебея и барства, на ее основе возникает у Помяловского проблема завоевания разночинцем определенного места в жизни, проблема «мещанского счастья».

Среда, в которой происходит действие второй повести — «Молотов», — петербургское чиновничество, семья Дороговых, их родственники и знакомые. Помяловский рассказывает историю четырех поколений этой семьи. Мы видим Дороговых и их родню достигшими того идеала, к которому они стремились, — безбедного, обеспеченного существования. Помяловский в известной мере симпатизирует этим людям, мысленно противопоставляя их дворянству,

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Пролог. — Полн. собр. соч., т. 13, М. 1949, стр. 106.

благополучие которого основано на подневольном крепостном труде. Здесь все действительно добыто по́том и кровью.

Примерно та же среда изображена Чернышевским в начале его романа «Что делать?» в гораздо более темных красках. И тем не менее Чернышевский относит жизнь Розальских (во втором сне Веры Павловны) к «чистой», «реальной грязи». «Реальная грязь» грязна, но «все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы». «...Пусть немного переменится расположение атомов (имеется в виду изменение общественного строя. — *И. Я.*), и выйдет что-нибудь другое; и все другое, что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы». Тут же говорится, что «жизнь имеет главным своим элементом труд, а потому главный элемент реальности — труд».

Труд и является той чертой в облике Дороговых и им подобных, которая заставляет Помяловского относиться к ним с известной симпатией. Но вместе с тем Помяловский так ярко показывает узость и бедность их интересов, что наряду с уважением к тяжелому труду и упорству, при помощи которых они вырвались из нищеты, возбуждает в читателе отвращение к их замкнутой животной жизни. «Человеку с большими запросами от жизни думается: „О господи... не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!“». Дороговы не только сами остановились в своем развитии, но всячески душат те новые силы, которые возникают в их собственной среде.

В самой семье Дороговых был человек с гораздо большими запросами, человек, тяготившийся их жизнью, — их дочь Надя. Откуда появились у Нади эти запросы? Их внушили ей чтение, разговоры с Молотовым, самый «дух времени», который медленно, окольными путями, но все же проникал в эти законопаченные уголки.

«Женский вопрос» был в конце 50-х — начале 60-х годов одним из актуальных вопросов. Вместе с оживлением общественной жизни все более росло стремление женщин к образованию, к освобождению от семейного деспотизма, к нравственной и материальной самостоятельности. Освобождение женщины входило как составная часть в политическую программу всех передовых общественных деятелей и публицистов этой эпохи. Отражением этих идей и является в значительной степени образ Нади.

Надей руководят, в первую очередь, любовь к Молотову и желание освободиться от семейного гнета. Но для всего строя семьи Дороговых бунт Нади был явлением неслыханным. Рисуя ту смуту, которую он внес в семью Дороговых, Помяловский с удовлетворе-

нием отмечает: «Семья разлагалась. Из недр ее встали новые силы — нравственные, непобедимые».

Во второй повести Помяловский показывает Молотова в двух аспектах. С одной стороны, это подлинный плебей. Он не тянется к привилегиям и привилегированному классу, как Дороговы, их родственники и знакомые, жаждущие того, чтобы их происхождение от мужиков и мещан было поскорее забыто. Молотов презирает тунеядцев и белоручек и всего в жизни добивается своими собственными головой и руками. «У нас редко кто имеет нравственную собственность, своим трудом приобретенную, — говорит Череванин, — все получено по наследству, все — ходячее повторение и подражание. А Егор Иваныч хотел иметь все свое».

Случайно подслушанный Молотовым разговор Обросимова с женой имел для него очень важные последствия, впервые поставив перед ним вопрос о тяжкой зависимости плебея от барина. Центральной задачей жизни Молотова сделалась с тех пор борьба за личную независимость, за свое «мещанское счастье», путь к которому он видит в материальной обеспеченности. Молотов стремится достигнуть положения, при котором ему не придется прибегать к милости «благодетелей, давальцев, меценатов».

Было бы неправильно оценивать Молотова вне той исторической обстановки, в которой он жил. Борьба мелкобуржуазного демократа за личную независимость, даже если она не приводила к революционным выводам, была в ту эпоху исторически прогрессивным фактом. Его личный вопрос перерастал в общественный. У Помяловского и у целого ряда других передовых людей начала 60-х годов слова «мещанское счастье» еще не имеют презрительного оттенка. Говоря о «мещанском счастье», они противопоставляли мещанина, плебея представителям крепостнических и либерально-дворянских слоев, которым «мещанское счастье» казалось нарушением всех государственных основ. Интересна с этой точки зрения оценка «Современника», в котором так охарактеризован идейный замысел повести: «Существенный смысл ее — необходимость нравственной самостоятельности и освобождения от тупых общественных преданий, мешающих этой самостоятельности. Этим смыслом проникнута жизнь Молотова и, с другой стороны, жизнь Наденьки... Независимость от враждебных сторон общества, приобретенная личным трудом и личной мыслью, это есть уже и известная победа; расширяясь дальше, эта мысль найдет себе работу и вне чисто личного вопроса. Столкновения с людьми дадут ей общественную силу». [1]

[1] «Современник», 1864, № 11—12, стр. 74, 82.

Однако путь Молотова оказался иным. Когда борьба за «мещанское счастье» близка к своему завершению, когда Молотов считает, будто он «ни материально, ни морально ни от кого не зависим», — что является, конечно, иллюзией, «приобретательство» из средства перерастает в цель, он все более замыкается в скорлупу личного благополучия. Былой социальный протест потускнел, Молотов придумывает разнообразные доводы, оправдывающие его перерождение. Он хочет «просто любить и жить». «Мы ломать любим», говорит он, а между тем «многого требовать нельзя», «необходима умеренность, тихий глас и кроткое отношение к существующим интересам общества». Последние страницы повести раскрывают этот новый облик Молотова, лишь намеки на который были даны писателем раньше.

Сам Молотов моментами недоволен достигнутым «счастьем» и говорит о нем как «о благонравной чичиковщине», но несравненно больше не удовлетворен своим героем Помяловский. Критическое отношение к нему писателя наиболее ясно выражено в последних словах повести: «Тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно...»

Молотов был задуман как положительный герой, но в процессе осуществления замысла писатель увидел ошибочность его социального пути. Молотову противопоставлен в повести Череванин. В нем нет спокойствия и уверенности, но нет и тени примирения с окружающей его средой, как у Молотова. Натура более широкая, чем Молотов, он глубже понял вопрос личной свободы и независимости и впал в «кладбищенство», когда действительность обманула его ожидания. Он пришел к заключению, что хорошие слова остаются только словами, что розовые мечты оборачиваются сереньким личным благополучием. Симпатизируя Молотову и Наде, он как бы вместе с Помяловским говорит о скуке их «счастья». Череванин понимает, что «счастье» Молотова — не выход, что оно непрочно и только ненадолго откладывает «проклятые вопросы», которые необходимо было так или иначе разрешить.

Череванин враждебно относится ко всем проявлениям дворянского государства и культуры. Ему чужды господствующие эстетические вкусы, психологический склад дворянского интеллигента (см., например, его насмешку над словами «среда заела», неоднократно служившими оправданием пассивности и практического бессилия «людей сороковых годов») и пр.; в равной мере неприемлемы для него основы социального существования, быт и мораль окружающей его чиновничьей среды.

Но отрицание всего строя современной жизни, «нигилизм» Череванина (по словам Горького, он гораздо более «совершенный»

нигилист, чем Базаров[1]) не переходят у него в действие. Разочаровавшись во всем, он не видит смысла в труде и борьбе: «Для кого же, зачем я буду работать?.. Уж не для будущего ли поколения трудиться?» Эти слова свидетельствуют о том, что он не в силах был связать свои устремления с революционным и демократическим движением своего времени. Среди «новых людей» Череванин видит много болтунов и лицемеров, спекулирующих на новых идеях, и не подозревает о существовании людей, готовых самоотверженно бороться за лучшее будущее.

Мучительные переживания Череванина, в которых много автобиографического, соединяются у него с ничем не искоренимой жаждой света; отдельные эпизоды повести говорят о том, что Помяловский не отвергал возможности выхода Череванина на другую дорогу. Интересно в этом отношении, что, задумав незадолго до смерти роман «Каникулы» («Гражданский брак»), он предполагал вывести в нем и преодолевшего свое «кладбищенство» Череванина.

Помяловский изображает своих героев, не сглаживая их противоречий, не идеализируя. Череванин и Молотов, взаимно отрицая друг друга, вскрывают отчасти недостаточность, отчасти порочность своих жизненных установок. Особенно рельефно проявляется это в их словесном поединке в ресторане — одной из самых сильных и существенных сцен повести. Здесь победителем вышел Молотов, доказав Череванину ложь «кладбищенства», но ненадолго. В конце повести происходит противоположное: при помощи «кладбищенства» развенчивается «мещанское счастье».

Ошибочность социальных позиций Молотова и Череванина, показанная Помяловским, уверенность писателя, что истину нужно искать на совсем другом пути, создают общее идеологическое устремление повести. Устремление это, однако, не персонифицировано, не приобрело отчетливых красок, потому что не было еще достаточно ясно осознано самим Помяловским.

Искания автора «Мещанского счастья» и «Молотова» нельзя полностью отождествить с идеологией революционной демократии, но они были непосредственно связаны с теми общедемократическими взглядами, которые входили как неотъемлемая составная часть в эту идеологию.

«Мещанское счастье» — первое значительное произведение Помяловского, и в нем сказался ряд особенностей не вполне зрелой

---

[1] М. Горький, Беседы о ремесле. — Собр. соч., т. 25, М. 1953, стр. 346.

и самостоятельной работы. В повести, несомненно, ощущается художественное воздействие Тургенева. Именно с Тургеневым связаны отдельные элементы не свойственного более поздним произведениям Помяловского лирического пейзажа. От Тургенева идут и некоторые другие моменты повести. Сильная, энергичная девушка и слабый, бесхарактерный мужчина, пасующий в любви и покорно подчиняющийся житейским обстоятельствам, — эта ситуация была распространена в русской литературе дореформенной поры. Недаром Чернышевский подробно писал о ней в статье «Русский человек на rendez-vous». С Тургеневым, а через него с традицией литературы предшествующих десятилетий связана некоторыми деталями сюжетная линия: Молотов — Леночка. Разумеется, Молотов не похож ни на Рудина, ни на героя «Аси», а Леночка — на тургеневских девушек, она гораздо проще, элементарнее, с нее снят обычный у Тургенева поэтический ореол. В образе Леночки проявилось своеобразие писательского таланта Помяловского, которое Писарев объясняет тем, что автор «Мещанского счастья» был «реалист по складу своих убеждений» и «совершенно последовательный плебей».[1] И все же в «Мещанском счастье» сохранились некоторые черты указанной ситуации, которая накладывает известный отпечаток на образ Молотова и которая, кстати сказать, вскоре после этого почти совершенно исчезла из литературного обихода. Есть в «Мещанском счастье», кроме того, и отдельные места, написанные под влиянием «Аси». Но в основной сюжетной линии повести (Молотов — Обросимовы), где концентрируется ядро идейного замысла «Мещанского счастья», Помяловский проявил себя вполне самостоятельным художником.

Влияние Тургенева ощущается только в «Мещанском счастье». Есть некоторое сходство между историей Дороговых, описанной в «Молотове», и родословной Лаврецких в «Дворянском гнезде». Но связь между ними иного рода. Это своеобразная полемика Помяловского с Тургеневым при помощи включения в те же внешние рамки совершенно иного материала, истории рода, у которого не было ни дворянских грамот, ни наследственных, ни благоприобретенных поместий. Своеобразной полемикой с Тургеневым является, по-видимому, и восклицание Молотова в ответ на слова Нади о том, что девушка ее круга должна примириться с неизбежностью брака без любви, по приказу родителей: «Примирение? О примирении заговорили?.. Лучшего и выдумать нельзя?..» Вспомним, что

---

[1] Д. И. Писарев, Роман кисейной девушки. — Соч., т. 3, М., 1956, стр. 199.

Рудин дает Наталье другой совет: «Что нам делать? разумеется, покориться».

После «Мещанского счастья» более значительным для Помяловского становится творчество Гоголя. Упомянутая выше последняя фраза «Молотова»: «Эх, господа, что-то скучно...» — почти совпадает с концовкой «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» («Скучно на этом свете, господа!»), очень близка к ней по своему настроению и выполняет ту же функцию. Методами гоголевского гротеска изображены гости на именинах Нади. Стоит вспомнить, например, описание играющих в карты и те чувства, которые волнуют каждого из них. Есть в повести и прямые отзвуки «Мертвых душ» (ср. рассказ Череванина о приятеле Молотова Негодящеве с отзывами губернских чиновников о Чичикове в первой главе «Мертвых душ»). Если не непосредственно с Гоголем, то с натуральной школой, с повестью о бедном чиновнике связан рядом черт рассказ Рогожникова о своем сослуживце Меньшове.

Эти сопоставления не свидетельствуют, конечно, о том, что Помяловский ученически подражал Гоголю. Творчество Гоголя сыграло исключительно важную роль в процессе формирования эстетики революционной демократии. И помимо того, что общий характер творчества Гоголя с его смелым обличением «гнусной российской действительности» был близок Помяловскому, у Гоголя он нашел некоторые приемы описания быта и изображения отрицательных персонажей, которые, своеобразно преломившись, стали органическими чертами его собственного стиля.

В «Молотове» Помяловский овладевает мастерством бытописания, которого еще не было у автора «Мещанского счастья». Но бытописание не ослабило, как это часто бывает, проблемной стороны повести. Наоборот, оно сделало ее более убедительной и конкретно ощутимой для читателя.

С Гоголем и «гоголевским направлением» (т. е. с критическим реализмом середины XIX века) были у Помяловского и другие существенные связи. 40—50-е годы — эпоха расцвета русского реалистического романа. В эти годы созданы «Мертвые души», «Кто виноват?», «Обыкновенная история», «Обломов», «Рудин», «Дворянское гнездо» и т. д. Все они характеризуются постановкой широких социальных проблем и наличием больших типических образов. «Мещанское счастье», так же как и неоконченный роман Помяловского «Брат и сестра», входят в этот же ряд. Разумеется, идейный смысл его творчества, проблемы, волновавшие его, его герои, изображенный им быт были иные, чем у авторов перечислен-

ных выше произведений; он нередко отталкивался от некоторых из них, но именно широта охвата жизненных явлений и стремление к их обобщению в типических образах связывают Помяловского с этой столбовой дорогой русской литературы.

5

Крах крепостнического строя сказался во всех областях социально-политической и культурной жизни России. Все основные вопросы необходимо было коренным образом пересмотреть. В частности, весьма актуальны были в конце 50-х — начале 60-х годов вопросы воспитания и педагогики. Для революционной демократии они были теснейшим образом связаны с вопросом о воспитании нового человека, строителя новой жизни. Поэтому и Помяловский придавал им такое большое значение. О глубине педагогических интересов Помяловского свидетельствует не только его работа в воскресной школе, но и большинство его художественных произведений.

Впервые интерес Помяловского к педагогическим вопросам возник под влиянием испытанной им самим дикой педагогической системы. У него, естественно, родилось желание подвергнуть резкой критике уродливую постановку народного образования, рассказав о всех мерзостях бурсы. Помяловский то брался за задуманное им произведение, то бросал его — не хотел, по словам Благовещенского, растравлять старые раны и боялся в то же время не быть беспристрастным. Но он решился наконец бросить вызов «образованному обществу», не желавшему знать правду об окружающей действительности. «Нет, вы узнайте, какая жизнь создала нашего брата, — мысленно обращался Помяловский к своим будущим читателям, — я покажу вам, что значит бурсак, я заставлю вас призадуматься над этою жизнью!..» Взволнованный голос писателя-демократа слышен во всем произведении.

Помяловский задумал большую серию очерков, но успел написать всего четыре. Эти четыре очерка представляют собой одно из крупных достижений литературы 60-х годов. Они открывали читателям своеобразный, дотоле неведомый им мир.

Описанные Помяловским ужасы не были исключительным явлением. Они происходили не в далекой глуши, а в столице, во внешне блестящем и чинном императорском Петербурге. Следует иметь в виду, что духовные училища были в первой половине XIX века одними из самых распространенных учебных заведений. Но те же нравы, та же система, иногда лишь в несколько более

благообразном виде, царили в кадетских корпусах, закрытых институтах и даже в гимназиях.

Скорбным и вместе с тем негодующим взором смотрит Помяловский на «педагогическую» систему, основой которой было грубое насилие над человеческой личностью и подавление всякой мысли. Рисуя без малейшей идеализации дикие нравы бурсаков, он неоднократно подчеркивает, что причиной их является отнюдь не природная испорченность. Среди бурсаков были умные и способные люди, но бурса беспощадно коверкала их. Вор и хулиган Аксютка «был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума, но его сгубила бурса... как она сгубила сотни и сотни несчастных людей».

Помяловский показывает, однако, что основное зло бурсы заключалось не только в начальниках и учителях, не только в методах, но и в самих предметах преподавания — разнообразных «божественных науках». Он прямо говорит, что никто не стал бы учить их по доброй воле.

Когда Помяловский писал «Очерки бурсы», от былой его религиозности не осталось и следа. Многочисленные насмешки над религиозными обрядами, таинствами и пр. обильно рассыпаны во всем произведении. Равнодушие бурсаков к религии и их кощунства не вызывают со стороны писателя никакого осуждения; напротив, он весьма сочувственно и с добродушным юмором передает их. Помяловский произносит подобные кощунства и от своего собственного имени. Так, первая порка Карася иронически описана как своеобразный религиозный обряд: «В первый же день крещения в бурсацкую веру он получил помазание в количестве пяти ударов розгами».

Помяловский хотел нарисовать в «Очерках» и самую обстановку духовной школы и то, как одни бурсаки гибли, а другие, вопреки ей, в борьбе с нею, находили в себе силы, чтобы пойти по новому пути. В конце второго очерка он обещал, что покажет дальше и «добрые задатки для будущего в жизни бурсаков», что бурса будет постепенно прогрессировать и изменяться. Речь идет здесь, конечно, не о внутреннем улучшении бурсы и бурсацкой науки, в возможность которого Помяловский не верил, а о проникновении в бурсу новых, враждебных ей начал, которые мало-помалу освобождали многих бурсаков от ее тлетворного влияния и приводили их в лагерь демократии.

Одной из тем дальнейших очерков и должна была быть эволюция критически мыслящих бурсаков. В осуществленной части произведения писатель успел лишь намекнуть на эту тему. В очерке «Бегуны и спасенные бурсы», характеризуя разные типы бурсаков и с ненавистью отзываясь о религиозном фанатизме и ханжестве,

Помяловский теплыми словами обрисовал «бурсаков материалистической натуры». «Когда для них наступает время брожения идей, — говорит он, — возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например, вроде Фейербаха... После того они делаются глубокими атеистами».

Все здесь чрезвычайно любопытно для характеристики взглядов Помяловского: и свидетельство о трудностях перестройки миросозерцания, и ссылка на «наблюдения над жизнью и природой», которые способствуют разрушению религиозных представлений, и упоминание Л. Фейербаха, самое имя которого было запретным в России в 50—60-е годы.

Помяловский несколько раз отмечает, что все время остается в «Очерках бурсы» на почве фактов и что в них нет ничего вымышленного. И непосредственное читательское впечатление, и целый ряд свидетельств и воспоминаний лиц, учившихся в духовных училищах и семинариях, полностью подтверждают, что писатель действительно не погрешил против истины. Фактическая точность «Очерков бурсы» не ограничивает, однако, их значения узкими пределами тех единичных фактов, которые послужили для них исходным пунктом. Мы имеем здесь дело не с внешним копированием действительности. Правильно и точно переданные факты освещались в «Очерках бурсы», как и во всяком подлинно реалистическом произведении, живой мыслью писателя, были подняты на большую высоту социального и художественного обобщения.

Помяловский принадлежит к тем писателям 60-х годов, в творчестве которых мрачные стороны российской действительности показаны в тесной связи со всей социальной системой. Значение «Очерков бурсы» выходило далеко за пределы обозначенной в заглавии темы. В бурсе, «как солнце в малой капле вод», отразились произвол и насилие, безраздельно господствовавшие в самодержавно-бюрократической России, и потому ненависть к педагогам-тиранам сливалась в сознании Помяловского с ненавистью ко всему общественному строю, при котором было возможно подобное издевательство над человеком. Злые насмешки над «божественными науками», являвшимися идеологическим оправданием тогдашних социально-политических порядков, также не могли восприниматься иначе, как решительное отрицание всех этих порядков. Если в «Бегунах» Помяловский говорит, что «и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство» (слова эти были выброшены цензурой), то в пятом, неоконченном очерке

мы находим другую, более широкую и ещё более выразительную формулу (тоже искаженную цензурой): «при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси». Не следует думать, что слова эти, равно как и все «Очерки», обращены только в прошлое. Так пытались осмыслить произведение Помяловского некоторые современники, желая смягчить оставленное им тяжелое впечатление. Между тем весь материал «Очерков» решительно противится подобному толкованию, да и биографические данные об их авторе находятся в резком противоречии с ним. Именно во время писания «Очерков» Помяловский, под влиянием целого ряда фактов общественной жизни, свидетельствовавших о наступающей реакции, окончательно убедился в том, что «в жизни та же бурса».

В русской литературе середины XIX века есть классические произведения о детстве — «Детство» Л. Н. Толстого и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова. В них детство описано радостными, светлыми красками. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?» — восклицает Толстой. «Ты, золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить!» — пишет Аксаков в «Воспоминаниях», завершающих его автобиографическую трилогию.[1] Своеобразным «Детством» Помяловского являются его «Очерки бурсы». Но в них нет и намека на такие краски и настроения; злобу возбуждают у Помяловского воспоминания об исковерканном детстве. И он сознательно противопоставляет свое детство — детству, описанному Толстым и Аксаковым, условия, в которых рос ребенок из народа, — картине воспитания барича. В уста своего автобиографического героя Карася он вкладывает такие слова: «Все уверены, что детство есть самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, но это ложь...» Рассказав о горестных приключениях одного бурсака, Помяловский иронизирует: «Вот так младенчество — лучшая пора нашей жизни!» В этих словах содержится вместе с тем и своеобразная перекличка с Некрасовым, в «Родине» которого имеются аналогичные иронические нотки:

Воспоминания дней юности — известных
Под громким именем роскошных и чудесных, —
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

В центре «Детства» Толстого и «Детских лет Багрова-внука» Аксакова стоит автобиографический герой-ребенок, его чувства

[1] С. Т. Аксаков, Собр. соч., т. 2, М. 1955, стр. 12—13.

и мысли, формирование его личности. Повествование ведется от первого лица. При этом автор, как правило, рассказывает только о том, что видит и знает ребенок (т. е. он сам в детстве); окружающие его люди, факты, с которыми он сталкивается, явления природы проводятся сквозь призму его восприятия и описываются лишь в той мере, в какой это было доступно детскому сознанию и необходимо для раскрытия его внутреннего мира.

Признавая большую познавательную ценность «Детских годов», Добролюбов в то же время подчеркивал, что «круг интересов маленького Сережи долгое время был ограничен только миром внутреннего чувства, и из внешнего мира он обращал внимание только на то, какое ощущение — приятное или неприятное — производили на него предметы». [1]

В центре большой повести, задуманной Помяловским вскоре после окончания семинарии, тоже должен был стоять явно автобиографический герой, которого он предполагал провести через все ужасы бурсы. Именно история ребенка должна была составлять основу произведения. Но Помяловский не пошел по пути воссоздания детского восприятия. Он изображает окружающую героя действительность объективно, как среду, в которой растет и развивается ребенок. Показателен в этом смысле отказ от повествования от первого лица.

Когда в 1862 году Помяловский вернулся к произведению о бурсе и вплотную приступил к его осуществлению, он, кроме того, отказался от объединения очерков вокруг центрального героя, который должен был быть осью первоначального замысла повести о бурсе. Одной из основных линий переделки очерка «Долбня» было устранение Данилушки как главного героя. Данилушка появляется в «Зимнем вечере» (под измененной фамилией Песков) буквально в нескольких строках, как одна из деталей бурсацкой жизни, и в нем совершенно невозможно было бы распознать предполагавшегося главного героя, если бы до нас не дошел очерк «Долбня».

Не только «Зимний вечер», но и «Очерки бурсы» в целом лишены главного героя, история которого являлась бы сюжетным стержнем всего произведения. «Главное действующее лицо настоящего очерка — Карась» — этими словами начинаются «Бегуны и спасенные бурсы». Но это касается только «Бегунов». Во втором очерке Карасю уделено лишь полстраницы и говорится о нем как об эпизодическом лице, а в первом и третьем его имя только упоминается. И хотя «Бегуны и спасенные бурсы» — самый большой

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 2, М.—Л. 1962, стр. 296.

и, может быть, самый значительный очерк, в общем замысле произведения он все же занимает равноправное с другими очерками место. Бурсацкие нравы, бурсацкая педагогика, разношерстная масса бурсаков и их учителя — все это отнюдь не является только фоном для истории Карася. Общий замысел «Очерков» существенно отличается от жанра автобиографической повести, отличается еще и тем, что решительно выходит за пределы семейно-бытовых рамок.

Бытовые сцены и зарисовки сменяются в «Очерках» портретами отдельных бурсаков и их педагогов, вставными историями, воспоминаниями о прошлом — и в результате перед нами широкая, пестрая картина бурсацкой жизни, яркая галерея многочисленных разнообразных типов и характеров.

Сюжет «Очерков бурсы» подчеркнуто прост, и их персонажи противостоят друг другу не как участники каких-нибудь запутанных событий, а прежде всего как характеры, как типы. Противопоставление и сближение персонажей (например, Тавля и Гороблагодатский в «Зимнем вечере»; в «Бурсацких типах» — Лобов и Долбежин, из которых первый сближается с Тавлей, а второй — с Гороблагодатским), а затем смена сцен разной окраски — мрачных комическими и т. д. — очень ощутимы в «Очерках бурсы». Сближением и столкновением отдельных мотивов и эпизодов Помяловский достигает подчас яркого художественного эффекта. В «Бурсацких типах» Долбежин сечет бурсака, раздается звонок, читают молитву, и учитель уходит. Немногие и как бы мимоходом сказанные слова о молитве вклинены в контекст очень искусно; получается впечатление, что молитва как бы освящает сечение. Подобных мест в «Очерках бурсы» много. Они несут существенную смысловую, идеологическую нагрузку и вместе с тем выполняют, естественно, композиционную роль.

Пытливая анализирующая и обобщающая мысль писателя, его раздумья и тревоги являются тем цементирующим началом, которое объединяет материал и мотивирует переходы от одного эпизода к другому. «Очерки бурсы» производят на читателя впечатление свободного, ничем не стесненного, импровизированного рассказа, но в этом и состояла одна из сторон их художественного замысла, в этом и заключается значительная доля их прелести.

Своеобразная окраска языка «Очерков», его лексика в значительной степени определяется изображаемой в них средой. Обилие бурсацких словечек вроде «обделать на левую ногу», «вывернуться», «на воздусях», «сугубое раза́», «вселенская смазь» создает местный колорит произведения.

Одной из существенных стилистических особенностей «Очерков бурсы» являются также элементы церковно-книжной речи, цитаты из «священных текстов» и прибаутки на церковнославянский лад. В одном месте Помяловский отмечает, что бурсаки пели «духовные канты, перемешивая их смехом и остротами». Ироническое употребление церковнославянизмов, сталкивание цитат из «священных» книг с просторечием, с комическими замечаниями и остротами присутствует в «Очерках бурсы» не только как объект изображения, но и как стилистический прием самого Помяловского. Цитаты эти неоднократно переносятся им в комический план и пародируются. Вместе с тем он высмеивает, конечно, и выражаемые ими религиозные понятия и представления. «И много в том месте злачнем и прохладнем паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака», — читаем в самом начале «Очерков»; здесь включены в бытовой юмористический контекст слова молитвы, читавшейся над гробом покойника: «Господи, упокой душу раба твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойне...». Об учителе арифметики Ливанове Помяловский пишет, что существовал, «собственно говоря, не один Ливанов, а два, или, если угодно, один, но в двух *естествах* — Ливанов пьяный и Ливанов трезвый». И дальше еще несколько раз: «Братцы, Ливанов в пьяном естестве», и т. д. Цензор всюду вычеркнул «естество» и заменил его «видом», вытравив таким образом всю остроту этих мест. Кощунственное, богохульное сравнение пьяницы Ливанова с Христом, сыном божьим, «единым», но «в двух естествах», божеском и человеческом, является пародией на один из основных догматов христианства.

«Очерки бурсы» произвели на современников, да и на последующие поколения читателей, огромное впечатление. Как и следовало ожидать, реакционные круги русского общества встретили их в штыки. Особенно резко реагировали представители духовенства, всячески стремившиеся сохранить в тайне все, что творилось в стенах духовной школы.

Оценки представителей либерального лагеря не столь грубы по своему тону, но, в общем, за немногими исключениями, также отрицательны. Весьма показателен отзыв писательницы Н. Д. Хвощинской. Она сама написала роман из жизни семинаристов («Баритон», 1857), но написала совсем по-иному, намеренно идеализируя бурсацкий быт, представив бурсаков добродетельными молодыми людьми, всей душой любящими «дорогую, милую, родную бурсу». Хвощинская обвиняла Помяловского в якобы допущенных им преувеличениях, сгущении красок. По ее мнению, он изобразил бурсаков не жертвами дикой системы воспитания, а людьми жестокими,

развращенными и испорченными по самой своей натуре.[1] Примерно то же писал и П. В. Анненков. Отдавая должное таланту Помяловского, он вместе с тем заявлял, что «Очерки бурсы» выходят за пределы искусства, что в них одинаково отвратительными показаны и палачи-педагоги и их жертвы — бурсаки.[2] Разумеется, все это неверно. Читая «Очерки бурсы», мы явственно ощущаем симпатии автора и сами проникаемся ими: мы глубоко сочувствуем протесту бурсаков, хотя он и проявляется большей частью в диких формах. Помяловский, в отличие от Хвощинской, меньше всего думал о бесплодном, пассивном чувстве жалости к бурсакам. Своими поистине страшными картинами он хотел возбудить ненависть к людям и условиям, порождающим подобные нравы, и способствовать уничтожению этих условий. Помяловским руководили побуждения, сходные с теми, которые через полстолетия после него были замечательно охарактеризованы Горьким. «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, — писал он в «Детстве», — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной».

Совершенно иначе, чем критики либерального лагеря, подошел к «Очеркам бурсы» Писарев в своей статье «Погибшие и погибающие». Писарев правильно понял Помяловского, когда утверждал, что в бурсе нет никаких задатков развития, а смягчение наказаний, улучшение гигиенических условий и т. п. ни к чему не приведет. «Все это, конечно, значительно облегчит участь бурсаков, — писал он, — но основное зло бурсы останется нетронутым, потому что оно неизлечимо... То, что оставляется без внимания лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневоле облекается в такие сухие и черствые формы, которые никому не могут нравиться и которые приходится навязывать ученикам насильно».[3]

В своей статье Писарев перекликался также с грустными словами Помяловского: «В жизни та же бурса». Бурса — не какой-нибудь особенно темный уголок русской действительности, не последнее убежище грязи и мрака, а одно из «самых невинных про-

---

[1] В. Поречников, Провинциальные письма о нашей литературе. — «Отечественные записки», 1862, № 10, стр. 248.

[2] П. Анненков, Современная беллетристика. Помяловский. — «С.-Петербургские ведомости», 1863, № 5.

[3] Д. И. Писарев, Соч., т. 4, М. 1956, стр. 139.

явлений нашей повсеместной и всесторонней бедности и убогости».[1] Если принять во внимание тогдашние цензурные условия, то станет ясно, что Писарев говорил о несправедливости и обреченности всего социального строя России.

6

Одновременно с «Очерками бурсы» в 1862—1863 годах Помяловский писал роман «Брат и сестра». Это должно было быть очень большое произведение, но написана была только сравнительно небольшая часть, и из нее тоже не все дошло до нас. Однако и по сохранившимся отрывкам мы можем судить о том, насколько значительным был этот замысел.

В «Брате и сестре» писатель обращается к широкому потоку жизненных явлений; он хочет узнать, чем и как живут люди, понять и оценить социальные отношения и законы, которые господствуют в окружающей его действительности, изобразить и верхи и низы современного ему общества. Жгучие социальные вопросы впервые в таком масштабе и с такой остротой предстали его сознанию.

Центральный персонаж романа, Потесин, в значительной мере является развитием образа Череванина.

Потесин — сын небогатых провинциальных помещиков. За участие в студенческих беспорядках его исключили из университета, и он отправился в Петербург «с желанием трудиться и приносить пользу». Дядя-генерал определил его на службу чиновником. Он ввел Потесина в аристократический круг. Однако Потесин, хотя «был барской крови, но закал души его был мужицкий». С детства, «слушая сказки и песни народа, играя с мужичонками в разные игры, он полюбил народ, и тогда уже у него стал складываться особый взгляд на мужика, — он понимал его. Он видел предрассудки и суеверия, бездольную бедность и пьянство, замкнутость и глубоко сокрытое в душе ожесточение, но понимал, что первые истекают из положения мужика: ни от кого нет ему защиты, и простолюдин обращается поневоле к разным домовым и лешим... что в вине он топит свое горе. Эта среда переделала натуру Потесина в мужичью; она, по своей сущности, и осталась мужичьей». Большое влияние на образ мыслей Потесина оказала также семья сосланного на каторгу революционера, с которой он познакомился, еще будучи гимназистом.

В кругу своих богатых родственников Потесин чувствует себя чужаком и вскоре окончательно порывает с ними. Потесин шаг за шагом разочаровывается в «образованном обществе» и спускается

---

[1] Д. И. Писарев, Соч., т. 4, М. 1956, стр. 89.

все ниже по социальной лестнице. Он перебирается в «большую квартиру», заселенную беднотой, втягивается в жизнь ее обитателей, стремится помочь им, но безуспешно. В конце концов он теряет всякую веру в свои силы, спивается и, вернувшись к родителям, умирает от чахотки.

Описывая с искренним сочувствием и теплотою во многом близкого ему Потесина, Помяловский как бы говорил: общественные условия, в которых мы живем, настолько ненормальны, что даже таких честных людей, как Потесин, они нередко доводят до полного опустошения.

Замысел романа был очень широкий. Писатель хотел показать жизнь различных социальных кругов — от аристократических салонов до «знаменитых домов Сенной площади», гнезда нищеты и преступного мира, упоминание о которых мы встречаем еще на первой странице «Молотова». Потесина тянут к себе люди, вышибленные из жизни. Все его, а вместе с ним и Помяловского, симпатии на стороне этих деклассированных людей. Именно то обстоятельство, что на них сказывается все неустройство современного общества, и возбуждает пристальный интерес писателя и его добрые чувства к ним.

Перед нами целая галерея этих людей — обитателей «большой квартиры», где поселился Потесин: певчий, ненавидящий бар, франтов и богачей, пьющий запоем и с возмущением говорящий доктору, что болезни в России не лечатся, а наказываются; «захудалый род» — князь Ремнищев, полуидиот, которого всячески старается поддержать Потесин; голодные дети, сидящие без куска хлеба. В этой центральной части романа Помяловский хотел показать читателю еще более страшную нищету, жизнь столичного дна, кабаки, ночлежки, притоны, публичные дома. Работая над «Братом и сестрою», Помяловский посещал трущобы Сенной площади и воочию видел и своих будущих героев и ту обстановку, в которой они жили. Роман строился на реальном, фактическом материале.

Разумеется, не «экзотика» материала привлекала Помяловского. Дух литературщины был совершенно чужд ему. Исходными моментами всегда служили Помяловскому волновавшие его явления действительности и возникавшие в связи с ними сложные, часто не разрешимые для него вопросы.

Во время писания «Брата и сестры» Помяловский яснее чем когда-либо понимал, что мелкие и чисто внешние преобразования ни к чему не ведут. Любопытен в этом отношении отрывок о семье Торопецких, в котором выражено скептическое и пренебрежительное отношение писателя к либерализму во всех его проявлениях. «Лукава жизнь человека, и зорко надо вглядываться в нее, чтобы

определить ее: Люди часто делают *реформы* в буквальном смысле, то есть усвоивают новые формы жизни, а дух ее остается прежний».

Герой романа чувствует всю нелепость надежд на уничтожение социальной несправедливости при помощи борьбы с отдельными «мерзавцами»; между тем более действенные пути борьбы были Потесину неизвестны. Он гибнет, запутавшись в противоречиях между необходимостью как-то действовать и сознанием полной непригодности известных ему путей, в противоречиях, из которых не мог вывести своего героя и сам Помяловский. Ужас перед окружающей писателя действительностью и ненависть к господствующим в ней звериным законам пронизывает все произведение. Порою из уст писателя раздаются подлинные стоны. Такова производящая потрясающее впечатление концовка «Брата и сестры»: «Господа! Страшно жить в том обществе, где подобные жизни совершаются сплошь и рядом!..» Таким же стоном является у Помяловского даже пейзаж: «Ночь точно опьянела и сдуру, шатаясь по городу, грязная, злилась и плевала на площади и дороги, дома и кабаки, в лица запоздалых пешеходов и животных... На небе мрак, на земле мрак, на водах мрак. Небо разорвано в клочья, и по небу облака, словно рубища нищих, несутся...» Это та ночь, когда Потесина выгнали из «большой квартиры» и он, лишенный крова и куска хлеба, во всем разочарованный и больной, с мыслью о самоубийстве метался по улицам Петербурга. Горячий протест против жестоких социальных противоречий большого города, которым пронизан пейзаж Помяловского, сближает его с петербургским пейзажем повестей Салтыкова 40-х годов и Некрасова, уже в ранних произведениях которого звучат аналогичные ноты. Интересно в этом отношении даже сходство отдельных деталей.[1]

Помяловский рос как художник. От «Мещанского счастья» через «Молотова» и «Очерки бурсы» он пришел к замыслу большого по разнообразию и остроте материала и центральной идее социального романа, в котором должна была найти свое место и применение и очерковая манера письма. Чем дальше, тем все с большей свободой Помяловский обращался с жизненным и языковым материалом и все больше овладевал умением реалистически изображать людей. Избегая схематичности в построении характеров, он вместе с тем неизменно подчеркивал социаль-

[1] Ср., например, отрывок из рассказа Некрасова «Макар Осипович Случайный» (1840): «Ночь была самая ненастная... Ветер, срывая, как хромоногий бес, крыши старых домов или шапки прохожих, бегал по улицам и пел заунывную песню, сопровождаемую стуком частого, мелкого дождя в железные кровли и прерывчатым шумом воды в трубах и водостоках...»

ную типичность своих героев. «Облагороживающий слог» (слова Помяловского), с которым боролся еще Гоголь, был враждебен писателю вообще и, в частности, при изображении людей. Но он в то же время сознательно руководился следующим принципом: «Это вообще ложное понятие, которое у нас проповедуется, что взяточник непременно пьяница, разбойник, груб, не читает книг и проч.». Помяловский умел изобразить чуждый ему персонаж, не наделяя его решительно всеми человеческими недостатками и не перенося, таким образом, центр тяжести на его личные качества, но вместе с тем обнаруживая и показывая в конкретных проявлениях его классовую сущность.

Своеобразной попыткой преодолеть мрачные настроения романа «Брат и сестра» были в известной степени «Поречане». Это рассказ из хорошо знакомой писателю охтинской жизни. Уверенность рисунка, сочность красок, тонкая ирония свидетельствуют о руке мастера. От ужасов «Брата и сестры» он уходит в атмосферу патриархальных нравов, которой овеяна жизнь поречан. В ней много дикости и жестокости, но поречане в изображении Помяловского — цельные, упорные и независимые характеры. Им чужды метания и мучения, которыми полна жизнь людей, описанных в «Брате и сестре». Словно тысячами верст отделен от Сенной площади этот «дивный уголок земли».

Иным представляется замысел романа «Каникулы» или «Гражданский брак». Писатель с воодушевлением рассказывал о нем приятелям незадолго до своей смерти. Он хотел изобразить «мнимых передовых людей», которые «прикрывают именем прогресса один грязный цинизм». «На нас клевещут, — говорил он, — и наша честь требует, чтобы с молодого поколения сняли то пятно, которое кладут на него эти лица. Всякая сила вызывает непременно множество бездарных подражателей; однако по этим бездарностям общество судит об оригиналах и приобретает недоверчивость к ним. Надо доказать им, что они не наши, что наши стремления не те».

Мы слишком мало знаем об этом замысле Помяловского, чтобы говорить о нем с полной уверенностью. Но есть основания думать, что если «Поречане», несмотря на всю талантливость рассказа, являются как бы отдыхом от тревоживших сознание писателя вопросов, то в «Гражданском браке» он мог найти и ответ на них, еще теснее сблизившись с идеями «того светлого и честного люда, который известен под именем „новых людей“».

В этой связи необходимо остановиться и на отрывке «Андрей Федорыч Чебанов», написанном Помяловским в последний год его жизни. Центральным персонажем «Чебанова» является учитель-плебей Лесников, служащий, подобно Молотову, в помещичьей

семье. Тема его — тепличное воспитание барчонка, которого тщательно охраняют от всякого труда и усилий мысли. В противовес родителям Андрюши и его гувернерам — французу и немцу, стремившимся оторвать ребенка от родной почвы, Лесников хочет возбудить в мальчике любовь к родному народу и родной стране и сообщить ему не внешний лоск, не отвлеченные знания, а именно то, что ему пригодится в практической жизни.

Презрение ко всему русскому и преклонение перед всем иностранным только потому, что оно иностранное, вызывают у Лесникова резкий отпор, причем он оценивает эти враждебные ему тенденции как характерные черты дворянского класса. С другой стороны, Лесникову совершенно чуждо и славянофильство с его мнимым народолюбием, превознесением идиллических отношений между помещиками и крестьянами и идеализацией народной темноты, в которых Помяловский видел иной вариант тех же антинародных, барских взглядов, следуя в этом отношении за Белинским, Чернышевским и Добролюбовым. Помяловский подчеркивает, что, всею душою любя русский народ, Лесников отнюдь не был славянофилом. Таким образом, перед нами набросок портрета демократа-разночинца 60-х годов.

В равной степени враждебный и западничеству и славянофильству, Лесников вместе с тем противостоит и идейно ему близкому, но отчаявшемуся и во всем разочаровавшемуся Потесину. Лесников не только любит и понимает народ, но и верит в народные силы и лучшее будущее.

7

Было бы ошибкой утверждать, что Помяловский, даже в последние годы своей жизни, стоял на идейном уровне руководителей «Современника». Центральный момент идеологии революционной демократии 60-х годов — идея крестьянской революции была вне поля зрения Помяловского. Он искренне симпатизировал крестьянству, как одному из угнетенных классов русского общества, однако в своих социальных устремлениях исходил в первую очередь из интересов «бедного разряда разночинцев». Отвергая все основы социального строя России, Помяловский не имел отчетливого представления о тех путях борьбы, которые могли бы коренным образом переделать ненавистную ему действительность.

Но если Помяловский и не стоял на уровне революционных идей Чернышевского, то, без всякого сомнения, он был подлинным и пламенным демократом. Писатель был непримирим в своих антикрепостнических тенденциях, видел волчью природу капиталистов

(Потесин в «Брате и сестре» называет их ворами и разбойниками), был неспособен ни на какие сделки с совестью. Демократизм Помяловского выражал настроения городской бедноты, но был созвучен вместе с тем настроениям крестьянских масс, которые страдали под двойным гнетом — пережитков крепостничества и новых форм капиталистической эксплуатации. В общественно-литературной борьбе 60-х годов радикальные демократы, подобные Помяловскому, не задумывались, куда обратить свои симпатии и антипатии; у них и у руководителей «Современника» были общие друзья и враги.

Произведения Помяловского теснейшим образом связаны со своей эпохой. При этом колорит эпохи сообщается им не отдельными упоминаниями о злободневных событиях, а общей идейной атмосферой, которая так ощутительна в его творчестве. Ряд важнейших проблем — проблема взаимоотношения «плебейства» и «барства», проблема жизненного призвания разночинца, проблема «мещанского счастья», женский вопрос, сущность либерализма и т. д. — остро поставлены в его повестях, очерках, фрагментах не осуществленных полностью замыслов. Он проявил большую чуткость к актуальным вопросам своего времени и смелость в их постановке, свойственную крупным художникам. Это были новые проблемы, выдвинутые ходом общественного развития и неуклонно требовавшие своего разрешения. Ответа на них не давала литература предшествующих десятилетий.

«Там, в книгах, люди живут не по-нашему, — говорит Помяловский устами Нади Дороговой, — там не те обычаи, не те убеждения; большею частию живут без труда, без заботы о насущном хлебе. Там всё помещики — и герой помещик и поэт помещик. У них не те стремления, не те приличия, обстановка совсем не та. Страдают и веселятся, верят и не верят не по-нашему... Барина описывают с заметной к нему любовью, хотя бы он был и дрянной человек; и воспитание и обстоятельства разные, все поставлено на вид: притом барин всегда на первом плане, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходят негодными людьми, безобразными личностями, играют унизительную роль, и, смешно, часто так рассказано дело, что они и виноваты в том, что барин худ или страдает».

Помяловского интересовали другие люди и другой быт. Бурсак, чиновник, ремесленник, житель петербургского «дна» — вот кто занимал вооображение писателя. «Надоело мне это подчищенное человечество, — говорил он, — я хочу узнать жизнь во всех ее видах, хочу видеть наши общественные язвы, наш забитый, изможденный нуждою люд...»

Помяловскому неинтересны те «вымышленные бедствия и романтические чувствования», которые, по словам «Современника», перестали занимать общество. «Описание реальных страданий и реальных радостей, — читаем в одной рецензии 1863 года, — несравненно более раздражает мысль и чувство, чем всевозможные хитро придуманные сцепления обстоятельств, выходящие из ряду вон... Современный писатель ставит обыкновенно своих героев на реальную почву, показывает реальные препятствия, с которыми они должны бороться, а также коренные причины этих препятствий, лежащие во всей совокупности общественных условий и в самом человеке как продукте этих условий». [1]

Слова о современном писателе вполне применимы и к Помяловскому — его стилю и проблематике. Череванин, утешая Надю, замечает, что роман ее с Молотовым будет мирным, без «классических принадлежностей» — бешеной борьбы, яда, дуэлей и пр. «В монастырь вы не пойдете, — говорит он, — из окна не броситесь, к Молотову не убежите и не обвенчаетесь с ним тайно — все это принадлежности высоких драм». «Высокие драмы» — это для Помяловского прежде всего романы Тургенева, одна героиня которого (Лиза из «Дворянского гнезда») ушла в монастырь, а другая (Елена из «Накануне») тайно обвенчалась с любимым человеком.

Помяловский не переносит эти «высокие драмы» в близкую ему среду. Он рисует не исключительные события, а обыденную жизнь. В ней есть свои противоречия, свои трагедии. Гнет повседневного быта, власть над людьми царящих в нем законов Помяловский показывает с большим искусством. Но быт интересовал писателя не сам по себе, а в первую очередь именно с точки зрения его воздействия на человека. Исходя из убеждения, что человек является продуктом семейных и общественных условий, он в своих произведениях уделяет очень много внимания воспитанию и формированию личности. И Молотов, и Надя, и Дорогов, и Вукол, и Потесин, и многие другие не даны, так сказать, в готовом виде: показано, как постепенно сложился их характер.

Нравы и среда, описанные Помяловским, подчас очень грубы. Но такова была жизнь, и люди, обвинявшие в этом писателя, выражали идеологию тех, кто был заинтересован, чтобы темные стороны российской действительности не были показаны во всей их неприглядности. Предвидя подобные нападки, Помяловский в предисловии к роману «Брат и сестра» находит нужным предупредить чита-

---

[1] «Современник», 1863, № 7, стр. 37—38 (рецензия на повесть Л. Толстого «Казаки»).

теля, что если он «слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов», то пусть лучше отложит его книгу. Разоблачение «гнойной язвы нашего — да, *нашего* общества» — вот цель его романа. Это замечательное предисловие является своего рода манифестом художника-демократа. В нем изложена программа того «сурового реализма» Помяловского, о котором так сочувственно отзывался М. Горький.

Взгляды, высказанные здесь Помяловским, характерны для всей демократической литературы середины XIX века. Так, Некрасов в стихотворении «Поэт и гражданин» вложил в уста поэта следующие слова:

> Без отвращенья, без боязни
> Я шел в тюрьму и к месту казни,
> В суды, в больницы я входил...

А в первой повести Салтыкова, «Противоречия» (1847), есть программное заявление, очень близкое по своему смыслу к предисловию Помяловского. «Если вы человек с эстетическим чувством, с высшими взглядами на жизнь, — иронически обращается Салтыков к своему читателю, — если в природе вы хотите изучать только изящную ее сторону — и не подходите близко к этим грязным существам: они слишком оскорбят нежные органы ваши. Если же, напротив, вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях... в таком случае вы последуете за мною и с любовью будете изучать мелкую, кропотливую жизнь этих выродившихся людей, и — кто знает? — может быть, из этого изучения что-нибудь да выйдет!»[1]

И самые объекты изображения и идеологическая направленность творчества Помяловского определили его нередко резкий, обильный «прозаизмами», нарочито шероховатый язык. Писарев высмеивал критика Н. И. Соловьева, который требовал от Помяловского, «чтобы тот выводил на сцену облагороженных бурсаков, а не таких, которые говорят: *отчехвостить, стилибонить, смазь вселенская* и т. д.». «Помяловский, — писал он, — всегда говорит резкими и грубыми словами о том, что резко и грубо в действительности».[2] Это пренебрежение ко всяким поэтическим украшениям речи и суровая ее простота являются одной из отличительных особенностей демократической литературы 60-х годов. Чернышевский писал в романе «Что делать?»: «Я люблю называть грубые вещи

---

[1] М. Е. Салтыков (Н. Щедрин), Полн. собр. соч., т. 1, М. 1941, стр. 95.

[2] Д. И. Писарев, Роман кисейной барышни. — Соч., т. 3, М. 1956, стр. 201.

прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем и говорим» (гл. I, 7).

Вопросы, поставленные в произведениях Помяловского, настолько близки ему, горячность уверенного в своей правоте человека так пронизывает его творчество, что он подчас чувствует необходимость выйти из рамок объективного повествования. Прерывая его, он хочет проанализировать только что рассказанное, разъяснить читателю его смысл, выразить свое отношение к нему. Одни из таких отступлений написаны в спокойном тоне, другие превращаются в гневные филиппики. Эти вторжения автора в изображаемый мир, обращения к читателю, взрывы негодования, иронические и саркастические замечания, это органическое включение публицистики в ткань художественного произведения характерны не только для Помяловского, но и для целого ряда других представителей демократической литературы 60-х годов. Предшественницей ее в этом отношении является художественная проза Герцена.

Помяловскому, как и другим беллетристам-шестидесятникам, была близка «натуральная школа» 40-х годов, сыгравшая существенную роль в деле расширения и демократизации тематики. Но некоторые представители «натуральной школы», ограничиваясь физиологическим очерком, не возвышались до создания больших типических образов. Литература 60-х годов также знает немало произведений, интересных лишь как бытовые картины. Помяловский же не был только бытописателем. Он пошел по пути Гоголя и крупнейших представителей реалистического романа 40—50-х годов — Герцена, Гончарова, Тургенева, разрешавших в своих произведениях широкие социальные проблемы и создававших большие типические образы.

Таким образом, опираясь на прогрессивные традиции русской реалистической прозы 40—50-х годов, Помяловский является вместе с тем одним из зачинателей новой, демократической литературы.

Понятна в связи с этим та высокая оценка, которую дал творчеству Помяловского Чернышевский. «Я любил радоваться на сильнейшего из всех нынешних поэтов-прозаиков — на Н. Г. Помяловского, — писал он в предисловии к «Повестям в повести». — Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря — великая потеря для русской поэзии, страшная, громадная потеря».[1]

Хорошо знал и ценил Помяловского В. И. Ленин. Об этом свидетельствует тот факт, что он несколько раз использовал в своих

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 12, М, 1949, стр. 683.

работах образы «кисейной девушки» из «Мещанского счастья» и бурсака, наплевавшего в кадушку с капустой.[1]

Образы, замыслы, самое направление творчества Помяловского оказали несомненное влияние на общее развитие демократической литературы 60—70-х годов и на отдельных ее представителей (Ф. М. Решетникова, Н. А. Благовещенского, А. О. Осиповича-Новодворского) и сыграли также известную роль в процессе формирования передовых течений русской прозы конца XIX — начала XX века. Критики указывали на родство с ним Чехова, Горького, Чапыгина и др. Особенно часто сопоставляли Помяловского с Горьким, отмечали и сходные черты, характеризующие общую устремленность их писательской деятельности (пристальный интерес к миру «отверженных» и пр.) и сходство отдельных образов. Наиболее авторитетным является, разумеется, свидетельство самого Горького. Он много раз говорил о Помяловском в своих статьях, письмах и художественных произведениях, оценивая его как одного из интереснейших художников 60-х годов и отмечая его влияние на свое мировоззрение. Горькому был близок самый тип писателя-общественника, одним из первых представителей которого был Помяловский, — писателя, всегда охваченного широкими литературными и литературно-общественными замыслами и планами. «Я думаю, — писал он в «Беседах о ремесле»,— что на мое отношение к жизни влияли — каждый по-своему — три писателя: Помяловский, Глеб Успенский и Лесков. Возможно, что Помяловский «влиял» на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно восстал против старой, дворянской литературной церкви, первый решительно указал литераторам на необходимость «изучать всех участников жизни» — нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих... Я думаю, что именно под влиянием этих трех писателей решено было мною самому пойти посмотреть, как живет „народ“».[2]

Яркий реалистический талант Помяловского, бунтарство против всех устоев самодержавной России, против всякого насилия и произвола, подлинный демократизм делают его писателем, близким и дорогим нашей современности.

И. ЯМПОЛЬСКИЙ

---

[1] См. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 314; т. 33, стр. 97; т. 38, стр. 54, 221.

[2] М. Горький, Собр. соч., т. 25, М. 1953, стр. 348.



Махилов

РАССКАЗ



I

Майское солнце разливало вечерние лучи свои по сводам и кирпичному полу семинарского здания в Ч.....е, а в некоторых углах его уже заметно начинало стемняться. Все здание было наполнено каким-то странным жужжанием. Не понять, откуда оно выходит: оно как будто ползет и лезет из каждой трещины, из каждого отверстия стен и пола коридоров. Эти странные звуки означают, что ч.....ские семинаристы сидят за партами и снабжают свои головы познаниями всякого рода и сорта. Ничего не слышно, кроме жужжания; разве только изредка вскрикнет какой-нибудь семинарист — не охотник до долбни и сидячей жизни, да изредка покажется дежурный на длинном коридоре: его шаги звонко раздаются по гладкому кирпичному полу и, раскатившись под сводами, опять замирают мало-помалу; опять глухое, невнятное жужжанье охватывает все *слои семинарской атмосферы.*

Но вот в углу коридора, в богословской занятной шум превращается в говор; говор становится сильнее и крепче; начинают прорываться какие-то вскрикивания, и вдруг это кресчендо стремительно возрастает до самого страшного фортиссимо. Что же встревожило или обрадовало ч.....ю богословию? Философ ли возмутился, и ему объявляется месть и гонение? Не презренный ли словарь — исчадие мелкой бурсы — оказал словом или делом непочтение аристократу семинарии, и богослов в гневе своем хочет раздавить его как ничтожнейшую тварь? Или мало дали каши за обедом и еще

меньше посулили за ужином, и вот оголодавший богослов идет войной на буфет и поварню? Или товарищ попался за железные двери ч.....го карцера, и друзья идут громить их своими кулаками? Нет, не то: философ покорен им; словарь ходит по струнке; каши поели они досыта, и карцер свободен от постоя. Вот прислушайтесь к кликам, и вы узнаете, что богословия не бунтуется, а только веселится — торжествует богословия, и торжествует не именины товарища, не кулачную победу в бою с купцами — нет, все не то. Слушайте клики: «Ура, ребята! кути!.. На печку книги!.. Эй, Махилов, четверть сюда!.. Рекреация, ребята!» Так вот что обрадовало семинарию! Для нее настала рекреация со своим трехнедельным досугом, со своими песнями, весельем и попойками. Благодатная весть быстро обошла вместе с дежурным все классы — и вмиг, будто по одному темпу, завыло и застонало во всех углах словесности и философии. Теперь на коридоре уже не жужжанье, а как будто стены и своды рушатся друг на друга: так громогласно радуются питомцы бурсы, а этих питомцев в ней до девятисот человек.

Заглянемте в какой-нибудь класс. Пойдем в богословию, в другие классы неприлично идти нам. Вот огромная комната, в которой помещается высшее отделение.

Тридцать парт,[1] кафедр, вешалка и на ней богословский гардероб да ведро воды у дверей — составляют всю мебель класса. В комнате плавает дым махорчатого табаку и слышится запах угара... Но посмотрите, что за молодцы семинаристы. Это не то что петербургский семинарист, которому не съесть каши более полумиски и не выпить пенного более полуштофа. Вот, например, Махилов. Посмотрите, как лихо отхватывает он трепака среди обступивших его товарищей, с поднятой вверх бутылью, в которой плещется, звенит и играет за зеленым стеклом русское пенное. Молодец! Плеча широкие, рост в сажень, и притом красавец каких мало. Он первый силач семинарский, и многие ч.....ие купцы и мещане, бока которых ознакомились с его кулаками, пугают детей своих именем Максима Созонтовича Махилова. Богословы любуются на своего товарища-богатыря; они

[1] В ч.....ой семинарии класс и занятная — одна и та же комната. — *Прим. автора.*



дымят длинными чубуками и частыми вскрикиваниями одобряют и поджигают плясуна.

— Живо, ребята! — крикнул Махилов своим здоровым басом.

— Нахаживай! — подхватил Третинский — друг Махилова и силач не из последних, — и Максим Созонтыч начал выделывать ногами такие удалые вавилоны, что, одушевившись, все пошли вскачь и вприсядку.

Клики и песни смешались вместе, а сквозь клики и песни слышно, как звенят бутыли и стаканы. Везде льется искрометный ром и ходят столбухи пенного

вина. Право, глядя на них, поневоле приходит на ум песня:

Вот как жили при Аскольде наши деды и отцы,
Как простую пили воду — мед и крепкое вино...

хотя эту пирушку пировали не далее, как лет за двадцать или пятнадцать.

Песни, пляска и попойка пошли крепче и шире, и через полчаса пирушка дошла до тех пределов, когда подгулявший семинарист все забывает, когда он всем и каждому рассказывает, что ему одному интересно знать, когда он целует и товарищей и стены, — и плачет, и хохочет, и поет почти в одно время.

— Махилов! действуй! — кричит Третинский. Махилов опять как вихрь несется по классу, помахивая бутылью — вечною его спутницею в семинарских пирушках.

— Эй, Махилов, легче! у меня спина не казенная! — заметил Бедучевич Махилову, который на всем лету въехал ему в спину бутылью. Но Махилов, не обращая на него внимания, опять с гиканьем и притопыванием помчался по классу.

— Экое животное! — ворчал Бедучевич. — Подожди, я тебя сам ссажу!

Бедучевич соперничал с Махиловым по силе мышц и давно точил на него зубы. Бедучевич, Махилов, Чикадзе, Зимченко, Клопенко, Третинский и Остенкович — это были такие молодцы, о которых и нынешний курс вспоминает с глубоким уважением, потому что силач составляет гордость ч.....ой семинарии. Да, силач там много значит, потому что много значит кулачное право. Есть пословица: «Не будь пригож да умен, а будь счастлив», — эта пословица у них выражается несколько иначе: не будь умен, а будь силен, — всегда будешь пьян. Но обратимся к рассказу. Бедучевич ворчал на Махилова и умышлял что-то недоброе, и действительно, когда тот несся мимо него, он подставил ножку. Махилов на лету с размаха ударился своей физиономией и бутылью в стену: физиономия отскочила назад, но бутыль разлетелась вдребезги.

— Это кто? — закричал Махилов.

— Извини, это я... — отвечал Бедучевич.

— А! ты? сейчас новую четверть!

— Уж не купить ли тебе?

— Одно из двух: либо четверть, либо подставляй спину.

Бедучевич на эту обиду не ответил ни слова, но только искоса поглядел на Махилова и хладнокровно и медленно стал засучивать рукава. Он решил драться с Махиловым, наказать дерзкого обидчика и вырвать из рук его пальму кулачного первенства. Бедучевич никогда не решился бы на это в трезвом виде, но полугар делает еще не то: пример на наших семинаристах.

— А, так ты хочешь драться?..

Махилов подошел к Бедучевичу и стал в грозную позицию бойца. Бедучевич съездил Махилову по физиономии; Махилов поморщился и отплатил подобною же любезностью, опустив на голову противника свой кулак, от чего тот присел на половину своего роста. Но и Бедучевич вытерпел удар; он выпрямился и схватил Максима Созонтыча в свои объятия. Завязалась борьба. Пляски и песни прекратились. Все окружили бойцов, и даже полупьяные следили каждое их движение с полным вниманием.

Боролись первые бойцы тогдашнего курса, и потому можно понять, какой интерес имела эта битва для ч.....го семинариста, который в минуту веселого расположения любит потешиться своим кулаком на спине товарища или городского обывателя, для которого игра *в постные* одно из лучших препровождений времени. Долго бойцы крутились. Никто из них не произносил ни слова, потому что оба они были бойцы искусные, опытные. Трудно было решить, на чьей стороне останется победа.

То сей, то оный набок гнется.

Но вот Махилов понатужился, нажал Бедучевича под поясницу и в одно мгновение смял его под себя. Пользуясь положением противника, Махилов приподнял его за воротник и ударил спиной о половицу. Бедучевич сделал усилие, чтобы сшибить победителя кулаками, но Максим Созонтыч употребил маневр, который всегда играл важную роль в его битвах: он опустил свои тяжелые кулаки на плечи Бедучевича, отшиб их, и, таким образом, лишил его возможности действовать руками.

— Живота или смерти? — спросил Махилов.

— Оставь меня!

— А четверть?

— Пусти, тебе говорят!

— Четверть: не то спину разломаю об пол.

— Пусти же, Махилов!

— Последнее слово: купишь ли четверть?

И Махилов опять было приподнял Бедучевича за воротник.

— Куплю! — проговорил сквозь зубы Бедучевич.

— Вот это другое дело.

Махилов выпустил из своих рук Бедучевича; Бедучевич молча, ни на кого не глядя от стыда, побрел в шинок за четвертью.

После битвы танцы и песни не возобновлялись. Собрались в кружки, и поднялись толки о силе и ловкости бойцов.

Мы послушаем, что говорит Чикадзе — грузинец, бог весть каким образом занесенный в ч.....ю семинарию, и Зимченко — силач, как уже заметили мы, не из последних.

— Я всегда говорил Бедучевичу: не выходи с Махиловым один на один. «Эва, говорит, померяемся», — вот тебе и померялся!

— Ладно, и Махилов найдет свое, — отвечал Чикадзе.

— Да что? Я не откажусь; ты тоже; да Третинского пригласим, и Бедучевич...

— Так, только Третинский тоже порядочное животное.

Чикадзе был зол вообще на всех сильных, а кто был слабее, тому не было прохода от его пинков, которые раздавал он в шутку, но которые довольно плотно приходились в спину.

— Полно тебе! — отвечал на его выходку Зимченко.

— Да вот позови его.

— Кирюша, поди сюда!

— Что такое?

— Каково отделали Бедучевича?

— Не будет вперед подставлять ножку да бить бутыли.

— А помнишь, сам Махилов выпил у тебя полуштоф: ты ведь ему не ломал спины об пол.

— Эх, то другое дело, братики!

— Ну, я говорил, что он не за нас! — подхватил Чикадзе.

— А что, разве что хотят? — спросил с любопытством Кирюша.

— Да, хотят Махилову пощупать ребра, — отвечал ему Зимченко.

— А, от этого я не прочь! Когда же это?

Заговорщики стали обдумывать план и место расправы. Но вот зазвенел колокольчик, влияние которого известно и ч.....му семинаристу настолько, насколько оно известно петербургскому.

Заговорщики отправились в столовую подкрепить свои силы блаженною овсянкой и гречневой кашей.

II

Начались сборы и приготовления к рекреации. Семинаристы собрали около ста рублей, приготовили двухаршинную кулебяку, и дежурный с деньгами и кулебякой, в сопровождении старших, отправился к ректору. Ректор принял деньги, которые обыкновенно сам назначал на разные забавы семинаристов, и, благословив пирог, сказал старшим: «Ну, с богом! гуляйте, только не забывайтесь: бесчинства чтобы не было!» Бородатые дети улыбнулись, отвесили вполспины поклон и вышли от ректора. В тот же день богословы ели рекреационную кулебяку в столовой за завтраком, которого в другое время там не бывает.

После завтрака вся семинария, от чердака до темных подвалов, наполнилась хлопотами и деятельностию. В классах собирались деньги, составлялись партии; тетради и книги укладывались под спуд. В жилище сторожей тоже движение: сторожа выносят палатки, которые искони покупались и починивались на общую складчину семинаристов; туда же перемещались весь буфет и поварня.

Наконец вся семинария готова выселиться: сборы и приготовления кончены. Ч.....е семинаристы отправлялись на рекреацию, как солдаты в поход, с громкими песнями в девятьсот голосов, с пляской и музыкой почти на всевозможных инструментах. При взгляде на эту толпу поневоле приходят на ум полки Петра Амьенского, потому что в ней пестреют всевозможные одеяния — пальто, сюртуки, халаты и шинели всех родов и фасонов.

Есть что-то молодецкое, беспечное, бесшабашное в этой подвижной массе. Нет ни одного угрюмого лица:

все поет, и все весело! Но где же Махилов с его вечной бутылью? Отчего он не поет и не пляшет? У него после вчерашней пирушки трещит голова, поэтому хотя он изредка и вскрикивает, изредка притопывает ногами и поводит плечом, но уже не выдается из-за других.

— Максим Созонтыч! послушай-ка, что я тебе скажу, — говорит ему Кирюша.

— Нет, сегодня пить не буду — довольно!

— Я не то хочу тебе сказать...

— И на бой не пойду.

— Все не то: ты слушай, а сам не догадывайся!

— Что же такое, Кирюша?

— Ха-ха-ха — что? Да тебя подуть хотят немного.

— Пусть подуют! — отвечал Махилов, зевнув во всю физиономию.

— Не горячись, Созонтыч! трое на одного.

— А кто бы это?

Махилов сделался внимательнее.

Третинский любил и уважал Махилова. Он выслушал заговор и передал его Махилову.

— Трое на одного: это гадко!

— Да, любезнейший, не беспакостно!

— Э, черт с ними! — Махилов махнул рукой. — Зато я поодиначке потешусь.

— А ты все-таки не ходи сегодня мимо мельницы.

— Чего не ходи, не сегодня, так завтра дорвутся.

— По крайней мере меня возьми с собою, Созонтыч, — произнес Кирюша умоляющим голосом.

— Ну, идем!

— Вот это valde cura melius, то есть очень добропорядочно.

Между тем перед толпой раскинулось широкое поле, на котором семинаристы проводят свои бессмертные рекреации, на котором еще деды и прадеды их пировали свои майские пирушки и пели свои оглушительные песни. Рекреационное поле в семи верстах от Ч.....а. С одной стороны его лес, с другой река, а вдали виднеется город.

Целых полдня семинаристы основывались, размещали и устанавливали свои палатки. Служба поместилась у реки, к лесу, и через полчаса там задымились костры под котлами. Обеды разносились по палаткам. После обеда приехал ректор, прошелся по палаткам и опять дал наставление не забываться. Он роздал старшим

деньги, которые на этот раз были разменены на медные — каждому рублей по десяти. Старшие должны были кидать эти деньги на шарап.

Такая забава была назначена к вечеру. В Ч.....е рекреация — праздник не только для семинарии, но и для всего города. Часам к пяти вечера начали съезжаться купцы, чиновники и помещики, и даже сам губернатор изволил пожаловать. Купец Чурилов привез бочонок рому; помещик Кортученко прислал несколько кулебяк; асессор Шемидорский — воз арбузов; купец Тулинников — десять голов сахару и цибик чаю, а Лопаренков, первый помещик Ч.....й губернии, привез свой оркестр; вообще всякий посетитель обязан был принести что-нибудь: иначе не допускали на рекреацию. Приношения обыкновенно принимал комиссар, выбранный из богословов товарищами и утвержденный в этой почетной и сытной должности самим ректором.

К вечеру начала развертываться рекреация. Составились три хора — человек по тридцати в каждом: согласитесь, что из девятисот человек можно найти голосистых, особенно в южных губерниях, которые в изобилии производят басов и теноров. К хорам кстати пришелся и оркестр. Вот грянули у леса «Во лузях» — и русская размашистая песенка разнеслась далеко-далеко, прокатилась по гладкой, как зеркало, реке — и, громадная, полная силы и русского разгула, замерла где-то под небом. Всякий звук ложился прямо на душу. У самих семинаристов, когда они услышали в чистом майском воздухе голоса своих товарищей, от пробужденной удали затрепетали все члены и заходила в них кровь. К хору пристал другой хор и третий. Гром и сила песни еще более увеличились. А в палатках между тем льется вино и идет вкруговую; здесь и там дымят чубуками, и во многих местах под кустом шипит самовар и стучат чайные чашки. Вот она, счастливая жизнь, полная беспечности, полная товарищеского веселья! Когда-то, говорит предание, и петербургский семинарист имел свои рекреации, хотя и не такие роскошные, как в Ч.....е, но все же полные жизни и веселья, но это было когда-то давно, еще в патриархальные времена старой семинарии.

На помощь рекреации всегда является сам Вакх, или в виде дареного бочонка рому, или в лице ведерного божка, и вот он уже успел оказать свое влияние на

некоторые головы ч.....х семинаристов. Вот у речки на дороге составилась пляска под музыку импровизированного оркестра, в котором высокие ноты выигрывают осьмушки, средние штоф с полуштофом, а октаву держит четвертная бутыль.

Таким оркестром управляет Третинский — наш знакомец, охотник и мастер на импровизации подобного рода.

— Нахаживай, ребята! — покрикивает он танцорам, а сам так и звонит и трезвонит в пустые сокровищницы.

А вот здесь, под липой, один семинарист под влиянием хмеля плачет и целует какого-то купца и в лоб и в затылок. А там, в канаве, лежит уже один философ — совсем побежденный Вакхом, который из своих объятий передал его в объятия Морфея. Нечего сказать, любит выпить ч.....й семинарист. Там есть головы, которые выносят сорока- и пятидесятиградусный хмель. Сам бог пьянства не вынес бы того, что выносят часто эти здоровые натуры.

Но вот ударило шесть часов — это условное время у заговорщиков против Махилова. Они ждут его у мельницы. Пойдемте и мы туда и посмотрим, что-то там деется.

— Черт знает, где Третинский? — говорил Чикадзе.

— Не пьян ли он? — заметил Зимченко с глубокомысленной миной.

— Навязали мы себе этого быка на шею. Посмóтрите, он придет с Махиловым.

— Господа, идет, идет Махилов!

— Один?

— Один, только у него палка в руках.

— За двери, ребята! — скомандовал Бедучевич.

Они спрятались.

Махилов шел, слегка помахивая палкой, шел ровным шагом, спокойно. Любо было посмотреть на молодца, который один идет на троих, и идет так беспечно, как будто противники его мальчики. Между тем эти мальчики были крепкие ребята. Бедучевич одной рукой поднимал куль муки, под тяжестью которого кряхтит спина лабазника; Зимченко когда-то высадил плечами двери у жида-шинкаря, а Чикадзе во время óно, когда еще был в словесности, отделался от четверых мужиков, напавших на него за городом. Впрочем, Махилов ожидал, что

Третинский вместе с его врагами, хотя Третинский давно уже спал, отуманенный всеодуряющим Вакхом. Максим Созонтыч искал глазами своих противников и, не видя их, подумал, что они не пришли еще. Он огляделся раза три и, уже убедившись в своей мысли, пошел, ни о чем не думая. Но когда он проходил мельницу, Чикадзе кинулся ему в ноги. Махилов ударился об землю грудью; он понял, в чем дело, но поздно; он хотел подняться, но Зимченко и Бедучевич налетели на него из засады, и началась расправа. Ох, как тяжелы кулаки таких силачей, как плотно приходятся они в спину и в шею!

— Вертыхайся, дитятко! — приговаривал Чикадзе.

Махилова били без пощады, без милости. Он боролся то с тем, то с другим, ловил своих противников за ноги, а между тем шесть здоровых кулаков, как молоты, работали на всех частях его тела.

— Дитятко, считай, сколько у тебя зубов! — Чикадзе ударил его по лицу кулаком.

Наконец остервенился и Махилов, рванулся вперед и ударил ногою в грудь Чикадзе. Дорого бы поплатился Созонтыч за свой удар, потому что Бедучевич и Зимченко с ожесточением кинулись на него, если бы только чья-то сильная и, должно быть, опытная рука не отбросила обоих противников в сторону. Махилов воспользовался свободной минутой, поднялся на ноги и искал врагов; враги приподнимались и, оглядывая нового противника, рассчитывали, как бы поудобнее убраться с поля битвы.

— Демьян Иваныч, это вы?

— Я, шельмовство; я, канальство; эх, бедовое дело, я!

Чикадзе, Зимченко и Бедучевич скрылись.

— Спасибо, Демьян Иваныч, за услугу. Ах, скоты, как они отделали меня.

Демьян Иваныч — избавитель Махилова — был человек высокого роста и крепкого сложения. Ему было лет сорок пять. Борода, длинные волосы и длинный сюртук показывали, что это дьячок.

— Да что это, Максим Созонтыч: трое на одного? За что это, бедовое дело?

— Видите ли... да пойдемте лучше домой.

— Это дело, канальство! Пойдем, пойдем, голова!

— Да что это вы, Демьян Иваныч, как будто радуетесь, что меня оттрепали?

— Ха-ха-ха! радуюсь, канальство, радуюсь, да только не тому.

— Чему же?

— У нас, Созонтыч, праздник.

— Какой же? — спросил с заметным любопытством Махилов.

— Ладно, голова, пойдем.

Максим Созонтыч рассказал Демьяну Иванычу, в чем было дело.

Вот они пришли уже к дому.

III

Должность и квартира Демьяна Иваныча состояла при Покровской церкви. Его домик на этот раз как-то веселее смотрит. У ворот стояло несколько тележек. По всему было видно, что у Демьяна Иваныча праздник.

Махилов и Демьян Иваныч вошли в сени.

— Послушай, Созонтыч: Катя больна.

— Что же у вас за праздник, если Катя больна?

— А не будь, канальство, она больна, не было бы и праздника, — ответил с лукавой усмешкой Демьян Иваныч.

— Так неужели она...

— Да, да, только не проговорись, бедовая беда! Пойдем к ней.

— Ах, Демьян Иваныч, я не ожидал, чтобы так скоро.

— Молчи, чтобы кто не услыхал. Эх! ловко! — Демьян Иваныч прискакнул на одной ножке, что не совсем гармонировало с его солидной бородой и длиннополым сюртуком.

Они вошли в комнату, где уже было много гостей. В большом углу у божницы стояла купель с водою. В другом углу сидела старуха и покачивала ребенка, завернутого в одеяло. Махилов и Демьян Иваныч подошли к старухе.

— Покажи-ка, бабушка, ребенка!

Старуха, творя молитву шепотом, развернула осторожно одеяло.

— Посмотри, канальство; весь в тебя!

Махилов толкнул Демьяна Иваныча в бок, и тот торопливо огляделся с боязливостию.

— Гляди, какой здоровенный! — сказал он шепотом Максиму Созонтычу.

Долго Махилов смотрел на ребенка. О чем-то крепко призадумался он; даже слезы как будто навернулись на его глазах.

— Пойдем, Созонтыч, нехорошо!.. Бедовое дело, если заметят.

— Пойдемте к Кате, Демьян Иваныч.

Они отправились в другую комнату и оттуда в спальню. Здесь на кровати лежала женщина.

— Здравствуй, Катя!

— Ах, это ты, Максим Созонтыч!

Катя приподнялась с кровати. Она была бледна, но и при бледности ее было видно, что она хорошенькая женщина.

— Я, Катенька.

— Он, канальство, он, бедовое дело.

— Что же ты так давно не был?

— Нельзя было, Катя: я был болен.

Махилов говорил правду: он вышел из больницы накануне рекреации.

— Ах ты моя Катя! — Созонтыч подошел к Кате и поцеловал ее. Отец улыбался.

— Демьян Иваныч, отец Яков пришел, — раздался голос дьячихи, женщины здоровой, хотя и пожилой, с добрым лицом и веселой улыбкой.

— Хорошо, Татьянушка. Созонтыч, пойдем, отхватаем крестины. Смотри, хорошенько пой, своего крестишь!

Они ушли. Катя приподнялась с кровати и начала молиться богу. Из другой комнаты слышится дряблый голос священника и двух здоровых басов.

Читатели, вероятно, догадались, в чем дело; вероятно, догадались, что Махилов, еще будучи семинаристом, имел жену и что вот бог даровал ему сына; но они еще не понимают, как это могло случиться.

Предупреждаю, что не умею описывать любовных похождений, а потому расскажу дело кратко.

Махилов познакомился с Демьяном Иванычем в шинке; они выпили, разговорились и сошлись друг с другом. После того Максим Созонтыч начал похаживать

к своему новому знакомому — сначала раз в неделю, а потом все чаще и чаще. Созонтычу крепко полюбилась Катя, а ей Созонтыч, — как это бывает, я, признаюсь, не умею еще понять.

Раз, когда Демьян Иваныч был на поминках у купца Турыгина, они сидели обнявшись и о чем-то мечтали, как это часто бывает в подобных обстоятельствах, и не заметили, как вошел в комнату отец. У Демьяна Иваныча было одно странное свойство: если он сильно весел, все ломает, что попадет в руку; если сильно рассержен, делает то же. Увидевши такой срам, Демьян Иваныч сломал стул, отколотил Созонтыча и выгнал его из своего дома. Но когда Катя кинулась ему на шею, он заплакал. Когда же Катя сказала, что ни за кого не может идти замуж, как только за Максима Созонтыча, во-первых, потому, что любит его, а во-вторых, не скажу, почему, сами догадайтесь! — тогда Демьян Иваныч решительно растерялся. Долго он молчал, наконец крикнул, ударив по столу кулаком: «Баба!» Явилась жена. «Что ты, батюшка Демьян Иваныч?» — «Бедовое дело: вот послушай Катю!» Катя со слезами рассказала о своем положении. Мать тоже заплакала. Но глупый плачет от бедства, а умный ищет средства. Татьяна же Акимовна была женщина умная. «Что же, Демьян Иваныч? Горю слезами не поможешь!» — «А чем же ты пособишь?» — «А вот в Поволокове у тебя брат попом, он их поженит и в книги, какие нужно, внесет; пойдут детки, — скажи, что наши!» — «А после как же?» — «Кончит курс и будет мужем у Кати!» Демьян Иваныч подумал-подумал, да и решил, что делать больше нечего. Через неделю была свадьба, а через три месяца родился сынок — то есть понимаете, что это значит.

Вот вам сведения о любви Максима Созонтыча.

Махилов возвратился на поле уже на другой день, часов в десять вечера. Там уже блестели костры, и семинаристы купались при свете их в теплой майской воде. Кругом темно, а по полю там и здесь раскиданы костры, и при свете их видно, как движутся тени по земле; слышны песни и клики, и плеск воды от ударов купающихся, и хохот, и вопли. Все сливается в какой-то странный гул, который висит над кострами. Но вот песни раз-

дались крепче и сильнее, «ура» разносится по воздуху. При этом на другом берегу вспыхнуло высокое пламя от громадного костра, который разожгли семинаристы. Темное поле осветилось во все стороны; слышен треск сухих бревен. Огонь, вырвавшись из горящей громады, красными клоками и длинными змеями улетает к небу. Около этого костра составился танец — человек из пятидесяти. Махилов долго любовался на огонь и пляску, но сам не пошел танцевать. Ему было о чем подумать. Наконец огромный костер сгорел; оркестр и хоры замолкли; реже и реже раздается плеск реки. Мало-помалу все стихло и заснуло. Только Махилов не спит; он развел у своей палатки огонек, закурил трубку и задумался.

— Созонтыч, что ты не спишь?

— Ах, это ты, Кирюша! Не спится!

— Ты, брат, ей-ей, не сердись на меня. Напали, и сам не видал, как...

— Полно тебе, Кирила Петрович. Послушай-ка, что я расскажу тебе.

— Что бы это такое?

Максиму Созонтычу не терпится. Ему хочется передать кому-нибудь свою тайну, а кому же ее передать, как не Третинскому? Он умеет беречь чужие тайны. И вот теперь Махилов передает другу повесть своих любовных похождений и женатой жизни. Кирюша слушает да дивуется.

Женатый семинарист — это диво и в Ч.....е.

Наконец улеглись и эти собеседники. Померк последний огонек, и на поле, в тишине глубокой ночи, чуть виднеется полотно некоторых палаток.

Утро. Семинаристы купаются, пьют чай и курят махорку. На поле мирно и тихо. Пляска и песни запрещены до обеда. Часов в десять семинаристы расходятся в разные стороны, к родным и знакомым, а кто имеет кондиции, отправляются давать уроки. Певчие расходятся обыкновенно по церквам. Май замечателен семинарскими концертами, которые разучиваются задолго до рекреации.

Чикадзе и Бедучевич тоже отправляются куда-то.

Послушаем, что они говорят.

— Да, да; я сам вчера слышал. Видишь, я лежу в канаве — выпил, да туда и завалился, да и заснул. Вот

впросонке и слышу, что разговаривают. Я навострил уши и слышу...

— Ладно, что же десять раз повторять одно и то же?

— Ну, теперь он в наших руках.

— Только смотри, начнем, так не пятиться, а то вчера все разбежались.

— В числе их и ты.

— И ты! Поневоле, когда одного оставили.

— Ну, да ладно; дело в том, что Махилов в наших руках. Недавно крестил, а теперь его окрестим.

Таким образом, враги Махилова узнали его тайну и решились не давать ему пощады.

Что-то будет!

. . . .

1855



Вукол

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК



У Тарантова родился сын. Дали ему имя Вукол. Вукол не обещал ничего красивого в своей особе: голова у него была большая, нос плоский, уши маленькие, туловище несоразмерно велико, а ножки коротенькие. Но при всем том он был ребенок здоровый. Что еще сказать о человеке, когда он только что явился на свет? Некрасив и здоров — вот и все... Будет ли он умен, добр, счастлив? — бог знает!.. Станут бить его по голове — вырастет дураком, хотя б и не родился им; будет воспитывать танцмейстер — выйдет из него кукла; откормят на краденые деньги — отзовется и это. Трудно показать и объяснить влияние внешних обстоятельств на голову и сердце человека. Может быть, человек глупеет и черствеет еще в колыбели. Бог знает, какое влияние имеет на ребенка глупая рожа няни, физиономия папаши часто с отсутствием образа божия, грязная соска, табачный запах, визг и слезы братцев и сестриц и тому подобные буколические обстоятельства, на которые чадолюбивые и сердобольные родители, домовладыки и цари семейств, часто не обращают никакого внимания. Все это, без сомнения, уродует человека. Но несомненно и то, что иногда при неблагоприятных обстоятельствах человек развивается счастливо. Часто и семья, и товарищество, и обстановка, и все случаи жизни, и даже прирожденные наклонности, наследственная порча — все направляет человека ко злу; но какая-то спасительная сила противудействует всему, и образуется человек

умный и счастливый. Все это идет к тому, что о ребенке ничего нельзя сказать наперед, что́ из него выйдет. Итак, Вукол некрасив и здоров — вот и все пока о нем. Впрочем, при рождении ребенка обращают внимание на разные приметы и предзнаменования. Вукол родился в сорочке, с длинным пупком, день рождения был скоромный и число дня четное — все это, по мнению повивальной бабки Анны Ивановны Штотиной, предвещало ребенку счастливую будущность. Но дядюшка Вукола Семен Иванович думал иначе. «Ну что ты, братец, за кличку дал своему чаду, — говорил он отцу Вукола Антипу Ивановичу, — да ты вникни в это слово!.. Вукол?.. Вслушайся в это слово хорошенько... Вукол!.. в угол!.. кол!.. ха-ха-ха! Ведь это, братец ты мой, престранное слово. А ну-ко, покажи его... По шерсти, по шерсти, брат, кличка. Именно Вукол... Нехорошо, нет, не похвально, что обзавелся таким сокровищем». Семен Иванович продолжал до тех пор свою бесцеремонную речь, пока не был приглашен замолчать. Но вот нелюбезный дядюшка уехал, и Вукол стал безобидно вырастать среди мирной и достаточной семьи своей. Отец с удовольствием носил его на руках, что наконец обратилось у него в привычку. Мать целовала его без отвращения. Няня, старуха Акулина, любила Вукола как свое дитя. Она, бывало, качает его да приговаривает: «Ах ты голубчик мой, некрасив ты, да это ничего, был бы здоровенек. Батюшка, Вукоша, о-о-о!» Под песни и ооканье старой Акулины Вукол засыпал сладко. Проснется он — няня делает ему зайчика, показывает, как сорока кашу варила, вместе с ним хохочет старуха и прыгает. Безобразия своего Вукол не понимал. Увидев себя первый раз в зеркале, он смеялся, весело кричал и махал ручонками: ему было хорошо. Раз только дьяконский сынишка, увидав его, закричал: «Ой, какая харища!» — и швырнул в него грязью.

Так и подрастал наш Вукол. Вот уже наступил ему пятый годок. Отец его однажды читал книгу, но вдруг зашатался и грянулся на пол. Мать и нянька стали хлопотать и плакать. Пришел доктор, еще много какого-то народу. Все о чем-то расспрашивали, смотрели папу и потом писали на бумаге, а мама все плакала. Страшно стало Вуколу. Но что это делают с папою? — поло-

жили его на стол, накрыли золотым одеялом, вокруг зажгли восковые свечи. Пришли священник и дьячок; ходят они вокруг папы, читают они что-то да поют. Около риз священника дым вьется, а в руках гремят золотые цепочки кадила. Хорошо стало Вуколу. «Няня, посади меня к папе». — «Папа умер», — ответила Акулина. Вукол, будто поняв беду, крепко прижался к няньке и зарыдал... Похоронили папу. Помнит Вукол, что много у них было гостей и что ему понравились кутья и блины.

Прошло еще два года с немногим. Вуколу семь лет. В семь лет ребенок понимает многое, он обнаруживает уже характер свой, который часто трудно переломить, который не поддается ни убеждениям, ни пряникам, ни розге. Недаром же человеку прощаются грехи только до семи лет: значит, за многое он может отвечать в этом возрасте... Вукол по природе был добр и неглуп. Мирная жизнь, ласковое воспитание, доброта матери и няни, пример в лице их — все это возбуждало в нем чувство добра. Мать его была религиозна по убеждению, а потому и старалась усвоить сыну главным образом не один обряд религии, а дух ее. Еще не зная ни одной молитвы на память, Вукол, крестясь, произносил: «Боже, пусть маменька будет здорова!» или: «Боже, дай день хороший завтра». При таком направлении Вукол редко находил удовольствие обрывать крылья бабочкам, водить жука на нити, топить котят, разорять птичьи гнезда. Это было дитя доброе, что для наблюдательного человека выражалось даже в его безобразном лице, особенно в его умных глазах. От няни Вукол получил достаточный запас сведений о темном мире ведьм, колдунов, Иванов-дурачков, царевичей, богатырей, сапогов-самоходов, сивок-бурок, живой и мертвой воды и других принадлежностей русской сказки. Религиозное и сказочное уживалось в душе Вукола так же уютно, не противореча и не уничтожая одно другого, как в душе взрослого. Как это бывает, трудно и понять. От няни же, а не товарищей Вукол научился делать бумажного змея, трещотки, свистульки, водяные мельницы. Воспитание его было по преимуществу женское; все в нем развивалось под влиянием матери и няни. Впрочем, в последнее время он познакомился с тремя сыновьями приходского священника. Они приезжали летом на каникулы домой,

в деревню, небольшое имение Анны Алексеевны, матери Вукола. От них он получил понятие о фискальстве и товариществе. Только не приходилось Вуколу прилагать к делу это понятие: он по малолетству не был принят в общество поповичей как совершенный товарищ — в играх участвовал, но не был посвящен в тайны и не допускался ко многим предприятиям. У него были свои тайны, свои предприятия. Вот, например, набрал он душистого горошку, резеды, фиялок, других травок и цветов, положил все это в банку и толчет. Лицо его серьезно, работает он прилежно и выпачкался в меру. Это он хочет сделать духи. Но опыт не удается. Или вот Вукол достал пятачок и закопал его в землю, и каждый день ходит поливать его. Акулина заметила это. «Что ты делаешь, Вукол?»—«Деньги рощу».—«Как же ты деньги ростишь?»—«Да мама говорила же, что доктор деньги ростит». — «Он деньги в рост отдает; это совсем не то, что ты делаешь». Когда нянька объяснила, что значит отдавать деньги в рост, Вуколу самому смешно стало... Такие случаи могут рекомендовать Вукола как дурачка, но не ошибитесь: действовал он вполне самостоятельно, по указаниям своего младенческого разума; но и взрослый — оставьте его самому себе — так же насмешит в большей части случаев. Итак, в поведении Вукола обнаружились уже доброта и любознательность — признаки того, что из дитяти можно сделать многое хорошее.

Вукол на осьмом году лишился матери. Помнит он и эти похороны: но впечатление произвели на него не гости, кутья и блины, а потеря любящей матери, доброй и нежной. Он долго тосковал и все боялся чего-то. Дядя Вукола Семен Иванович назначен был опекуном. Вукол и няня к нему переехали. Ребенок как-то смутно сознавал, что́ с ним делают, и одумался несколько уже на новом месте. Здесь только он заплакал о старом доме, и о речке, и о полях, и о саде, и о своих незатейливых, но любезных сердцу удовольствиях. На новом месте Вуколу была отведена комнатка довольно мрачная; вид из единственного в ней окна был непривлекателен: с одной стороны стена сарая, с другой стена бани, а с третьей забор, на площадке двора лежали три поросших мохом бревна. Внутри комнаты виднелись закоптелые стены, комодик, стол, два стула и лежанка. Здесь-то

поселился Вукол. Няня приходила к нему только днем, а ночевал он один. В первое время его как будто и не замечали в доме; лишь изредка дядя, встретившись с ним, назовет его черепахой, змеенышем, лупеткой. Услышав слово «лупетка», Вукол рассмеялся. «Подожди, поросенок, подрастешь, так я попотчую тебя, — сказал дядя, — посмотрю, каналья, откуда у тебя ноги-то растут». Понятно, что жизнь Вукола совершенно переменилась и что от прежнего времени остались одни воспоминания.

Дядя Вукола был помещик, владетель сорока душ. Человек он был холостой. «Любовь, — говорил он, — глупость, подруги жизни мне не надо, и в хозяйке я не нуждаюсь: так зачем же мне жениться?» Гости, охота, водка, карты, послеобеденный сон, кофе — все это у дяди, как у человека степенного, считалось богопротивным. Ученость — вольнодумство. Скупым быть худо, но денежку копи и люби. Вот убеждения Семена Ивановича. День его располагался так: умоется, помолится богу, зажжет лампадку пред иконою, пьет чай; потом идет распорядиться по хозяйству, причем рассыпает обильные плюхи направо и налево, дождит на праведные и неправедные; далее обед, кейф, который состоял в курении табаку, вечером опять чай; после чая прогулка и кабинетные дела, то есть разбор судебных бумаг, счет денег и чтение нравоучительных книг; наконец следовали ужин, молитва и сон. Уже лет двадцать поживал так Семен Иванович, имея о себе понятие как о человеке, у которого совесть спокойна, который ни в чем не нуждается, знать никого не хочет и жить умеет. «Экой счастливец какой!» Теперь еще понятнее, что жизнь Вукола должна была измениться.

Через несколько времени нянька была отставлена от Вукола, а место ее занял сельский дьячок Гаврилыч, в должности учителя. Гаврилычу было сказано: «Вот тебе барчонок в науку. Спуску ему не давать: посечь, или за волоса надо, или там на колени поставить — все это в твоей власти. Ну, за труды рубль в месяц и натурою коечто». Гаврилыч согласился; да как было и не согласиться: к сорока рублям его годового жалованья прибавилось еще двенадцать.

Первая лекция началась такими словами: «Перекрестимся, да и за книгу... да вот что еще: ты, Вукол, помни



у меня, что драть буду страшно, если будешь туп или ленив. Слышал?» Вукол отвечал: «Слышал». — «Впрочем, в первый раз прощается, второй увещевается, а третий наказуется. Это правило дедов наших». Понятно, что Вуколу приходилось терпеть от дьячка; но все как-то избегал он телесных наказаний, потому что учителю оставалось только удивляться способностям, прилежанию и успехам ученика. Притом Гаврилыч был глупый педагог, но человек души доброй: чистейший по душе, как баран, и по прозванью, которое он получил в своем приходе.

Вукол не успел научиться порядочно читать, а Гаврилыч, рассчитывая на его способности, стал преподавать ему Начатки. Здесь-то вполне обнаружился педагогический талант и такт дьячка. Метода его была такова. Он ногтем отмечал скобку в одном и в другом месте книги и говорил: «с энтих до энтих». Читая неправильно и без толку, Вукол заучивал одни слова — редко он понимал и усвоивал смысл урока. Это называется учить *в долбяжку*. Понятно, что сведения о боге, людях, жизни, природе остались у него те же, какие были и прежде... Вот Вукол доучивает урок. Сидит он у стола, покачиваясь из стороны в сторону, уши его заткнуты пальцами, глаза зажмурены, губы шепчут непонятные слова урока. Так Вукол уединяет свое внимание от всего внешнего. На лице его выражается напряжение и сосредото-

ченность мысли. Наконец урок выучен. Вукол открывает глаза и уши, крестит книгу со всех сторон и прикладывает ее ко лбу. Таким приемам выучил его Гаврилыч, в предосторожность, чтобы не запамятовать урок. По той же причине запрещалось оставлять после урока книгу открытою, класть в нее сухую перепонку из пера, отдавать ее кому бы то ни было, почему сам Гаврилыч написал на обложке: «Кто возьмет книгу без спросу, тот будет без носу», — а в другом месте: «Кто возьмет книгу да не скажет, того бог накажет». Сам Гаврилыч изучал такие эпиграфы в бурсе, где в учебниках — и на полях, и между строк, и поперек текста — встречаются подобные курьезности. Например, у Гаврилыча хранится грамматика Пожарского, по которой он изучал русский язык. Здесь можно читать в разных местах: «Выпито полведра... Мерзость запустения... Хоронили ректора... Лобов сказал Элпахе (прозвище ученика): сивохряпая твоя натура!.. Самому цензору ввалили полтораста майских... Выдавали носки... Инспектору напустили в комнату чертову дюжину поросят» и т. п. Много интересных вещей встречалось в грамматике Пожарского... Перед уроком Гаврилыч обыкновенно говорил: «tempus zapregandi», а после ответов своего ученика: «широшо-хоцы» или «шибо-слацы». Это называется говорить *по шицы*. Здесь требуется разделить слово на две половины, к последней прибавить *ши*, к первой *цы*, последнюю произносить сначала, первую после; например, Гаврилыч — шилыч-Гаврицы, баран — ширан-бацы и т. п. Этот язык получил начало в бурсе и употребляется здесь с незапамятных времен. Он также в употреблении у половых в трактирах на лихую ногу. Вукол скоро понял эту премудрость, сам был тем доволен и крайне порадовал своего наставника. Дьячок, видя успехи своего ученика в иностранных языках, решился посвятить его и в латынь, то есть вдолбить во что бы то ни стало в голову ученика несколько латинских слов, которые бог знает каким образом удержались в собственной голове Гаврилыча. Замечательно, что в числе немногих слов Гаврилыч помнит artocreas. Как до сих пор он не забыл artocreas? Ведь это довольно трудное слово—не то, что panis [1] или homo. [2]

---

[1] Хлеб *(лат.)*. — *Ред.*

[2] Человек *(лат.)*. — *Ред.*

Однажды — это было в первоуездном классе — учитель Лобов велел выпороть Гаврилыча. Начали драть Гаврилыча; но, о диво! Гаврилыч не пикнет; Гаврилыч молчит упорно под лозами, как будто дерут не его. Он хотел доказать, что умер для науки. Все товарищи притихли, каждый считал удары; только и слышен ужасающий свист длинных прутьев. Осьмнадцатилетнее дитя, наш мученик науки, молчит упорно. «Выдрать его на воздусях», — сказал Лобов голосом Юпитера-громовержца. В одно мгновение подхватили Гаврилыча за руки и ноги, повис он на воздухе в горизонтальном положении, и справа и слева начался хлест и свист розог. Наш будущий причетник молчит упорно... Тишина торжественная... У брившихся и небрившихся товарищей от удивления дух замирает. «Посолить его», — сказал Лобов опять голосом Юпитера-громовержца. Ужас пробежал по жилам товарищей. Бросили соли на Гаврилыча. В первую минуту он стерпел, но потом... силы небесные!.. как же и взвыл он молодым и диким, не перепитым еще, уши мертвящим басом своим! «Довольно, — сказал Лобов. — А ты помни, — отнесся он к Гаврилычу, — это называется artocreas, то есть пирог с мясом. На будущее время я тебе еще не такой паштет устрою». И Гаврилыч вовеки не забудет, что значит artocreas.... Наконец, педагог наш хотел выучить Вукола читать по-латыни, но не оказалось латинской книги... Таким образом правила мнемоники, богословские познания и языковедение дьячка переселялись в голову Вукола. Учитель был вообще доволен учеником, хотя и не обнаруживал того, в том убеждении, что ученика если не сечь, то по крайней мере бранить и допекать непременно следует; а ученик в большей части случаев походил на попугая.

Семен Иванович ходит в своей спальной из угла в угол. Странное расположение посетило его душу. Хлеба у него убраны, слуги выруганы, на днях решена последняя тяжба, новостей нет, а к воспоминаниям старого и к чтению душеспасительного нет позыву. Пусто в голове, пусто в сердце, в одном желудке не пусто: и есть-то даже не хочется. Вот Семен Иванович затеплил лампадку, зачеркнул в числительнице день, выкурил трубочку, другую; ну, а потом-то что? Глядит он на потолок, на стену, на кончик сапога. Фу ты, скука какая! Сотый раз пересмотрел портрет свой, начатый одним приятелем по

дружбе и не конченный по вражде; потом заглянул в календарь: Параскевы сегодня, ну, пусть Параскевы; потом заглянул в окно: тут улица... ну, улица... мужики идут, бабы идут, телега едет... «А черт с ними, — думает Семен Иванович, — пусть их идут и едут куда угодно; мне-то что тут?» Семен Иванович, очевидно, живой человек, но жизнь его проявляется только сознанием своего тягостного в настоящую минуту бытия: никакая мысль не удерживается в его голове, никакого желания нет в сердце, ни расположения в теле. Все в нем, кроме сознания, как будто замерло и окоченело. Такое состояние обыкновенно называют скукою от нечего делать, но оно более, нежели скука от нечего делать. Есть люди, которые воспитывают себя в недеятельности и привыкают к таким состояниям: иной уставит глаза на одну точку и сидит так долго-долго, и это не кейф, не сон, а просто отупение, обморок нравственный, окоченение душевное. Такое состояние невыносимо для натуры деятельной. Разрешается оно у разных индивидуумов различно: иной выпьет водки, шевельнется в нем кровь, и вот он как встрепанный; другой соберется с силами и хватит наконец стулом об пол или заревет дико — песню не песню, а так какой-нибудь звук, который сам просится прочесать горло; иной спать ляжет и проспится... много есть исходов из подобного состояния. У Семена же Ивановича в таких обстоятельствах являлась на сердце какая-то беспредметная злоба, желчное расположение... Вот нашла туча, потемнело на улице и в комнате... еще тошней на душе!.. В этот момент беспредметная злоба разрешается желанием помучить, поистязать кого-нибудь. Семен Иванович ищет предмета и находит предмет: через его комнату идет Вукол.

— А, это ты, звереноκ; ну, что ты? — говорит опекун опекаемому им племяннику.

— Ничего, дяденька.

— Дурак ты.

Опекаемый племянник ни слова на это.

— Скажи, что такое дурак?

— Не знаю, дяденька.

— Эва хитрость! Да вот скажи: чего вам еще лучше? я дурак!

Вукол с недоумением выглядывает на дядю исподлобья...

— Что же ты, поросятина?
— Боюсь, дяденька.
— Это что за глупости? Ну же, говори.
— Вы дурак, дяденька.
— Ах ты безобразная рожа, что ты сказал? Ухо!
Вукол подставляет ухо.
— Другое!
Вукол подставляет другое. Дядя командует далее:
— Встань в угол, лицом к стене... Теперь печке кланяйся, да в землю, в землю, безобразная рожа. Я научу тебя уважать дядю.

Вукол не противится, не оправдывается; как машина выполняет приказания дяди; лицо его, обращенное к земле, бесстрастно, даже глупо. Новое воспитание кладет на него свою печать.

Потом идет экзамен другого рода:
— Дурак, в который день создана курица?
— В пятый.
— Сколько тебе лет?
— Восемь.
— Где у тебя ум?
— В голове.
— Кто твой дядя?
— Помещик Семен Иваныч Тарантов.
— Когда ты именинник?
— Шестого февраля.
— Кто хуже всех на свете?
— Дьявол.
— А после дьявола?
— Мазепа.
Это сведение сообщено самим дядею.
— Хорошо. Ты давечь сказал, что у тебя ум в голове; а где же у тебя глупость?

Вукол становится в тупик. Если в голове ум, то где же глупость? Думал-думал Вукол, — нет глупости нигде, а должна же быть.

— Дурак, да в башке же, в башке! Повтори же, где?
— В башке.
— Ну да — в башке. Всегда так отвечай. Аль у тебя и в брюхе есть глупость? Да, именно есть и в брюхе. Ведь ты неблагодарное животное, не чувствуешь, что жрешь чужое добро. Хорошо. А у меня где глупость?

Молчит Вукол.

— Говори, остолоп.

— В башке.

Опять начинается уходрание, поклонение печке и прочие опекания. Таким образом, Гаврилыч преподавал Вуколу богословие и языки, а дядя психологию и другие науки, которым не приберем и имени.

Так дядюшка потешился, развлекся. Вот уже и спокойно у него на душе, и опять он вполне сознает, что у него совесть чиста, что он ни в чем не нуждается, никого знать не хочет и жить умеет. Потешившись, он говорит Вуколу:

— Ладно; убирайся к черту.

Вукол уходит сбычившись. У него после таких случаев нарастает на душе что-то недоброе, очень нехорошее. Случаев же таких немало в его жизни. Жизнь под крылом любящей матери произвела свое действие на Вукола; жизнь под лапою дяди должна была произвести свое действие. Все около него переменилось: лица новые, требования и ответственность иные, старых правил и в помине нет, образ жизни скучный, без детских игр и звонкого смеху; наконец, ко всему этому вечное одиночество и насильственная серьезность. Дядя употребляет неприличные слова, при всякой встрече дразнит и тиранит его, попрекает своим хлебом. Все около него злится, завидует друг другу, клевещет и насмехается. Дворовые люди Семена Ивановича, зная, что Вукол не смеет пикнуть у дяди, потешались над ним, вполне удовлетворяя своему холопскому чувству, которое вечно враждебно барину и которое никогда не выражается прямо, а исходит косвенными путями. Вукол испытал на себе, что такое холопское чувство, послужив ему проводником. Лакейство на перезадор старалось выдумывать ему клички, и как подлое лакейство не нарекало его? Гаврило-дворник, детина громадный и глупый, называл его бог весть почему скорбутом, причем хохотал самым безобразным складом. Федосья-кухарка говорила, что на его мурластой харе можно точить ножи. Калина-кучер звал его пятым колесом. Немного спустя имена заменялись другими. Его постоянно обманывали и пугали. Раз сказали, что дядя зовет его. Вукол явился в кабинет и, прежде чем успел спросить, зачем его звали, получил

от дяди пять щелчков счетом в самый нос. Невинный нарушитель спокойствия не постигал, за что ему ниспослано пять щелчков счетом. Другой раз сказали, что нянька его умерла. Слезы и печаль Вукола о мнимой смерти Акулины сильно распотешили прислугу. Даже до какого дошло омерзения? Гаврило выучил цепную собаку страшно лаять и рваться, когда мимо ее проходил Вукол. За что же ненавидели Вукола, чем он оскорбил прислугу? Ничем. Холопское чувство безнравственной дворни искало исхода и бессознательно отозвалось на барчонке за все оплеухи, розги и брань.

Как же это так? Что это такое?.. — толпились вопросы в голове ребенка. Тысячи противоречий возникали в душе. Веселость его пропала, откровенность тоже; лепет его сперва превратился в ропот, потом в мольбу о пощаде, наконец совершенно затих. Не понимая, что́ в новой среде хорошо и что́ худо, Вукол сбился с толку, сделался недоверчив к себе, осторожен во всем, как-то сдержан. Только по натуре, по старой памяти и привычке, он стремился к прежним понятиям и обычаям. Будучи устойчивой натуры, Вукол не совершенно поддался влиянию среды, не привилась к нему короста ее, хотя он довольно одурел под гнетом противоречий, ежедневных нелепостей, пошлостей и мерзости. Но сознание собственного достоинства, так необходимое человеку, чтоб быть человеком, в нем постепенно заглушалось, и, чтобы возбудить его, был необходим случай замечательный, могущий уничтожить страх, под влиянием которого он жил и развивался. А страх — исходная точка отправлений его нравственной жизни — действовал на него сильно. Нелюдимость его росла не по дням, а по часам. Дошло до того, что он ни с кем не заговаривал, ничего не просил. При людях, когда никто не трогал ребенка, лицо его было без всякого выражения, как доска; когда необходимость заставляла отвечать, оно было торопливо и испуганно; при этом Вукол сжимался инстинктивно и уничтожался, произносил «да» или «нет» либо повторял чужие слова, не смотрел прямо, а выглядывал исподлобья, хотя на совести его не было ничего преступного. Свидание с нянею было для него настоящим праздником. Она ни советом, ни делом не могла помочь ему: она только соболезновала, охала да причитывала, но все-таки, хотя изредка, Вукол слышал ласковое слово любя-

щей женщины, а это много значит в жизни человека. Что бы и сталось с ним, если б не было этой без толку охающей и причитывающей няни? Наедине Вукол не имел игрушек, не разговаривал вслух, как это делают прочие дети в игре один на один. Но здесь все-таки лицо его оживлялось, мысль начинала действовать, чувство приходило в движение. Сухой куст гераниума, гнезда червячков в горшке, паутинка, бег мыши за шпалерой, отдаленное тиканье маятника, жужжание мухи на стекле, мириады золотых пылинок и крапинок на яркой полосе солнечного света — все это были предметы наблюдений и забот Вукола; все эти предметы были действующими лицами, заменявшими кукол в его умственной игре без слов. По вечерам, перед сном, бродили в его голове слышанные им сказки и мифы собственного изобретения. Попытаемся заглянуть и в тот уголок души ребенка, в котором творились эти мифы, которых породило стремление ребенка объяснить все, что он видит и знает. Воспоминания о подобных усилиях детского ума дороги всякому, кто занимается познанием самого себя. Они часто многое проясняют в жизни нашей. Кто, например, не спрашивал в детстве: «Откуда это я взялся? как так родился? я помню, что всегда жил дома». Кто не задумывался над такими вопросами? Одному говорили, что принесла его старуха, другому — что нашли его в лесу, третьему — что ангел принес и положил его в колыбель, четвертому — что маменька вынула его из-под мышки и т. д. А те, которым запрещено было спрашивать, сами создавали какой-нибудь миф. У Вукола для создания мифов было довольно времени. Ему, например, представлялось, что в стенных часах сидит мальчик и он качает маятником и ударяет молоточком, когда наступит время. Почему ж так казалось ему? Бог знает. Может быть, звон колокольчика был так игрив, движения маятника так легки, что невольно намекали на затеи дитяти, а может быть, и другое что-нибудь в форме и устройстве часов. Какой психолог разберет все эти понятия, инстинктивно создающиеся из бессознательных, быстролетных впечатлений? Миф создается мгновенно, сразу. Пришла минута, взглянулось как-то особенно на часы, и вот бесконечный ряд прежде нажитых впечатлений должен сформироваться и выразиться в одном образе.

«Что такое бог? Еще мама говорила, что образ не бог...» — думал, думал Вукол и вдруг, зажмурivши глаза, сказал: «А, вот что бог». Никакой анализ не объяснит, никакое слово не расскажет, что тогда было в его голове. Или вот был же он уверен, что земля кончается за рекою. Ему сказали, что молоко дает корова. Каким образом? — задал он себе вопрос и решил, что она плюется молоком. Бывало, он шевелит пальцем и думает, отчего же это он шевелится? Предоставьте дитя самому себе, боже мой, чего оно не думает! Не так ли и народ в младенчестве изобрел русалок, домовых, леших и прочих мифологических существ? Обильный запас мифов доставили Вуколу ночные звуки. То покажется ему, что ударили в колокол, и не догадается, что это из умывальника падает капля на дно медного таза; вот хрустнуло что-то, — опять не успел он подметить, как хрустнул собственный сустав тела; что-то страшное прокатилось в воздухе, — сырость коробит шпалеру на стене; слышно, как диво какое-то тихо-тихо крадется, — а это таракан оставил по себе чуть слышное шарчанье по шпалере; вот явственно упал удар на чью-то спину, — это палка, в продолжение часа теряя равновесие, упала наконец на подушку стула; ай, плачет кто-то! — ничуть не бывало: заныло в зубу от прилившей крови. Но где же Вуколу подметить неуловимые причины ночных звуков? И вот он наполняет ночной воздух фантастическими существами, создает духов и чудовищ; воображение играет, сыплет образы, страшит и дивит дремлющее дитя. Тут же ночные видения являются в помощь звукам. На ручке двери сидит мужичок, во все окно налеплен рак, чьи-то зубы торчат из-за печки, в ногах на кровати заяц. Где ж догадаться Вуколу, что предметы при игре прихотливых теней ночи принимают в глазах фантастические формы? Вот передвинулись тени, и создались новые образы и фигуры. Кроме того, увлекали Вукола разные психологические и физические загадки и фокусы. Часто случается, западет в голову какая-нибудь фраза, кончик песни, звук или просто образ, и все это само возникает в голове, вертится и повторяется против нашей воли. Сидит Вукол, побалтывая ногами, а в голове его так и стучит: «бубы, бубы, сам пошел». Вот опять, опять: «бубы, бубы, сам пошел». Откуда взялось это «бубы»? Кто пошел? Куда пошел? Нет, не отстает фраза, повто-

ряясь сама собою, так что наконец измучит Вукола. Иногда привяжется его внимание к тиканью маятника; не отстать, не забыть его; удар за ударом, удар за ударом так и напечатлевается в ухе... Бывало, закроет Вукол глаза, особливо при огне, и пойдут круги и пятна, нити и точки; составлены они из воздуха серебряного, золотого и оранжевого; взойдет лучистое пятнышко, плывет, плывет, тает и тонет в воздухе; не сказать, где оно возникло, где пропало. Также любил Вукол опрокинуться головою вниз; все предметы представляются в обратном порядке, всё вверх ногами — совершенно новый мир; при этом придавит еще глаз пальцем, и пойдут предметы двоиться и троиться. Тогда чудные фантазии разыгрывались в его воображении. Так вот в каком мире действовал Вукол и развивался: причина тому постоянное уединение и молчание. И всякое дитя живет в этом мире, но Вукол жил в нем по преимуществу.

Лишь только кончил Вукол урок по Начаткам, именно об Антиохе Эпифане, — вошел к нему дядя. После вопросов: кто хуже черта, в который день создана курица и т. п., дядюшка сказал: «А что это я никогда не спрошу тебя урок? Читай-ка, брат, что учил сегодня».

Вукол зажмурил глаза и начал читать. Дядя следил по книге пальцем и был, по-видимому, доволен. Но вот Вукол дошел до камня претыкания: он назвал Антиоха Эпифана Эпиохом Антифаном.

— Что? — закричал дядя, — повтори-ка, скотина!

Повторил Вукол.

— Мерзавец! Это кощунство! Розог! Позвать Гаврилу!

— Дядюшка, дяденька! бейте, но не секите; есть не давайте три дня, ухо оторвите, но не секите. — Выговорив это, Вукол еще более испугался. Надобно заметить, что он не был еще ни разу сечен.

— Покажу я тебе, кощун, как смеяться над божественным. — Дяде казалось все святым, что напечатано славянскими буквами.

Совершилась операция сечения розгами — одна из неприятнейших операций. И больно было Вуколу и крайне стыдно. В розгах он видел последнюю степень позора. Первый раз сознал он себя, первый раз в сердце его кипела злоба на старших. Злоба душила его. Оставшись один, Вукол заговорил: «А, так высекли, высекли же!..

давно обещались!..» — и потом заплакал. Случалось ли вам видеть кошек или собак, которых никогда не били? Если ударить такое животное, особенно в старости, оно приходит в ярость и нередко бросается на хозяина. Но Вукол всячески был человек, и первые розги, притом за напраслину, должны были произвести потрясающее действие. Вот он несколько успокоился. Началась в душе работа. Из покорного, тихого, забитого ребенка он стал вдруг дик и мстителен.

— А, — заговорил он, — не боюсь же я теперь и розог... Ничего не боюсь... Да и чего ж теперь бояться, чего ж бояться?.. Пусть бьют, все одно... А и я хотя раз да побью же кого-нибудь... Дядю побью... Палкой побью... Право, пойду и ударю... Высекут? Пусть высекут... Пусть...

. . . .

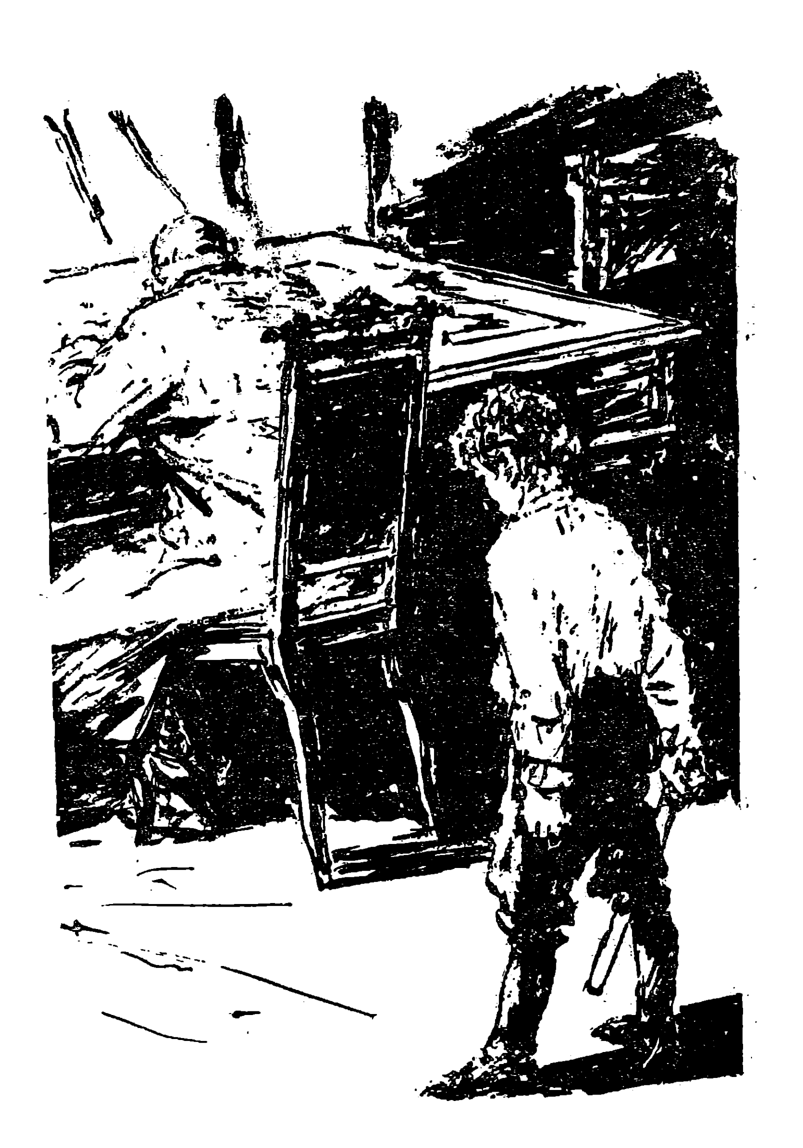
Лицо Вукола исказилось. Оно стало вдвое уродливее. Вот он опять замолчал. Слеза как катилась, так и повисла на полщеке; глаза вытаращены, не бродят они с предмета на предмет, но и не смотрят на что-нибудь определенно; рот полуоткрыт. Это наступило минутное затишье. Вот уже муха на стекле обратила его полувнимание. Он давнул ее пальцем почти бессознательно... «Маменька! — вдруг закричал он. — Меня бьют, ругают, секут!..» Первый раз Вукол выразил горе своей детской жизни. Тотчас же после этого нашло на него какое-то дикое состояние. Он наклонился вперед, надулся, лицо налилось кровью, и стал вопить, и вопил не какое-нибудь определенное слово или букву, а просто тянул отчаянным образом звук, который на бумаге не выразить, а можно только голосом показать. Это называется вопить благим матом. Ревел Вукол, ревел. Наконец он бросился на кроватку, вцепился в подушку зубами, так и замер, сразу оборвался вопль его. Опять настало затишье. Должно было ожидать кризиса, как и первый раз. Замечено у прочих детей, что после первого замиранья слез, в период всхлипывания, когда у них рот разинут, кулак остановился на полдороге к глазу, на лице выражение стремительное, как бы вникающее (хотя понятно, что оно ни во что не вникает), — замечено, что у них тотчас после такого состояния светло на душе, горло очистилось криком, грудь поднимается высоко,

всякая жилочка играет, кровь, как говорят, полируется, тогда что-то праздничное, что-то особенно легкое в поведении ребенка. Припомните свое детство — быть может, много насчитаете таких праздников. Но, верно, у Вукола была натура оригинальная. Отлежался он, собрался с силами, переломил себя и встал. Кулаки его крепко сжаты, зубы стиснуты. «Нянька, дура, старый черт, и ты не заступишься за меня! Не хочу же и учиться! Нате, любуйтесь. — Он разорвал Начатки в клочья. — Нате, любуйтесь!» Он раскидал клочья по полу... Немного погодя подобрал он несколько лепестков. Возьмет один лепесток, плюнет на него и прилепит на стену, возьмет другой лепесток, плюнет и прилепит на дверь, третий на стекло, четвертый на лежанку, потом опять на стену, на дверь, на стекло и лежанку. Скоро была разукрашена вся комната. Наконец он успокоился мало-помалу; на лице выразились решительность и сосредоточенность мысли, а в уме постоянно вертелось: «Пойду и ударю; да, ударю, ударю, ударю!.. Обеими руками палку захвачу... Все меня ненавидят!.. А себя мне не жалко... ударю». Вукол отправился в кухню.

Многим родителям, инспекторам, опекунам и прочим воспитателям и руководителям младенчествующего поколения приходилось наблюдать такое ожесточение и давать детям за такое ожесточение имя негодных и потерянных. Дитя, говорят, молодое деревцо,—можно дать ему какое угодно направление, переводить на какую хочешь почву; дитя — воск мягкий, которому можно дать какую хочешь форму; дитя — лист чистой бумаги, на котором, что взбредет в голову воспитателю, то и пиши. И сами потом воспитатели дивятся, как это из чистого, нежного, мягкого воску вылепилось у них уродливое детище, которое, как будто белены хвативши, начинает вопить и кричать, которое поднимает палку на наставника, кусает ему руки, закапывает, подобно Остапу,[1] учебники в землю, не боится розог, стоит, как истукан, по три часа на коленях. Дивятся и папенька, и маменька, и няня-старуха, и училищное начальство. Дивится нянюшка, крестится, охает и причитывает, спрыскивает дитя с уголька и думает думушку: «Хоть бы выдрали

[1] См. «Тараса Бульбу». — *Прим. автора.*

озорника». Дивится маменька и плачется перед богом, свечи ставит по церквам, служит молебны угодникам божиим Козьме и Дамиану, ночи не спит, все одна думушка — сынок неудалый, и говорит она папеньке: «Хоть посек бы его — твое это дело». Дивится папенька, плачется на всех родных и знакомых, ханжит по начальству, нанимает солдат и порет свое детище. Дивится начальство училищное, ставит нули детищу, дерет до крови, позорит колпаком дурацким, всему училищу указывает пальцем как на негодяя, учит презирать такое дитя... А что же детище? Детище дико и угрюмо, детище притерпелось к розге, побоям, позору и презрению общественному, детище окаменело, детище ожесточилось, детище осатанело! Отчего ж это случилось? Оттого, что воспитатели не хотят понять, что и ребенок имеет настоящее и прошедшее в жизни, не хотят приноровиться к нему, снизойти до детских интересов, забывают то время, когда они сами были детьми, забывают свои младенческие радости и печали, забывают первую часть своей жизни; наконец, оттого, что забывают заповедь Христову: «Будьте как дети». А нет, верно дитя не деревцо, не писчая бумага; подумайте, не человек ли дитя, не свободное ли, разумное существо, носящее в душе образ и подобие бога? Не забывайте эту столбовую, всевековечную, вселенскую, Христом сказанную истину. Не подражайте Кальвину, который, поняв не по-христиански слова Библии: «Сляцы ему выю» и тому подобные места, писал, что дитя должно сечь больно, сечь непрестанно, сечь во веки веков. А многие есть у нас педагоги, особенно в заведениях для низшего класса, которые считают необходимою принадлежностью воспитания — глушить детей. «Я, говорит, умею вскипятить кровь ученику. Под лозой заставлю учить уроки. У меня по струнке ходи, каналья; гляди прямо, улыбайся вовремя, долби, что бы тебе ни задали; вырастешь — поймешь, что и зачем учил. Накажут, не спрашивай, за что? Тебе говорят, что ты стоишь, а ты сидишь, — говори, что виноват. Вот как пройдет у меня ученик жизнь опытом, постигнет на деле, что такое труд, повиновение, уважение к лицам, — он уже будет человеком и сам после поблагодарит за науку». Многие ищут педагогов с такими убеждениями. И вот начнут глушить какого-нибудь бед-



нягу и часто глушат его навеки. Но ведь и самих этих педагогов глушили когда-то; но они, имея железную натуру, перемогли все и вот теперь налегают на молодое поколение. Они сами не видали ничего лучшего. Но замечательно, что заведения, в которых существуют глушители, уже проникаются современными идеями воспитания. Принимаются они учениками, отвергаются педагогами. И что из этого выходит? Явление радостное и вместе печальное. Ученики обнаруживают явную ненависть к воспитателям старого времени. Идет борьба. Воспитанники уговариваются везде разглашать о своих педагогах, потому что и до них доходит слух о современных средствах уничтожать зло. И вот мало-помалу выходят старые люди в отставку, выгоняются из службы, вымирают, уступают место другим, имеющим любовь к юношеству и детству, не забывшим свою молодость.

Семен Иванович в кабинете перебирает гербовую бумагу. Лицо его лучезарно. До того он увлекся любимым занятием, что и не заметил, как скрыпнула дверь. Это вошел Вукол. Бледный, с палкою в руках, крадучись, подошел он к дяде и отвесил здоровый, почти не детский удар, который изрядно влепился в нагнутую спину. Дядя вскочил на ноги и увидел Вукола. Спина его трещит и саднит; на сердце бесы раздувают злобу.

— Да, это я... это я... и еще ударю.

Вукол поднял палку, но был схвачен за волосы и брошен на пол.

— Розог, крапивы, ремней! — закричал дядя.

Вукола еще высекли; но на этот раз так высекли, что без помощи Гаврилы он не мог дойти до своей комнаты.

— И тебя ударю; о, как ударю! — сказал он Гавриле.

— Эва чертище-то! Господи, как может окаменеть человек! — проворчал дядя.

Он три раза ходил к Вуколу, ругал его, грозил по выздоровлении еще высечь. Вукол глядел исподлобья и молчал. Только на третий раз он сказал:

— А все же побью Гаврилу. Мне нипочем. А высекут еще, так всех, кто только бранил, бил меня, всех побью...

— Господи, господи! Что за черта я наворотил себе на шею!

Пожал дядя плечами с изумлением и пошел в кабинет.

Вукол доказал, что он не тратит даром слов. Поэтому отношения к нему окружающих лиц изменились. Дворня сделалась почтительнее, дядя бранился менее, Гаврилыч не в шутку побаивался своего ученика и стал задавать поменьше уроку по новым Начаткам: «Даст разá, — думал он, — что ты станешь делать с ним?» Странное дело, когда Вукол заметил такую перемену, ему стало страшно и совестно; долго он не находил нигде места, чего-то боялся, все представлялось ему, как больно было дяде от удара. Долго он не мог освободиться от гнета совести, по ночам часто плакал, молился богу, просил прощения за месть свою, давал обеты, что не будет ни в чем прекословить дяде; розги ему казались не так позорны, — что его не презирают и что, вероятно, другим детям не легче его жить на свете. Страх перестал иметь силу главного начала в его жизни. Но когда он ясно понял из некоторых случаев, что старшие с новым чувством боязни питают к нему старые чувства презрения и ненависти, тогда он воспользовался своим положением. Сразу можно было заметить, что занятия приняли иное направление и иную форму. То у него чешется нога, то он ловит нос языком; вот вдруг почудилось ему, что в воздухе пахнет не то кисло, не то сладко; потом явилась забота, что делает котенок; книга боком, стул криво, одно плечо выше другого, рожица скучная. Приходит Гаврилыч, произносит внушительно: «Tempus zapregandi»; не тут-то было! Вукол зажмурил глаза, хочет читать, — нет, пусто в голове! «Шидо-хуцы», — замечает Гаврилыч, тем и кончается занятие. Подобное явление стало повторяться чаще и чаще. Гаврилыч доложил дяде, что Вукол из рук вон худо учится. Дядя решился сбыть Вукола. Повезли его в губернскую гимназию. Директор гимназии спросил Вукола:

— Ну что, дитя, тебе скучно будет оставить дядю?

Вукол молчал.

— Что же ты ничего не скажешь?

Вукол выглянул исподлобья.

— Ах ты дикарь, дикарь. — В голосе директора слышалась отеческая ласка, чего Вукол давно не видал. Он вдруг заплакал.

— Ну, глупенький, не плачь, не скучай.

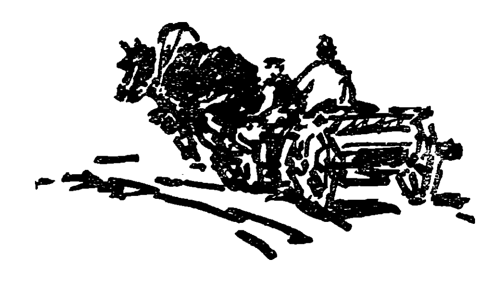
— Да я не от того... мне не скучно... мне не жаль дядю...

— Так тебе не жалко дяди?

— Нет; здесь, может быть, полюбят меня, а дома все ненавидели, говорили, что я глуп и урод.

— Друг мой, тебя будут любить здесь. Я буду твоим покровителем...

1858



Данилушка

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК



Было время, когда многие у нас на Руси не имели фамилий; для многих эта роскошь приобретена после. Иван сын Федотов или сын Антонов, сын Васильев — и довольно. Разве только соседи или товарищи дадут прозвище, и это прозвище носит получивший, носят дети его, внуки и т. д., и потом Корова, или Свинтух, или Полосуха и проч. превращается в Коровина, Свинтухина, Полосухина. Так и наш Иван Иванович не имел фамилии.

Иван Иванович был дьячок богатого приволжского села К. Поживал он отлично, не хуже иного дьякона, потому что рублей триста ассигнациями было у него доходу, была землишка под садом, были неводки. Жена его Татьяна Карповна ткала знатные полотна и вязала вареги, копила творог, и это давало тоже доходу рублей на полтораста в год. Были и частные занятия у Ивана Ивановича: он читал псалтырь по покойнике у помещика Степановича, учил букварю двух дворовых людей, доставал иногда переписку из соседнего города и брал по десяти копеек за лист; кроме того, он мастер был резать из меди и кипариса крестики, четки, образа, деревянные ложки, уховертки, зубочистки и другие мелкие изделия. Одним словом, Иван сын Иванов стоил бы права иметь фамилию, чтобы и в потомстве не забыли его. Он был дьячок, право, лучше иного дьякона, даже и такого, у которого толстый бас. Талантов у него было много. Всему он научился сам. Хозяйство у него исправнейшее.

Он любит почитать и книжку, только самого серьезного содержания и церковной печати: например, Четьи-Минею, святцы, Библию и т. п. В церкви он читал, как и все дьячки читают: скреб себе октавою, так что, когда приходилось произносить «господи, помилуй» сорок раз, у него выходило: «помилосты, помилосты», но дома он читал с чувством, с расстановкой, даже с толком. Такой идеальный дьячок жил еще в те времена, когда дьячки носили косы и бороды, — то и другое у него было, но причесано; сюртук длинный, шаровары в сапоги, шапка с широким козырьком, что очень шло к его фигуре. Помещики его любили, священник не мог нахвалиться им, а прихожане считали его за авторитет не только по хозяйственной, но и по другим частям.

Жена и дети Ивана Иванова жили в страхе божием. Хотя наш Иван Иванов и придерживался того убеждения, что жена — слабый, немощный сосуд, и такой сосуд, который снаружи красив, а внутри полон скверны и нечистоты, — все-таки он любил жену — не романически, конечно, а по-христиански, как заповедали святые отцы. С детьми он разговаривал мало, отвечая им резонно, коротко и ясно. Изредка только он позволял себе поболтать с ними, позволял им хохотать и карабкаться к нему на шею; и странно, дети, имевшие к нему какой-то страх, в этих случаях были свободны и, не стесняясь, пихали пальцы свои ему в рот и нос, теребили за бороду и жидкие косички. Но лишь только произнесет отец: «Довольно!» — сразу оставляли его. Он был убежден, что ребенка хотя раз в месяц следует вспарить, но, имея мягкую натуру, он парил их редко, за что немало претерпевал мучений совести.

— Эх, избалую я детей! — говорил он, вздыхая. — Ну, да что ж станешь делать. Станешь сечь — им больно, а мне и еще того больней. Не могу.

Но и на него иногда находил час греха. Начнет он бродить по комнате, — бродит день, другой, не ест, не пьет, не говорит ни с кем и все точно перемогается. Наконец скажет: «Нет, грех уж, видно, такой!», и чрез полчаса является пьян-пьянехонек, и лыком не вяжет авторитет села К. Однако пьяный он никогда не шумит, сидит молча, подгорюнившись, и ничто не заставит его говорить. На другой день он опять начинает старую, трезвую и разумную жизнь, как будто вчера ничего

не случилось, а жена и не намекнет ему о вчерашнем. У ней есть такое убеждение — «Не спрашивай: пьет или нет; кто не пьет ныне? — ты смотри, какой он во хмелю». Ну, а Иван Иванов был хорош во хмелю.

У Ивана Иванова был сын Андрюша, сын Петюша, сын Данилушка и дочь Анна. Знатная Анна была у него. Ну, да не о ней дело. Хороши были и братцы ее, да и не о них, собственно, дело. Дело о Данилушке.

Данилушка был мальчик очень бойкий. Он был любимец матери. Название «матушкин сынок» употребляется в двух смыслах: матушкин баловень и матушкин любимец. Замечают вообще, что маменькин сынок и маменькина дочка вообще бывают счастливы и умны. Был ли Данилушка счастлив, это увидим после. Но ум его и разные способности и таланты уже обнаруживались в его натуре даже теперь. Та же разносторонность, та же способность ко всему, как и у отца: сделать ли кораблик, с лихим хлыстом удочку, запустить с разными невиданными белендрясами и трещотками змея, одним обломком ножа сделать лук и стрелы — это для него ничего не значило: все легко было для него. Мало того, что он, бывало, переймет что-нибудь, он всегда пойдет далее, сделает дополнения, изменения, улучшения. Многое изобрел он даже сам. Например, он устроил между стенами сарая палку, перехватил ее веревкой, двинул веревку — вал пришел в действие со скрыпом и треском; это потешало Данилу. Но вот он дотронулся до конца палки: она была горяча. «Это отчего? — запало ему в голову. — Горячо бывает от огня! Подожди же!»

Он позвал братьев, сплел из мочала толстую веревку, чтобы она могла перенесть сильнейшее трение, и вот началась работа. Старшие братья спрашивали: что из этого будет.

— А вот увидите! — отвечал Данилушка; после быстрого усиленного трения концы палки издали дым, а потом вспыхнул и огонь. Дети вскрикнули от удивления.

Удивительно был изобретательный мальчик этот Данилушка. Сам он выдумал тенета для птицы. Однажды он забрался на чердак и бросил в слуховое окно птичьи перышки и пух. Только вдруг стриж на поларшина от его носу схватил перо и унес. Это понравилось Данилушке. Он стал продолжать забаву. Другой стриж

сделал то же, третий, четвертый. Хорошо. Этот случай так и прошел. Но Данилушке запало в голову, как бы это на пухе поймать стрижа. Пробовал бросать пух, поджидать стрижа, а сзади и метнет камнем. Нет, не выходит. На нитку привяжет перо и думает: «Пущу; как он хватит, я и дерну, авось-либо упадет на пол»; но птица боится нитки, да и перо трудно летает. Пытал, пытал, да и бросил это дело. Однажды он навязал на бечевочку камень и пускал в виде кометы в воздух с криком и хохотом. Когда надоела ему игра, он ударил камнем об кол, желая оборвать или раздробить его, но камень залетел далее, ударилась веревка, обвилась около кола да так и захлестнулась... Вдруг Данило остановился! Это поразило его! Нет, не поразило, а дух изобретательности именно послал ему вдохновение. Мгновенно, подобно молнии, пробежали в голове его тысячи мыслей и выдумок, и он вскричал: «А! теперь я поймаю стрижа». Он, увидев братьев, уверял их, что поймает руками этого стрижа, который летит стрелой по улице и полю и вьется над Волгой, который не боится ни ястреба, ни человека, который так досадно смел, что между ног мчится... Братья смеялись над ним, разболтали матери, мать сказала Ивану Иванову, и за ужином все потешались над Данилом, который сбирался поймать руками стрижа.

— Да ты б и стерлядей наловил нам руками, — говорил дьячок. — Эх, Данило, тебя пороть надо!

— А что, если, тятька, я поймаю? Что тогда? Тогда ты, тятька, для удища крюк подари да два гроша.

— А если не поймаешь?

— Тогда, тятька, вихры натряси!

— А зачем тебе два гроша?

— Я куплю долото...

— Хе-хе-хе! Да никак тебя, брат Данило, и вправду пороть надо, парить надо!.. На два гроша долото хочет купить...

— Да что ж? Старостин сынишка продает стамеску...

— Ну, ладно, хорошо. Пусть уговор будет. А когда ж поймаешь?

— Завтра поймаю.

— Хорошо...

Настала тихая волжская ночь, поднялись туманы выше нагорного берега, легко плещется река, а в тиши

ночи дует песню стоголосый соловей!.. Спит наш изобретатель...

Поутру Данило вбежал, раскрасневшись, в избу; глазенки его бегали, дышал он сильно, — жизнь играла во всей фигурке его, коренастенькой, здоровенькой, развившейся на деревенском воздухе. Он трепетал весь от восторгу.

— Мать, братья, сюда!

— Что?

— Смотрите! — и он выпустил из рук стрижа.

Озадачило всех это! Поднялись расспросы, толки, смех, — один стриж бился с разлета грудью в стекло, так что оно звенело...

— Ну, Данило, драть тебя надо; ах ты, пузырь мой, чумича моя; ладожская, брат, у тебя душа! Вот тебе десять копеек, а не два гроша. Танюша, а? Чмокни-ко ты меня, а?

— Ну, старый, чмокни тебя середь белого дня! Ишь что выдумал. Право!..

— Да ты поверь, выйдет из Данилы толк. Башка он будет!

— Все ж десять копеек — деньги, — ворчала дьячиха.

— Но как же ты поймал? — спросил дьячок.

Данило объяснил. Он достал нитку, навязал на нее камешек с горошинку, а к другому концу привязал перо и пустил по воздуху; стриж с разлету схватил его; камень отлетел в сторону, сделал круг в воздухе, обмотал птицу и связал ее по крыльям; птица шарахнулась наземь; оставалось брать ее руками...

Такие подвиги приобретали Данилушке полное внимание со стороны семьи. Им гордилось семейство. Но странно, на долю Данилке доставалось много подарков, ласк, похвал и разных удовольствий, но и много колотушек, щипков, брани, и сечен он бывал иногда не один законный раз в месяц. Это понять просто. Он был неспокойный ребенок. Бывало, привяжется к матери, а не то и к отцу, — не отстать, да и только...

Раз он прочитал, что царь Саул разрубил коров на части и разослал их по царству.

— Тятька...

— Что тебе, каналья?..

— Да ведь это смешно, тятька.

— Что такое?

— Да зачем Саул коров-то зарубил?

— Каких таких коров?

— Ведь он зарубил коров-то.

— А, да; это значит, что кто не пойдет на войну, у того я стада порублю...

— Да как же это говядину рассылали по царству?

— Ох, Данилко, пороть тебя надо: с послами царь разослал.

— Ну да, с послами, говядину-то...

— Молчи, Данилко, не кощунствуй...

— Чего молчи! Ведь этого никогда не бывает.

— Ох ты, озорник этакой! Стой-ка! Ну-ка, это что? Это каково? А! Ну-ка, я вот лозой-то по этому месту; ну-ка, я тебя с затылка попробую...

Это дьячок отделывал своего сынка; сынок верещал и вопил на все лады. Тут прибегала дьячиха, отнимала сына и бранила своего супруга. Но у супруга, право, было доброе сердце. Он, по теории, убежден был в необходимости пороть чадо; но это ему всегда тяжело самому обходилось.

Что ни говорите, а розги всегда имеют свою силу. Ребенку надо иметь много природного характера, чтобы смеяться над розгой. Иной ученик говорит: «Не репу сеять» — это значит, он отерпел, околотился. Но ведь Данилку раз секли в месяц. Тут отерпеться трудно. Вот я знал одного дьячка, которого однажды в молодости высекли в один день двенадцать раз, — ну, тому ничего!

Так розги очень огорчали Данилушку. Мамка сует ему блинка, называет его соколом; блинок Данилушка с размаху влепит в стену, а сам ляжет на брюхо и молчит. И весь тот день он капризничает. Всё не по нему. С братьями рассорится, станет над ними смеяться да так заденет самолюбие, что и те его поколотят... За обедом сидит — надуется; забудут ему дать кусок какой, он сам не попросит, но очень живо вообразит, что ему нарочно не дают.

— Чего ж ты, Данилка, не ешь?

Молчит Данилка.

— А? Ну же, говори!

Данилко надуется еще пуще.

— Ну поешь, голубчик!

Вот, как скажут ему «голубчик», ему и станет подступать к горлу. Насупится Данило, но не заплачет, по-

тому что совестно заплакать. И вот ведь секли парня, а вырастал себе — пока ничего. Как же это розги от него отскакивали? Отчего они не производили потрясающего действия, как на некоторые натуры? Отчего он не грубел под лозами? А это уж склад натуры такой. Вообще пора убедиться, что ребенок, которого не исправляют розги, имеет натуру сильную, здоровую, что такое дитя обещает многое, несмотря на все его шалости и упрямства; потому что это — намек на то, что для такой натуры сильно только нравственное возбуждение, что он может действовать только по высшим причинам, а не по страху...

Иногда отец бывал не в духе, и тогда он ко всему придирался.

— Ты шапку-то где взял? — спрашивает он сердито у Данилушки.

Данилка молча весит ее на гвоздь.

— А зачем козырем кверху?

Отец сознает, что следовало бы высечь Данилку, но ему и жалко его, и является в душе Ивана Иванова смесь и борение разных чувств: и грусти, и досады, и недовольства, и даже совестно ему, хотя и сам он понять не может, чего же ему совестно. Все его беспокоит, все раздражает, и вот, придираясь к старшему сынишке Петьке, он доводит его до того, что Петька грубит, и отец парит Петьку... После этого те же чувства недовольства и беспокойства поднимаются еще градусом выше. Отец грозит лозой и на Анну; но Анну спрятала мать. Тогда запищал двухлетний Андрей, но... о, господи! — отец и Андрейку парит. Тут является мать, начинает ругать мужа, назовет его, забывая страх божий, и лысым дураком и другим разумным словом наставит... Супругу свою отец уж не парит.

В этом отношении и семейные порядки были странные. В минуты нерасположения толк и правда в семье были иные: позволенное запрещалось; умное прежде — теперь становилось глупым, негодным; за что отец сам иногда, в добром духе, подхваливал — за то теперь следовали розги и казни. Благосостояние и спокойствие семьи зависело от того, как настроен отец, который всегда любил на ком-нибудь сорвать свой гнев; у него уж такая была натура, что непременно выражалась и в лице, и в слове, и в деле.

— Поди ты прочь, что торчишь тут, — вдруг ни с того ни с сего скажет отец. Это уж так и знайте, что он либо недоспал, либо сосед с ним в чем-нибудь не поладил, лошадь нездорова или пасмурный день произвел дурное впечатление. Случалось, например, что у Ивана Ивановича выходил весь табак; понюхать страшно хочется, а надо ждать до утра, — тоска такая нападет; или, например, голодный он всегда бывал сердит.

— Да поди ты прочь, каналья, —кричит он с голоду на Данилку.

Данилко отходит к окну и начинает скрипеть гвоздем по стеклу. Отец бесится.

— Ах ты леший! — говорит он...

Уж тут так и знайте, что дойдет до порки.

И порка давно царит в семье как необходимое педагогическое средство. Анну отец начал парить на седьмом году, Данилу на пятом, Петруху на третьем, а Андрейку не пожалел и на втором. Причина этому единственно заключалась в том, что, по мере умножения семейства, присмотр делался сложнее и затруднительнее и розга употреблялась чаще и чаще как средство вспомогательное и более хозяйственное в педагогическом отношении. Объяснять ребенку, что худо и почему худо, — долго, ну а посек, он и не будет делать ничего нехорошего.

Условия, в которые поставлен человек, чем запутаннее, сбивчивее, противоречивее, тем труднее человеку саморазвиться правильно. Данило был ребенок умный; он, встречаясь постоянно с противоречиями со стороны старших, привык полагаться на самого себя и свое решение считать последним. Ребенок чувствовал, что его секут не за то собственно, что он повесил шапку козырьком вверх, а за то, что лошадь нездорова и батька сердит. Он не мог определенно выразить свои ощущения, но чувствовал, что отцовское «хочу так!» часто не имеет основания, и увлекался не тем, чего отец хотел, а воспитывал и в себе тоже свое «хочу так!». Отец часто недоумевал, что за упорство у Данилки, в кого он только выдался; а очевидно, что Данило у него же и учился упорству, поддаваясь нравственному влиянию не сечений и наставлений, а влиянию его поступков: Данилка инстинктивно растил в себе свое маленькое, ребячье «хочу!», и если отцу приходилось в недобром расположении придраться к Даниле, то всегда повторялось явление

подобное тому, какое описали мы выше. Но если бы в его семействе было полное отречение прав дитяти, что сталось бы с Данилою? Из него либо вышло бы забитое, несчастное существо, автомат, дурачок, разиня и плакса, либо просто страшно беснующийся негодяй.

Но не одна тень была в жизни Данилы: в ней был и свет, и добрая сторона в семействе чаще преобладала над беспорядком; крик и неудовольствия раздавались не так часто, как смех и радостный говор.

Даниле одиннадцать лет. Он мальчик крепкий, здоровый и коренастый; его воспитали наш сельский воздух, здоровая пища, свобода и приволье деревенское; летом подпекло солнце, зимой отполировал мороз. В нем уже обнаруживается та же способность ко всякому делу, какая была и у отца, и то же обилие талантов.

Он не только гулял да изобретал разные хитрые штуки: он был полезным членом в семье. Учился по книге он зимою, больше учился из жизни и природы. Ребенок все видел, что совершалось в его среде, во многие входил рассуждения, многим заведывал. В быту других детей жизнь взрослого резко отличается от их жизни: там возрасты менее соприкасаются в занятиях, и дитя редко выходит из сферы игрушек и учебников, начиная жить полною жизнью только по окончании курса, по выходе из школы. А здесь дитя живет и до училища: сводить ли на водопой лошадь, помочь отцу около дома, в огороде, и в саду, и в рыбных промыслах, понянчить маленького брата, петь с отцом на клиросе — все это поручалось Даниле, по мере детских сил. И все это развивало в Даниле практичность и ясность взгляда.

В свободное время он отправлялся в лес, чрез рвы и болота путешествовал; легкая лодчонка уносила его с бедным завтраком на целый день. Данила ловко уже владеет веслами, заправил он в камыши, пустил с длинных хлыстов лёсы и замер в ожидании: скоро ли поплавок нырнет в воду. Родители не боятся, что их дети могут потонуть. Здесь дитя свободнее, самостоятельнее, и это лучшая сторона в его воспитании.

— Где ты до сих пор болтался, Данилко?

— А в Деурино ходил.

А Деурино-то пятнадцать верст от дому. Даниле

давно хотелось обследовать все окрестности. Он знает, где растут самые лучшие грибы, и смородa, и яблоки, и разная ягода, и орех; знает, где в болотах самые высокие султаны, на Волге самые густые камыши; видал он и могилку некрещеного сынишки старосты, и овраги, и окрестные ручьи; на кладбище знает всех покойников за пять лет; на память помнит все надписи на плитах и крестах; на лодке на дальнее пространство изъездил Волгу и кверху и книзу. Мастер он был отыскивать диких пчел, знал отличные места для ужения в реке. Он был неутомимый ходок. Вслушивался он, гуляя по лесам, в голоса птиц, знал и дятла, и ястребов, и синицу, слыхивал соловья и заслушивался его целые ночи. Его детский крик и песня спугивали в соснах серого рябчика и тетерку; видел он, как с полей поднимались стада журавлей и лебединые полки. Он засиживался по целым часам над муравейником, наблюдая муравьиные хлопоты и работы, походы и битвы, порядок и управление.

Понятно, каково было Даниле, свободному как воздух, свежему, здоровому, сильному и умному ребенку подчиниться капризу отца и розге. Его щеки запеклись от загара, голова позолочена солнцем, грудь воспитана в еловых и липовых лесах, тело выросло из сельской пищи, бродячая жизнь укрепила его, развила наблюдательность и ум. Да, это счастливая сторона его воспитания; потом уже никакой учебник, никакая ботаника и зоология не научат тому, что он теперь в один день заметит в лесах и на водах. А потянутся по Волге барки, каких не наглядится он лиц, каких не увидит товаров! Не выезжая из деревни, он знал больше всякого городского мальчика, окруженного нежными гувернантками, учебниками, глобусами, картинами и другими лицами и препаратами воспитания. Но ни один городской мальчик не видывал картины такой, какие видывал Данило. Никому учебник не говорил так много, как Даниле говорила мать-природа. Да он и сам был дитя природы. Ему не преподавали по рецептам изучать сначала арифметику и грамматику, потом средне-учебные науки. Он всему учился сразу — и логика, и практическая философия, и языки, и вера, и сельское хозяйство, и география на тридцать верст в окружности, и право, насколько оно известно в деревне, — все ему известно, все он черпает не из мертвых книг, а прямо из жизни, из природы. И зато



навеки останется в сердце его все, что он почерпнул из этого естественного источника.

Но как жалко Данилу, что его жизнь стеснялась дома, что эту силу и здоровье, почерпнутые из природы, направляли к упорству.

Безапелляционное «хочу» и недоброе расположение духа не всегда, однако, царствовали в семье дьячка. Вот глубокая осень. Отец обошел свои гумны и нашел, что всего-то у него вдоволь. Он рад и спокоен. Данило принес первую клюкву. Кипит самовар на столе. Анна качает люльку; мать стучит спицами; Петруха мастерит какую-то штуку долотом; отец добыл Четьи-Минею и начинает читать о Георгии-победоносце и св. великомученице Варваре. Бывают во всяком более или менее добром семействе тихие, мирные вечера, когда в воздухе веет благодать и кротость; всех посетило легкое расположение, нет ни хохоту, ни крику детского. Это не счастье, которое волнует кровь, это чудные часы жизни, после которых не остается ни утомления, ни пустоты в душе, это — поэзия семейной жизни! В такие минуты ребенок, утомившись игрой, положит голову на руку; взор его углублен, и не угадать, сознает ли он себя или не сознает. Самовар шумит и свистит, раздается мерная октава Ивана Иванова, Данило, забравшись в угол, слу-

шает сказания о великих чудотворцах. У него замирает сердце и в патетических местах дрожит слеза на реснице, и потом долго мечтается ему о такой святой и блаженной жизни, и представляется уже ему, что вот и его ведут к Диоклетиану, и он читает «Верую», и проводят его чрез все роды казней и мучений, и мечтается ему, что он все это перенесет и переможет и будет святым.

Славные места есть на Волге для уженья рыбы. Данило и все старшие братья Данилы обнаруживали в себе охотников страстных. Рыболовство было их страстью. Легкая лодчонка уносила ребят с хлыстами на целый день, и родители не боялись, что их дети могут потонуть. В этом сословии не балуют детей. Посмотрите: мальчонка семи лет верхом на лошади отправляется за восемь верст в кабак. Здесь с бреднем ловят девчонки щук у берега; четверо босоногих, в одних рубашонках, двухлетних и трехлетних детей ползают на самой дороге, измазались они и набили рот песком. Петюшка, сынишка старосты, один ходит по лесам, не боясь заблудиться; вон мальчуга забрался на ворота и выделывает там разные штуки; отец ему только сказал: «Сашка, оборвешься!», и пошел далее... Свобода полная процветает в этом сословии.

Знатно проводили время на Волге братья Ивановы. Даниле и во время охоты и дома, после охоты, когда кроватка качалась под ним, как лодка, в глазах рябели волны, из-за шкапа выглядывал куст или барка, и постоянно поплавок шмыгал в воду, — везде мерещилась охота в большом размере. «Вот если бы наловить рыбы, продать ее да накупить удочек, можно бы много наловить рыбы», — думал он. Но пуще всего ему хотелось половить ночью, о чем он просил отца и что ему было строго запрещено... Но что западет в голову Даниле, того ничем, бывало, не выбьешь...

Братьев он давно сманивал на охоту ночную...

Раз предприятие состоялось... Решились уйти без спросу. В одной комнате с ними спал отец; двери запирались накрепко, и потому решено было уйти в окно. Примерно все полегли... Данило чутко прислушивался к тому, как засыпал отец. Вот раздалось его сопенье... В темном углу приподнялась голова Данилы...

— Братцы, вы лежите, а я приподниму окно, — шепнул он.

Нужно было удивляться терпению и осторожности Данилы. Он по крайней мере четверть часа пробирался к окну и не сводил глаз с отца. Посмотрит на отца, на окно, потом на место, куда ступить, прислушивается к одежде своей... Отец пошевельнул головой... Данило так и окаменел на месте, даже сам не чувствует своего дыхания. Вот луна выплыла и облила полосами сквозь окно спальную... Андрюшу вдруг дернуло гыкнуть — ему стало чего-то смешно...

— А когда так, — сказал вслух, впрочем не громко, Данило, — так вот же вам!..

Он пошел смело, отодвинул окно и был таков. Отец только повернулся на другой бок. Немного погодя и братья последовали его примеру. Ночь удалась. Рыбы наловили дети мало, но прекрасно провели ночь. Ранехонько возвратились они домой, и никто не узнал этого. Похождения ночные стали повторяться чаще и чаще... Наконец они однажды были замечены. Страшно перепугались братья, когда отец ночью поймал Данилу в самом окне за чупрын. Ночью же была и расправа...

На другой день, странно, отец рассудил: отчего же не пустить их ночью побаловаться, ведь не первый раз, и ребятам была объявлена свобода.

Вскоре Данило стал замечать, что в семье с ним начали обходиться как-то особенно. Мать, бывало, подойдет, погладит его по голове и вздохнет. Она никогда не целовала своих детей. Однажды он накуролесил, и хоть не был парен уже месяца два, но и тут его не выпороли... Батька подарил ему два гроша в воскресный день и сказал: «Смотри, брат, копи денежку; может, и пригодится». Данило спрятал деньги; он носил их в сапоге, под ногой... Мать ему стала давать самую большую порцию за обедом, и когда братишки косились на это, она говорила им: «Ну, наедитесь еще! Данилушке надо побольше!» Часто шептались родители между собою и смотрели в то время на Данилу. Данило стал предчувствовать что-то недоброе. Не то чтобы ребенок заметил и определил ясно и подробно все перемены обхождения; нет, а перемены сами давали себя чувствовать, и Данило, видя,

что около него что-то не то, стал задумываться. Однако, если б его спросили, о чем он беспокоится, он сам не сказал бы. Ему казалось, что ему — так что-то неловко. Обстоятельства наконец стали определяться.

— Что, Данилко? ты не боишься, плут, розог? а? Жаль мне тебя, Данилко, — сказал дьячок, и заметно стало для Данилы, что отец недоговаривает.

— Щи да каша — еда наша; в щах силушка русская, а каша — подспорье ей. Приучайся к каше. Не всегда будешь есть, как дома кормят. А два гроша целы?

— Целы.

— Ну, вот тебе еще два, — пригодятся.

Данилушка молча взял деньги.

— Ничего, Данилушко, розги ничего, притерпишься, голубчик: не репу сеять...

— Да что ты, тятька, точно недоговариваешь?

— Вишь ты, в училище хочет везти, так и недоговаривает, — вставила мать.

— Ну что ж, Данило? Как ты полагаешь? а?

— Ну, в бурсу, так в бурсу...

— А парят там, Данилко, черт их побери, знатно...

Данило и прежде знал, что ему придется в училище ехать и что оно от дому за триста верст, но ему представлялось, что это может случиться не раньше, как через сто лет; такие вещи, дескать, не сразу делаются.

— А чем там, тятька, секут?

— Розгами же, Данилко; только сечет-то солдат; один сечет, да два держат: один за ноги да один за голову... А то, бывало, и секут-то двое... с одной стороны да с другой стороны. Худая это штука, Данилко...

— Я убегу, тятька.

— Нет, не убежишь! Там солдат стоит у ворот.

— Так я с дороги убегу.

— А куда ж с дороги пойдешь?

— А в разбойники!..

— Полно, Данило, отпарю...

— Ну да, отпарю...

— Ну, полно... На́ еще два гроша, на́; копи деньгу, пригодится.

Настал памятный для Данилки четверток, 17 число августа 1837 года... В избе была хлопотня. С утра пекли и варили. В углу лежал узелок и халатик Данилы...

Братишки были вымыты и одеты по-праздничному. Отец задумчиво ходил по комнате. Данило лежал на лавке вниз брюхом и сердито плевал на пол. Пришел священник и стал служить молебен Козьме и Дамиану, бессребреникам. Даниле наконец страшно стало. Показалось ему, что соборуют его, а не просят бога умудрить его, яко Соломона... Октава Ивана Иванова звучала глухо и уныло... Потом сели закусить. Отец Василий, благословив трапезу, сказал:

— Ну, дай бог твоему сынку счастье; а ты, Данило, учись да слушайся старших, — все будет хорошо, и сам полюбишь науку, и умудрит тебя господь, и будешь большим человеком. Но, охо-хо, трудна наука, трудна. Молись, Данило, чаще богу, все пронесет он мимо тебя. Поди, благословлю я тебя.

Данило принял благословение батюшки.

— Ну, и я тебе скажу, сынок, кое-что: терпи, все терпи; вытерпишь, человеком будешь. А вытерпеть надо — такая уж участь. Больше я тебе ничего не скажу. Ну, мать, благослови сына, да и прощаться надо.

— Ах ты, Данилушко, вот ты у нас какой слабенькой, а там тебя вконец ощиплют, окаянные. Прощай ты, мое красное солнышко!..

Мать причитала и плакала, — все шло по обычаю и форме. Помолились богу, еще перецеловались, присели на лавки и, помолчав минут десять, все поднялись.

— Ну, пойдемте на улицу!

На улице опять перецеловались и простились. Тронулась лошаденка; мать перекрестила воздух; долго она стоит да крестит, захлебываясь слезами. Отец сел вместе с сыном. Дорога прямая, как лента... Долго виднеется шапка дьячка... Но вот скрылся возок. Мать взвизгнула и оперлась на перило крыльца. Стонет она и надрывается. Андрюшка ухватился за подол и тоже ревет... И есть чему плакать, есть!..

Конец 1858 или начало 1859



Мещанское счастье

ПОВЕСТЬ



Егор Иваныч Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Иванычу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «А где же те липы, под которыми прошло мое детство? — нет тех лип, да и не было никогда». Припомнился ему отец-мещанин, слесарь, жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы. Матери он не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его широком лице, а он, Егорка, тут же копается. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: «А поди ко мне, чертенок!», посадит его к себе на колени, любуется на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.

— Чего ржешь, тятька?
— Что, Егорка? а?
— Ржешь чего?
— А стих такой нашел.
— Ишь ты! — отвечает Егорка.
— А спеть тебе песню? — спрашивает отец.
— Спой, тятька.

И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Иваныча совершилась в грязи и бедности, а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка

был мальчик бойкий: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрезки железа и меди заменяли ему дома игрушки.

— Из тебя, Егорка, лихой выйдет мастер; много у тебя будет денег.

— О! — говорит Егорка.

— Тогда не забудешь своего тятьку?

— Я тебя, тятька, не забуду...

Отец беседовал с Егоркою как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова — все расскажет сыну.

— Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.

— Я, тятька, пиво буду пить...

— И молодец!.. Ты у меня молодец ведь?

— Еще бы! — отвечает сын.

Иногда отец советуется с ним.

— Вот, Егорка, деньги получил за работу, а завтра праздник: так мы щей сварим, пирог загнем, да еще чего бы? Киселя аль каши?

— Каша не в пример лучше...

— Ну, так каши, — соглашается отец.

И во всем так: идет ли отец гулять в церковь, в гости — везде с ним Егорка. Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разденет, спать уложит, да еще приговаривает:



— Ну, ложись!.. ишь ты, нарезался!..

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себе...

Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того ни с другого поколотит сына...

— Не озорничай, тятька!.. черт этакой!.. право, черт! — отвечает ему сын.

— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебе овчину-то натреплю...

При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит; ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступиться к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, выглянув исподлобья, отец сказал:

— Полно, Егорка; ну тебя...

— А! теперь и рожу в сторону!.. стыдно, небось, стало?.. А ты не дерись!..

— Да ну тебя...

— Ишь нарезался, на стены лезет!

Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка выглянул сердито и сказал:

— В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тут нечего молчать!..

Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца. Впрочем, случалось, что отец и в трезвом виде давал своему сыну потасовку. Заспорят иногда: отец хочет киселя, а сын каши; отец закричит: «Молчи!», а сын отвечает: «Чего молчи? я тебе дело говорю». Отец и натрясет ему вихор. Только тогда уже отцов верх, и Егорка не знает, как подойти к нему. Но ссоры редко случались; отец большею частию соглашался, что «каша не в пример лучше киселя», тем дело и кончалось.

Слесарь был человек безграмотный; знал он свое ремесло, несколько молитв на память и без смысла, много песен и много сказок; работу он любил и часто говаривал: «Бог труды любит, Егорка», «Кто трудится, свое ест». Вот и весь нравственный капитал, который он мог передать своему сыну. Бог знает, что бы вышло впоследствии из мальчика? Вероятно, второй экземпляр отца, слесаря Ивана Иванова Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда один профессор, по имени Василий Иваныч, — а фамилию не скажем, — у которого слесарь работал и которому понравился сын его, взял Егорушку к себе. Василий Иваныч был странный старик, и судьба его была странная. Смолоду ему трудно

было победить науку, но он победил ее; хворал от бессонных ночей, но все-таки взял свое, веря в истину, что терпение и усидчивость все преодолевают, что в терпении гений. Он в прежние годы даже водку пил на том основании, что умный человек не может не пить; не любил женщин — тоже на ученых основаниях; был неопрятен, рассеян, нюхал табак. Он довольно поработал на своем веку, много перевел немецких и французских книг, а некоторые из его статей и теперь еще имеют значение как материалы. За наукою он так и позабыл жениться. Но чем он становился старее, тем делался опрятнее, водки терпеть не мог и с завистью смотрел на женатых людей. Жизнь, построенная на ученых основаниях, сказалась; ему хотелось наверстать бессемейность, и он полюбил своего воспитанника страстно. Беда к старой деве попасть на воспитание, но если старый холостяк полюбит ребенка, то он полюбит его горячо: так бабушки любят своих внуков. И Василий Иваныч скоро превратился в бабушку, — и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древлеславянская. Егор Иваныч как теперь видит честное лицо старика, его широкий лоб в морщинах, его добрые глаза под синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся с своим воспитателем; он слушался его во всем, учился прилежно, но все дичился чего-то и боялся: сам не вздумает подойти к старику, а все надобно позвать; не приласкается к нему, ничего не попросит; капризов никаких; всегда скромен, тих и застенчив. Старик заметит ему что-нибудь — без строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидеть, а мальчик все-таки испугается, съежится и потом усиленно следит за каждым своим шагом. «Что это значит?» — думал с беспокойством старый человек. А дело было очень просто. То же бывает в сельских школах: он в глазах ребенка был «на барина похож». Если учитель говорит ученикам-мужичонкам: «Эй вы!.. тише!.. Слушай!.. когда входите в школу, то сапоги, а у кого их нет, то ноги — вытирайте в сенях; в ладонь не сморкаться; на улице должны мне шапку снимать; не говорить мне ты, а вы», и т. п., что́ найдет он нужным заметить, — поверьте, школьник-мужичонко редко заставит повторять сказанное, почти всегда сразу запомнит и потом строго следит за собою. Как бы то ни было, учитель, если он только не деревенский дьячок, все же

ходит в сюртуке, подчас в шляпе и с тростью в руках; значит, он на барина похож, а барина мужичонко слушает полным ухом. Сначала и Егорушка с тем же чувством относился к своему воспитателю. Кроме того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для детского сердца старый человек опустил совсем из виду, и понятно, что вначале Егорушке тяжело было, дико было среди комнат профессора, которые ему казались уже очень чистыми и громадными после отцовской конуры. Ему хотелось бы повидаться с Микиткой беспалым, с которым он познакомился в кабаке, куда, бывало, отец посылал его за вином, повидаться с Лешкой столяровым, с Машуткой-подкидышем, которой он покровительствовал и за которую часто дирался с уличными друзьями; хотелось бы, задравши лихо рваный козырь на шапке, запустить свинчатку в кон; часто ему чудился молот наковальни, визг железа и меди; его тянуло за церковную ограду, куда целыми стаями собирались оборванные дети. Потому-то он иногда где-нибудь в углу плакал потихоньку, чтоб никто не видел; он любил заходить в кухню к лакею профессора, человеку старому, как сам профессор, — там ему было привольнее.

— Что ты, Егорушка, все скучаешь? — спросил его однажды слуга.

— Домой хочу, — ответил мальчик и вдруг разрыдался.

— Что ты?.. что ты?.. бог с тобой! — говорил оторопевший слуга, — ведь ты теперь барчонком стал.

Мальчик плакал...

— Ну, на, голубчик мой, съешь вот это, съешь, Егорушка.

Лакей гладил мальчика по голове и совал ему в рот кусок сахару; но тот все плакал.

— Эка беда! — сказал лакей и пошел позвать профессора...

— Домой хочу, — твердил Егорушка и Василью Иванычу.

— А у меня жить не хочешь? — спросил старик.

— Не хочу.

Крепко задумался профессор...

— Ведь здесь лучше, Егорушка!

— Нет, дома лучше...

— Пойдем же домой, — сказал старик...

И вот пришли они на старую квартиру, где прежде Егорушка жил с отцом. Там теперь поселился сапожник, все переменилось; мальчик не узнал своего старого гнезда.

— Сходимте на ограду, — попросил он.

И здесь Егорушка не встретил никого из старых знакомых... Тогда Егорушка остановился с недоумением, подумал, взглянул пытливо на профессора и потом застенчиво, потупясь в землю, шепотом сказал:

— К Машутке сходимте...

— К какой Машутке?

— Вон там живет...

Старик подумал, покачал головой, однако согласился... Но оказалось, что Машутку отдали в науку, на другой конец города. Тогда-то понял Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигде ее не отыщешь, пропала она. Мальчик инстинктивно прижался к старику. Это тронуло старика.

— Ты мой теперь, Егорушка, — сказал он.

Много было доброго, стариковского чувства в этих словах. Егорушка невольно поддался их влиянию и с той минуты стал доверчив к старику и полюбил его. Они весь вечер провели вдвоем. Егорушка рассказывал о своей прежней жизни, и профессор подивился, как сильно был привязан этот мальчик к своему углу, к отцу, старым товарищам и играм.

С тех пор старик внимательно следил за Егорушкою, слушал его рассказы, выпытывал его понятия и наклонности и скоро увидел, что мальчик имел доброе сердце и хорошие способности, но грубоват, неотесан, с дикими понятиями о боге, людях, жизни и природе. Старик стал проводить с ним вечера, рассказывал совершенно о ином боге, какого он и не знал до сих пор; ему не верилось сначала, что бог совсем не тот старик, которого он видел на иконе. То же самое случилось, когда старик усердно и радушно старался объяснить ему явления природы и рассказывал об исторических лицах и событиях. Многие внушения и взгляды впоследствии, когда Молотов развился, отведал новой науки и стал самостоятельно вглядываться в природу и жизнь, были отвергнуты им: тогда снова, в третий раз, он уви-

дел, что бог и люди совсем не то, что он думал; но теперь все было для него в речах старика поразительно и ново, он увлекался, для него открылся новый, до тех пор неведомый, роскошный нравственный мир. Недолго совершалась борьба в детской душе; Егорушка скоро бросил старую жизнь. Он не перестал любить своего отца, старых знакомых и товарищей, но ему жалко было их, и он усердно молился за них богу. Иному невероятным покажется, что в детской душе на двенадцатом году жизни могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бывает в душе юноши. Да, невероятно, потому что мы родились в более или менее образованной среде, и многие истины приняли обыденный характер в нашей жизни; а неужели вы думаете, что двенадцать лет невежества легко уступят новой жизни? Он до сих пор помнит, каких мучений моральных и сомнений стоила ему та истина, что не Илья-пророк производит гром. Ничего сразу не давалось, ничему новому не верилось, его не тому учил отец. Спорить с профессором он не мог, сил не хватало, но его детские убеждения были органическими убеждениями, вошли в него с молоком матери, развились под влиянием отца. Потому и совершалась в его душе борьба серьезная, с болью, хотя исход она получила скоро, потому что Егорушка был молод, а старик умен и вкрадчив. Нравственная работа принесла пользу Молотову: он научился не верить старине и авторитету, — и то, что нами в молодости принимается на слово, вот так, как он принимал на слово, что Илья гремит на небе, у него было переварено собственной головой; он привык к самодеятельности, к уменью отрешаться от ложных взглядов. Он стал человеком, способным к развитию, и потому-то впоследствии он бросил многие убеждения, воспитанные в нем стариком: у него стало на то силы; но он не посмеялся над стариком, потому что когда-то верил ему. Мальчик полюбил науку; он инстинктивно чувствовал, что чрез нее только станет человеком, потому что он не был породистым мальчиком. Старик радовался, глядя на ребенка, как он усидчиво занимается книгою, и чрез год нельзя было узнать в Егорушке прежнего Егорку — грязного, оборванного, босоногого, из уст которого нередко слышалось площадное бранное слово. Микитка беспалый, увидав его, не поверил бы, что этот мальчик, так при-

лично, по-барски одетый, так скромно идущий по улице, был слесарский Егорка, прежний друг его закадычный. Перемена в жизни Егорушки, очевидно, была к лучшему. Но у него по-прежнему не было игрушек, дамочек фарфоровых и гусаров деревянных, бубенчиков и лошадок, барабанов и солдатских киверов; он после уроков что-нибудь строгал, лепил или рисовал; страсть к таким занятиям у него осталась навсегда. Если же ему не хотелось ничего мастерить, он уходил в кухню к лакею, или садился у камина и смотрел в огонь, или же был подле старика. Эта уединенная жизнь в товариществе старых людей, редкие ученые гости, редкие выезды, причем мальчик на короткое время виделся с другими детьми, отсутствие женщин, серьезные речи положили особый отпечаток на личность дитяти. Жизнь в кабинете старика сделала его застенчивым, против чего он после долго боролся. Он остался несколько угловат и неловок, тем более что и сам профессор не был светским человеком. Егорушка был не по-детски серьезен, но в то же время у него не было идеальной худобы в теле и бледности в лице; это был не заморенный мальчик; он был очень здоров.

Быстро пролетел гимназический курс. Молотов вырос, развился, но, в сущности, жизнь его мало переменилась. Он стал больше ростом и ученее, с товарищами мало сошелся, в гимназии был только во время классов, считался умным мальчиком и шел в первых учениках. Только за полтора года до университета он узнал дружбу, коротко сблизившись с сыном одного чиновника Андреем Негодящевым. Они оба попали в университет казеннокоштными студентами. Дружба их была оригинальная; их называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорят между собою, а один без другого жить не могут. Бывало, придут после лекции, станут читать какого-нибудь поэта иль философскую статью, заспорят, раскричатся, дело коснется личностей, обоих заберет самолюбие, начнутся насмешки, чуть не брань. Как ужиться при подобных условиях? Но в следующий раз они опять встречаются с радостию и, нисколько не стесняясь, сообщают один другому всевозможные вопросы и все личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто им не удержаться было от разговору.

Оба они не любили пресной дружбы, а потому часто они выводили один другого на свежую воду. Профессор удивлялся их ярым речам; иногда вставит и свое слово; тогда оба дружно сцепятся со стариком, начнут доказывать отсталость его идей. Добродушный Василий Иваныч замахает руками. «Ладно, ладно! — кричит. — Мы стары!.. где нам?» — «Так что ж такое, что стары?» — напустятся на него студенты. «Отстаньте!» — ответит им старик, закроет уши руками и уйдет в кабинет. Наши друзья продолжают воевать. И как могли сойтись эти совершенно противоположные характеры? Один был сын мещанина, другой чиновника; один вырос в большой семье, между братьями и сестрами, другой в товариществе старого профессора. Молотов любил говорить о широких началах, общемировых идеях и замогильных вопросах; «жизнь, природа, человечество» — на этих предметах постоянно вертелись его мысли; он смотрит идеалистом, хотя, странно, он всегда осторожен, аккуратен, осмотрителен, и всегда у него есть деньги; Негодящев же терпеть не мог общих рассуждений, говорил все о карьере, называл себя практическим человеком, хотя и часто бывал без деньжонок, любил кутнуть и иногда пропускал лекции, необходимые для студента. Негодящев был на юридическом факультете и говорил, что он пойдет в чиновники; Молотов — на историческом и никогда не думал, чтó из него выйдет. Негодящев был ловок, речист, иногда лгал немного, мастер подделываться под характер людей; он был франт и всегда одет щегольски; а Молотов — тяжел, говорил много — не когда угодно, а лишь в минуту увлечения, прям был на слова и резок, неподатлив; на нем мундир сидел не так ловко. Молотов не сразу усвоивал принципы новой жизни, но они крепко врастали в его душу; Негодящев увлекался быстро. Негодящев уже успел влюбиться и поклясться дочери одного чиновника в вечном и пламенном чувстве, в чем и сознался другу в задушевной беседе; а друг отвечал, что он не понимает еще этого чувства, что он мало видал женщин и совсем их не знает. Негодящев говорил, что он довольно опытный человек и людей несколько знает. Негодящев был более пессимист, а Молотов — оптимист. Они и наружностью не похожи: Негодящев высокого роста, бледнолицый, черномазый и с волосами до плеч, а Молотов среднего роста, плечистый,

с румянцем на широком лице, коротко острижен, глаза у него серые... Так, по законам дружбы, существующим искони, сошлись между собою люди противоположных характеров. Но дружба, основанная на этих законах, редко бывает прочна и кончается добром; такая дружба обманчива, ее разъедает постоянное противоречие, в ней зреет вражда. Случилось то, что часто случается с такими друзьями: Молотов попрекнул чем-то Негодящева, и они разругались не на живот, а на смерть. Тогда Молотов испытал ту молодую ненависть, когда вчерашний друг представляется ни больше ни меньше как гадиной, оскверняющей человечество, когда думается, что самое ужасное наказание другу — презрение к нему, хотя друг то же самое думает, и когда оба рады примириться, только не хочется первому просить мира. Молотов и Негодящев воображали, что они ненавидели друг друга, а между тем они любили друг друга; они еще не знали, что значит ненавидеть.

Тогда же с Молотовым случилось и другое несчастие. Его старик опасно занемог. Молотов дни и ночи проводил у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человек сказал Молотову:

— Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай...

Молотов наклонился и поцеловал его руку.

— Утешил ты меня, Егорушка... спасибо... и я тебя любил...

Молотов заплакал.

— Полно... не плачь... что ж делать? — говорил шепотом умирающий. — Пора!..

Старик тоскливо посмотрел на Молотова. Потом он стал говорить о завещании, — это самая бывает трудная и мучительная минута для присутствующих, когда человек актом, на гербовой бумаге совершенным, отказывается от всех прав собственности и власти, какие успел приобрести во всю жизнь свою... Молотов рыдал, а старик говорил, что у него есть статьи, приказывал отослать их в Москву, деньги за них назначил на раздачу нищим, велел поминать Евдокию, сестру его, умершую давно уже, и давал предсмертные увещания:

— Честно живи, Егорушка... богу молись... старших почитай...

Потом больной велел принести образ и, благословивши своего воспитанника, забылся на время. Молотов отошел к окну и долго смотрел бессмысленно на улицу. Чувство сильного горя и одиночества охватило душу восемнадцатилетнего юноши. «Один во всем мире!» — эта мысль подавляла его душу, жала мозг его. Но... настала развязка старой жизни. Молотов подошел к постели: старик лежал неподвижно; глаза были открыты...

— Добрый мой учитель, — прошептал Молотов, поцеловал его в лоб, поцеловал его руку и закрыл глаза.

Долго он смотрел в лицо мертвому — оно было спокойно и безответно.

На третий день похоронили профессора. На похоронах была всё ученая братия, всё старики, один лишь молодой человек — Молотов, и ни одной женщины. Помянем добрым словом человека доброго и немало потрудившегося на веку своем...

Наследства Молотов получил около четырех тысяч ассигнациями, бóльшую часть мебели он продал, переехал на новую квартиру, где и повесил портрет старика над диваном. На новой квартире скучно проходили каникулы. Молотов пошел однажды к товарищу, Череванину, о котором говорили, что он «с философским направлением» (мы с ним встретимся еще), и у которого любили собираться студенты. Здесь он встретился с Негодящевым. В душе Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали к горлу подступать. Негодящев отвернулся в сторону. Молотов первый заговорил:

— Андрей, полно злиться...

Что, если бы его оттолкнул Негодящев? Но этого быть не могло. Возвращение от вражды к дружбе было внезапно. Негодящев бросился на шею к Молотову. Они поумнели, вспомнили вражду, хохоту было немало.

— Андрей, — сказал Молотов, — мы теперь будем осторожнее.

— А что?

— Опять поссоримся.

— И помиримся опять — вот и все.

— Опять переедаться будем?

— Будем.

— Ну, как хочешь.

Тем и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, на втором курсе, Молотов сошелся с товари-

щами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи — бодрые, смелые, честные, за общее благо готовые на все жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многие из них потеряют и бодрость, и смелость, и оригинальность, и способность к жертвам, а некоторые даже... и честность. Но тогда верилось и жилось хорошо. Вообще он мало знал жизнь; у него было мало знакомых: знаком он был с семейством Негодящева и с семейством еще одного чиновника, Игната Васильевича Дорогова, с купцом, у которого учил сына, да с хозяйкой своей квартиры. Он жил товарищеской и университетской жизнью. Между тем Молотов никогда не имел претензии на ученую или художественную карьеру; ему придется действовать в чисто практической сфере, одному, без друзей, без родни, без знакомых, без ясного сознания цели в жизни, но с детски ясным взглядом на мир божий. Как-то он будет жить в людях с подобною подготовкою?

По окончании курса Негодящев уехал в губернию на службу. У Молотова от наследства остались кое-какие крохи, и он несколько времени промышлял в столице дешевыми уроками и вот уже три месяца живет у помещика Аркадия Иваныча Обросимова.

С балкона барского дома открывается во все стороны прекрасный вид: деревня в яблонных и липовых садах; направо, налево виднеются еще деревушки; на горе церковь, отовсюду леса, пашни и луга; к западу бежит речка — небольшой приток Волги. Тишина стоит в воздухе; природа облита заревом вечернего солнца. На балконе Егор Иваныч Молотов и Елена Ильинишна Илличова — молодой человек и молоденькая, хорошенькая девушка; значит, повесть начинается. Они смотрят на дорогу, на дороге поднялась пыль, слышны голоса животных, идет стадо с поля; с другой стороны шлепает огромное стадо гусей и уток — все это повалило мимо барского дома. Леночка имела полное право сказать:

— Какая поэзия!.. прелесть!..

Молотов молчал.

— Посмотрите же, Егор Иваныч...

— Где поэзия? — спросил он.

— Да вот — стадо.

Молотов усмехнулся.

— Ну какие вы! — сказала Леночка.

— Что же?

— Тут чувство нужно, а нечего умничать.

Молотов уклонился от разговора о поэзии. Он, несмотря на то, что был юноша двадцати двух лет, не часто говорил об интимных предметах и важных материях. «Говорить о таких вещах, — думал он, — так говорить серьезно». А серьезно говорить приходилось редко. Он боялся фразерства и потому не проповедовал новых идей, не кричал о прогрессе, редко позволял себе нежные слова и возвышенные речи, хотя в университетском кружке, а особенно с Андреем, он, бывало, спорил до слез и до глубокой ночи о том самом, о чем теперь он смалчивал. Он стеснялся завести с женщиной разговор о ее призвании, о поэзии, о любви; он никогда не был влюблен, читал о любви, слышал, размышлял о ней, но сознательно не понимал любви и потому боялся наговорить о ней вздору. Он вообще не любил петь с чужого голосу, проповедовать заученное, кидаться из стороны в сторону, находясь под влиянием только что прочитанной статейки. Заговорят, например, о любви, и кто-нибудь обратится к нему за мнением, он всегда както съежится и неловко уклонится от ответа, не потому, чтобы считал разговор о таком предмете пустым или неприличным, а по какой-то непонятной застенчивости, робости и стыдливости, хотя он и не был тем, что называется «красною девушкою». Боясь инстинктивно говорить о высоких предметах, он в то же время не мастер поддерживать дамский вздор и дребедень, хотя бы и не прочь от того: «Что же, не все серьезное: наука, да искусство, да восход солнца»; а потому в обществе держался ближе к мужчинам и пожилым дамам. Самая фигура его показывает, что он не создан дамским кавалером. Егор Иваныч был среднего роста, плотно сложен и широк в плечах, несколько сутуловат; его нельзя назвать красавцем, но выражение лица доброе, и в серых огромных глазах светился ум; лоб большой, ноздри широкие, крупные губы плотно сжаты, подбородок выдался вперед. Он казался мужественнее своих лет. Егор Иваныч имел большие руки, сильные и мускулистые, с толстыми пальцами и коротко остриженными на них ногтями; ступня ноги была большая. Внешние при-

емы его не были безукоризненны: походка тяжеловата, с перевалом и крупными шагами; французский язык знал, но имел плохое произношение, потому и воздерживался от этого элегантного диалекта; он смеялся слишком громко, стеснялся при женщинах в первую минуту, а потом говорил с ними как с мужчинами, вставляя часто словцо, нетерпимое в дамских речах. Но он не был циник, был опрятен и чистоплотен, любил порядок и немало сокрушался о своих внешних недостатках. Но эти недостатки обнаруживались сами собою, особенно когда он, увлекшись, не вытерпит и заговорит, как прежде, в кружке товарищей: тогда, в монологах, его голос поднимался несколькими нотами выше, но лишь только ему возражали, он выслушивал спокойно, отвечал хладнокровно, и чем более направляли на него насмешек и острот, тем он становился хладнокровнее, заметно сдерживая себя и сосредоточиваясь. Он в этих случаях был очень деликатен, на остроты не сердился: смешно, так и сам смеялся, но терпеть не мог, когда не давали человеку высказываться. «Зачем говорить с человеком, если его самого не выслушивать? он тогда ничего не поймет», и потому голос его тогда лишь поднимался, когда его была череда говорить. Он не любил горлом брать. Однажды к Обросимову заехал один помещик, человек с авторитетом и во всем околотке считавшийся умным. Он разговорился с Молотовым, скоро напал на современную тему, взял молодого человека за пуговицу и целый час развивал свои идеи. Молотов целый час усиливался вставить свое слово; авторитет закричит: «Помилуйте, как этого не понять?» Молотов продолжает слушать, но лишь улучит минуту и вставит свое слово, помещик опять кричит: «Помилуйте, как этого не понять?» и продолжает сыпать снова. Наконец авторитет истощился, и последние слова его были: «Кажется, ясно?» Молотов ответил: «Ясно, но у меня есть *свои* возражения». — «Помилуйте, какие же могут быть возражения?» — «Может быть, неосновательные, но если они останутся, то я все-таки...» — «Могут ли они быть основательными?» — перебил его помещик и перешел к новой теме. «Зачем же он говорил со мной?» — думал Молотов и назвал его в душе болваном, хотя помещик говорил неглупо и с этим соглашался и Егор Иваныч. Зато с самим Егором Иванычем говорить было легко...

Леночка не первый день знакома с Егором Иванычем. Она часто бывает у Обросимова, своего крестного отца, и не раз проводила время с Молотовым; он тоже бывал в гостях у матери Илличовой. Леночке случалось слышать, как Молотов, подавив в себе застенчивость, увлекался разговором. Она однажды прямо ему сказала: «Я люблю, когда вы говорите», после чего он постарался замять разговор. У Леночки и сегодня явилось невинное желание вызвать Молотова на разговор. Желание не исполнилось.

На балкон вышел Аркадий Иваныч с дочерью Лизаветой Аркадьевной. Лизавета Аркадьевна была женщина высокая, стройная, красивая. Она года полтора назад лишилась мужа, директора одного из петербургских департаментов. Вдова приехала к отцу гостить весну и лето. Скоро вбежал на балкон Володя, сын Обросимова, а наконец явилась и сама хозяйка, Марья Павловна. Аркадий Иваныч предложил прогулку на воде; все были согласны и минут через двадцать сидели в лодке. Молотова просили грести. Под его руками лодка пошла быстро. Речка бежит среди липового леса и яблонь, отряхивающих розовые цветы в ее тихую воду.

— Вы устанете, — заметила Марья Павловна.

— Ничего-с, — ответил Молотов и в один прием подвинул лодку на полсажени.

— Я люблю быструю езду, — сказала вдова, — она — как все сильное, энергичное, выходящее из ряда обыденных...

В это время лодка на повороте реки обогнула угол, и неожиданно из-за яблонь солнечные лучи ударили прямо в глаза гребцу, что́ заставило его опустить весла. Когда женский страх прошел, все стали смеяться.

— Вам солнце мешает, — сказала Леночка и защитила его зонтиком.

Леночка быстро овладела разговором, с удивительною легкостью переходила с предмета на предмет; рассказала, как она тонула однажды; что у них новый дьячок; про козу свою рассказала; от козы перешла к дяде, к няне, подругам; после этого ей ничего не стоило заговорить о цветах, о новом платье; а чрез несколько минут она говорила, что терпеть не может пауков и тараканов, что она любит толстые пенки на сливках, клубнику

и запах резеды. Черноглазая болтунья была неистощима. Лизавета Аркадьевна смотрела на Леночку пристально, наблюдала ее, *изучала,* как любила выражаться, нарочно вызывала на болтовню, причем и делала тонкие иронические замечания. Егор Иваныч видел, что Обросимовы об Илличовой имели понятие как о девочке пустой и легкой. Только отец поддерживал свою крестницу и гостью и, казалось, понимал ее иначе. Леночка не догадывалась, что над нею смеются и с намерением заставляют говорить.

— Я завидую легкости вашего характера, — сказала Лизавета Аркадьевна с едва заметною улыбкою.

— Я веселая!.. — отвечала простодушно Леночка и при этом ударила в ладошки.

Проехали еще около версты и потом положили вернуться домой. Молотов повернул лодку; ее понесло вниз по теченью. Он сложил весла.

— Папа, позвольте мне править.

Обросимов уступил дочери руль. Она довольно верно повела лодку. Когда доехали до деревни, где жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берег, простились и отправились дальше. Немного погодя Лизавета Аркадьевна сказала:

— Кисейная девушка!

— Лиза! — начал с упреком отец...

— Да что, папа!—перебила Лизавета Аркадьевна, — ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского, — пожалуй, и Пушкина читали; поют: «Всех цветочков боле розу я любила» да «Стонет сизый голубочек»; вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит у них глубоких следов, потому что они неспособны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были очень глупы... непременно с родимым пятнышком на плече или на шейке... легкие, бойкие девушки, любят сантиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных, кисейных созданий!..

— Ты Леночку не знаешь, — сказал отец, — оттого и говоришь так. Она девица очень добрая.

— Добрая? — ответила дочь с досадою. — Знаю, очень хорошо я это знаю. Они все у нас добренькие: всегда спасут муху из паутины и раздавят паука...

— Я тебе советую познакомиться с нею покороче; тогда ты ее полюбишь...

— Я ее и теперь люблю, папаша, разумеется, как можно ее любить... как птичку... цветок.. как хорошенький узор... не больше... Она не способна отвечать на привязанность глубокую, на страсть сильную...

— Держи от берега дальше, Лиза: там очень мелко.

— Хорошо, папа... Скажите, чем можно привязать ее? подарить фунт конфет? шелковое платье?

— Жениха хорошего, — сказал Обросимов.

— Что, папа?

— Хорошего жениха... только не дари ты ей портрета Жорж-Занда.

— Вы, пожалуй, правду сказали. Да, для этих девушек одно спасенье — в женихе... Пока не замужем, они мечтают... вы думаете, об идеале? нет, о душках, и между тем очень хорошо понимают, что вся цель их стремлений — жених, о чем и хлопочут мамаши и папаши... душка сам по себе... Да и к душкам своим эти девушки имеют какие-то странные отношения: они не способны ни к какому решительному шагу, они не полюбят без позволения папаши...

— У ней, Лиза, нет отца.

— Все одно — мамаши.

— Мамаши она не боится, потому что командует всем домом. Как же это, Лиза, не зная человека, говорить о нем? Могла ли ты так скоро понять Леночку?

— Она дала мне три сеанса — этого довольно: ее портрет я могу написать во весь рост... Я пыталась развить ее...

— В три сеанса?

— По крайней мере понять, может ли она развиться. Бывают натуры нетронутые, а эти? Кисейная девица, девица-душка!

— Лиза, ведь ты бранишься, — сказал отец.

Лизавета Аркадьевна вспыхнула.

— Я знаю Леночку лучше тебя, — продолжал Обросимов, — она умная и добрая девица, только необразованная и держать себя не умеет — в этом не она виновата... Наконец, ты не имеешь права говорить так резко о Леночке...

— Почему же, папа?

— Потому что ей жених нужен, пойми ты это.

— Фи, какие понятия!

— Самые здравые понятия. Ведь она неспособна к страсти глубокой? да? сама сказала, что для таких девушек — одно спасенье в женихе... Так не сбивай же ее, пожалуйста, с толку, не навязывай ей того, к чему она неспособна!.. зачем это?.. Оставь ты ее в покое... А то ведь «кисейная девушка», «душка» — это такие выражения, что могут испортить ей репутацию...

— Но, папа, могу же я иметь свое понятие о ней?

— Не совсем...

— Как так?

— О девушке не только мужчина, но и женщина должна выражаться осторожнее; между девушкой и женщиной большая разница.

— Разумеется, большая: девушке жениха нужно.

— Непременно-с...

— Отчего же папа, после этого не сказать и так: о мужчине не только женщина, но и мужчина не должен говорить худо, потому что ему невеста нужна?.. То же самое, папа!..

— Совсем не то, нисколько не похоже... Впрочем, Лиза, оставим этот разговор...

— Отчего же, папа?

— Ну, мне неприятно продолжать разговор... оставь, пожалуйста...

Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.

— Этак говорить нельзя, — прибавил отец, — и твоего Жорж-Занда можно на смех поднять.

— Ведь мы оставили, папа, этот разговор...

Отец замолчал. Лодка причалила к берегу. Все отправились домой. Но Обросимов не утерпел и прибавил еще:

— Тебе хочется жить по-своему, и другим хочется. Что тебе за дело до Леночки? пусть живет как знает...

— Ах, папа!.. это скучно наконец, — ответила дочь.

Тем и кончили. Обросимов пошел с женой и сыном, а Лизавета Аркадьевна подошла к Молотову. Молотов был согласен с принципами вдовы, но не хотел согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая, — думал он, — если она неразвитая, так развейте; не можете, нельзя, так не троньте». Так он сумел согласиться с обоими спорившими...

— Какой чудный вечер! — сказала Лизавета Аркадьевна, и, начав с этого, она незаметно разговорилась, припомнила другие вечера, проведенные ею некогда в Италии; потом вспомнила Жорж-Занда, а там перешла к Татьяне Пушкина — Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгению, который оттого и погиб. Много о чем говорила вдова... Егор Иваныч больше молчал; Лизавета Аркадьевна не то чтобы разговаривала с ним, а больше поучала его, хотя он и не догадался о том. Когда они расстались, Молотов подумал: «Какая разница бывает между женщинами — Леночка и Лизавета Аркадьевна!.. Положим, Илличова — кисейная девушка, а эта? Не знаю. Только с каждым днем я убеждаюсь, что попал к добрым людям...»

Егор Иваныч отправился на крыльцо. Здесь он сидел один-одинешенек, опершись подбородком на ладони и глядя на длинные седые облака, которые еле тянулись по небу... Настали сумерки; горит заревом лишь то место, где закатилось солнце... Он сидит, ни о чем не думая... Ветры утихли, спать легли; дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих голосов; одни насекомые наполняют воздух жужжаньем, свистом и стрекотом, да кричат играющие ребятишки — где это: у реки иль на задах?.. Промычала корова... раздается плач ребенка: «Ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» — чего он плачет?.. Какие-то неуловимые звуки, неопределенные: то будто шум пронесется в воздухе; не было ветру, а вот покачнулась береза; в ухе звенит... Все становится темнее и темнее... тихо... но вдруг набегает чуть заметный ветерок; он отстал от майских братьев своих, а братья ушли туда, где спряталось солнце. Это он поднял из саду запах сиреней и тополей; от него, как мошки, полетели липовые цветы и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидит Егор Иваныч и глядит — чего он тут глядит? Он, отдаваясь безотчетно природе, сливается с нею и в свою очередь составляет одно из явлений ее. Вон и старуха целый час глазеет из своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенские, и на туманную полосу воды на западе; и Обросимов глазеет из своего окна; и кляча, вытянув шею и положив на изгородь морду, тоже глазеет на все окружающее. Все сливается в одну картину, в единую жизнь природы, в которой всякое мелкое явление,

всякая былинка, звук, вздох и шорох поют вместе с вами что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное... Совсем сливаются предметы... По реке, по горам встали длинные, безобразные, громадные тени... Что это?.. чудная птица, стоголосый соловей пустил над рекою свой яркий, сладострастный рокот. Долго поет прекрасная птица, а река спит под темно-голубыми небесами, спит деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные... и соловей задремал... тише.... тише... Озноб пробежал по телу; брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь... Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори!.. Все это наше!.. Будем гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сеннике... Вот и отжит день; он уже никогда не повторится в жизни: не те будут цвета и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? Нет, пусть идет себе жизнь... А ведь хорошо жить на свете? — Хорошо. Ну, и пусть его хорошо.

Мы не сказали еще, зачем и на каких условиях Молотов живет в Обросимовке. У Аркадия Иваныча была заматорелая тяжба, которую он непременно хотел покончить — так или иначе; для этого дела ему нужен был человек, который бы следил за тяжбою, ездил в город, сносился с чиновниками, потом ему хотелось составить подробную ведомость своему имению; потом надобно было привести довольно большую библиотеку в порядок и составить ей каталог. Когда Молотову предложили заняться всем этим за сорок рублей в месяц, причем предлагали готовый стол и комнату с отоплением и освещением, — он отказывался совершенным незнанием судейского дела и деревенской статистики; но его успокоили, обещая поучить на первых порах. После этого Молотов, долго не думая, продал все, что было у него движимого, оставив у себя только образок, которым благословил его воспитатель, портрет его, некоторые книги и вещицы, сосчитал несколько рублей в портмоне — и покатил в Обросимовку. Ему понравились и деревня и обитатели деревни. Он живет здесь около трех месяцев и успел познакомиться со всеми. Особенно нра-

вился Молотову сам помещик; он был прекрасный хозяин, человек образованный, бывавший за границею. Крестьяне называли его «отцом родным» и благоденствовали сравнительно с крестьянами других помещиков. В числе более полутысячи его крестьян можно было насчитать около двадцати, ни разу не бивших жен своих, что̀, как известно, не у нас только редкость. Наказывать женщин он строго запретил, считая это варварством. Обросимов даже школу хотел завести, но как-то не собрался. Он слыл отличным соседом-хлебосолом и отличным семьянином. Человек он был пожилой, с красивым и умным лицом — такие лица бывают у некоторых наших бар, и именно бар деловых; спокойствие, уверенность в своих достоинствах, степенность и приветливость разлиты были во всей его фигуре. По крайней мере он таким представлялся Молотову.

Молотову легче было войти в свет, нежели другим образованным юношам темного происхождения. Он спрашивал себя: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и отвечал: «Нет тех лип!» Это много значило для него; он не был связан ни с какою почвой. Посмотрите на бо́льшую часть людей, которых судьба так или иначе выдвинула из среды своей, как они относятся к среде. Как часто случается, купецкий сын, получивши образование, ненавидит свое сословие: отвратительно для него купечество, все купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавит, что им трудно быть иными и что он не сам собою, а чрез образование стал выше их. Или вот иной помещик: выдернут его из степи, привезут в столицу, обломают его понятия, пересоздадут натуру барскую, научат совершенно иной жизни — как он потом относится к степнякам своим? Послушайте вы семинариста, которому счастье благоприятствовало развиться лучше собратов своих: он зол на долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху, копившуюся в родном гнезде веками... Все они — и дворянин, и купец, и семинарист — отвернулись от своих собратий: «О, как там пошло все!.. дичь какая!» Откуда эта антипатия к родной грязи, которую человек только что успел от себя отскрести? Она понятна и законна. Как не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите в самых дорогих вам людях, в том гнезде, где впервые узрели свет божий, где проснулся разум,

заговорило чувство, воля попросила дел и работы? Отсюда для многих вытекают нелепые положения. Вот, например, у откупщика, скопившего тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сын усвоивает гуманные начала современной жизни, и что же выходит? — противны ему стены отцовского дома, а и жаль отца — ведь кровь родная!.. Вот и пойдет мысль ломаным путем, хочется во что бы то ни стало доказать, что незачем бичевать того, в ком зло совершается; что не лицо виновато, а закон, обычай, форма, предание, сок и кровь житейские и народные; среда нас заедает, внешние обстоятельства виноваты, действуют исторические причины... Но отчего же он? отчего другие уцелели? — Неисходное положение! Молотов был происхождения темного, мещанского, но счастлив этот юноша: в нем не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить в сословии, в котором он родился; он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? — нет тех лип». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло так, как будто он и не был мещанского рода, хотя он и не думал от того отказываться. Он был счастливейший homo novus.[1] Все это дало ему особый отпечаток. Судьба, отстранивши от него борьбу, скрывши в далеком младенчестве его мещанскую грязь, дала ему светлый, невозмущаемый взгляд на себя; держался он спокойно, ровно, с достоинством; чувствовал себя честным и свободным так же, как чувствовал себя физически здоровым. Это же самое дало ему надежду на людей; он был снисходителен, он был оптимист и любил приникать к доброй стороне жизни, повсюду отыскивая искру божию. Зачем же он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и с грустью отвечал: «Нет их!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.

Однако оправдывался ли его оптимизм? ведь он жил в чужих людях. Положение человека, живущего в чужой семье в качестве ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, в большей части случаев стеснительное, зависимое от нанимателя и кормильца. «Я тружусь, следовательно, независим; сам себя знаю и ни пред кем не хочу гнуть спины» — такая истина редко имеет смысл в наших обществах. Протекцию, деньги, поклоны,

---

[1] Новый человек *(лат.)*. — *Ред.*

пронырство, наушничество и тому подобные качества надобно иметь для того, чтобы добиться права на труд; а у нас хозяин почти всегда ломается над наемщиком, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком; во всех сферах русского труда, который вам лично деньги приносит, подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. Из этих экономических чисто русских, кровных начал наших вытекает принцип национальной независимости: «Ничего не делаю, значит — я свободен; нанимаю, значит — я независим»; тот же принцип, иначе выраженный: «Я много тружусь, следовательно, раб я; нанимаюсь, следовательно, чужой хлеб ем». Не труд нас кормит — начальство и место кормит; дающий работу — благодетель, работающий — благодетельствуемый; наши начальники — кормильцы. У нас самое слово «работа» происходит от слова «раб», хотя странно — мы и у бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду как признаку зависимости и любовь к праздности как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства. Существовал ли экономический национальный закон в отношениях Обросимова к Молотову? Если да, то как же Егор Иваныч мог сохранить светлый, невозмущаемый взгляд на себя? В том-то и сила, что скорее не существовал, хотя и нельзя сказать того вполне категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считает себя кормильцем? Но уже и то хорошо, что экономический закон действовал слабо, незаметно. Здесь скорее действовал какой-то другой закон. Обросимов относился к Молотову почти как к равному, ласково, добродушно, благодарил за всякую услугу, иногда советовался с ним по какому-нибудь делу, вводил в интересы свои, так что Молотову казалось, будто он не чужой в семье. Он не сразу дошел до такого убеждения, боялся навязываться и напрашиваться в «свои люди» в чужую семью; но помещик, как нарочно, давал ему случай оказывать себе услуги разного рода и чрез то сближаться с ним. Молотов, посещая фабрику Аркадия Иваныча, в которой, разумеется, он не много смыслил, успел как-то заметить некоторые проделки управляющего и сообщил о них Обросимову. То была важная услуга, потому что помещик успел спасти при этом порядочный капитал.

Молотову были благодарны. Однажды Егор Иваныч спросил, отчего это Володя не учится; ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нет. Жена Обросимова при этом выразила опасение, что мальчик многое перезабудет и ему опять придется начинать снова. Егор Иваныч с своей стороны выразил сожаление, что не имеет особенных педагогических способностей и что хотя и давал уроки в столице, но не по призванию. Однако вышло же так, что он сам предложил заняться некоторыми предметами с Володей, пока не найдут учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Так существовал ли здесь национальный экономический закон? Напротив, едва ли не наниматель был в большей зависимости от нанимающегося. Все были ласковы и любезны с Молотовым. В деревне люди сближаются скоро, и Егор Иваныч, мало-помалу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужим людям, стал незаметно для самого себя втягиваться в семейную жизнь Обросимовых; чужие заботы делались его заботами, точно он был член семейства. С Обросимовыми он ездил к соседям в гости и со многими из них познакомился. Плебейское происхождение пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Он был молод, надежд впереди много, и, значит, Егор Иваныч вполне наслаждался жизнью.

И вот Молотов, сын столицы, который родился и вырос в ней, который жил в огромных каменных домах, никогда не видал деревни, не видал весны во всем ее цвете и прелести, не знал и семейной жизни, — он теперь в деревне, среди приволжской природы, в доброй, по его убеждению, семье... Поле, река, лес, деревенский воздух, полная свобода — все это давало Молотову еще не испытанные им впечатления. Мириады невиданных предметов представлялись его любопытству, и на первых порах глаза его разбегались. Он впервые видел, как сеют хлеб, садят капусту, как распускается целый лес, ползет и лезет трава из земли, как сразу цветет вся окрестность, как живет деревенский обыватель. С изумлением останавливался молодой человек, когда высоко в воздухе неслись гусиные стада; иногда он долго прислушивался в лесу к шелесту листьев, голосам птиц и насекомых, ко всему лесному движению. Он с жадностью всматривался в невиданную им доселе жизнь и природу. Во всем

этом резко выдавалась одна сторона его характера. — У нас есть тип особого рода людей, живых, подвижных, вечно занятых, тип человека хлопотливого, который все замечает, которому все надобно знать. Случалось ли вам встречать людей, у которых что́ вы ни спросите, они на все ответят вам; заговорите с ними о разных замечательных лицах, о картине, о цене на какую угодно вещь, где и как добыть тот или другой продукт, о том, что и вычитать нельзя и о чем говорят за углом и потихоньку, что угодно, — все до них как-то дойти успело. У людей такого рода много знакомых, в жизни их множество случаев, потому что они всюду нос суют. Понятно, что в полном развитии этот тип встречается в людях пожилых; иначе не может быть по самому свойству его. Такие люди вообще пользуются у нас уважением, хотя не скроем, что из них большею частию выходят пройдохи, народ ловкий, умеющий отовсюду извлечь высший процент. В них выразилась практическая сила. Молотов был застенчив и неловок, против чего он боролся сильно; такой недостаток иногда мешал ему сходиться с людьми; потом, он образования реального не получил; но в нем все-таки были задатки типа, рекомендованного нами читателю. Очевидно, пройдохой его назвать нельзя, но, с другой стороны, трудно определить смысл его деятельности, самой разнообразной и неутомимой. Его постоянно можно видеть наблюдающим на поле, на фабрике, в городе, столярной, в мужицкой избе, на реке, в лесу; он умеет резать, точить, пилить, несколько рисует; технические занятия он всегда любил, хотя до всего приходилось ему доходить самому, потому что его не учили никакому мастерству. Загляните в его комнату: чего-чего тут нет! модели, картины, книги, экземпляры из гербариума, инструменты разного рода, цветы, скрипка, ноты, даже ружье, которым он не умеет владеть, но положил непременно выучиться. Иногда он берется за дело, которое совсем не по его способностям. Так, он любит музыку, но сам не может быть музыкантом; однако, несмотря на то, что у него пальцы онемели над грифом и струнами, он все-таки хотел добиться своего. По большей же части все ему как-то удавалось. Это натура упругая и терпеливая, что́ выражалось в самой фигуре Егора Иваныча. Многоталантливость и неугомонность дались ему от природы; такие качества не приобретешь,

не сделаешь, не купишь; это дар врожденный, — хотя и странно, что вся деятельность Молотова была без всякой наперед заданной мысли, без определенной цели: ему просто хотелось все знать и все сделать — вот так, как вам есть хочется; то была деятельность без принципа, потребность натуры, «комплекция такая». Одно ясно, Молотов еще не определился; его натура нетронутая; мы видим в нем пока одну силу без приложения; его нельзя назвать практическим человеком; вся его деятельность есть не что иное, как любознательность, продолжение учебного курса; он в настоящую минуту скорее идеалист, только с практическими задатками для будущего. Его все занимает: и поверье старой бабы, и рецепт деревенского лекарства, и песня Варламова, и рассказы об Италии, и рассада капусты, и критическая статья в журнале. Он еще не сформировался, не получил полный, законченный образ. Изредка он задумывается о роде службы, но мысль о ней как-то недолго удерживается в его голове. Она всегда заканчивалась рассуждением: «Еще успею, ведь мне всего двадцать два года».

Егор Иваныч встал поутру бодрый, свежий; купанье окончательно поставило его на ноги. Он часто в свободное время отправлялся в поход, путешествовал по лесам и полям, ездил по реке, посещал соседние деревни. Его занятия не определялись известным часом; иногда он занимался по делам помещика целые дни, почти без отдыха, ездил в город, копался в библиотеке, разбирал бумаги, ходил к приказчику, священнику, составлял ведомости; иногда же выдавалось у него много свободного времени. Сегодня он на лодке отъехал версты две с половиной и остановился у леса, где он вчера заметил одно место и хотел теперь снять с него вид. «Значит, он хорошо рисует, — спросит читатель, — когда решается снимать вид с натуры?» Он не художник, однако набросать вид может, рисует только для себя; искусство приобретено им для домашнего обиходу; он учился рисовать, чтобы уметь сделать картинку, и сегодня он приехал сделать картинку. Но вот та же лужайка и тот же ручей, та же группа дубов, осин и кустарника, но не тот вид, — при другом освещении он принял иную физиономию. Молотов привязал к кусту лодку и отправился по лужайке в лес. Без всякой думы и заботы гулял он, как, бывало, мы гуляли с вами на каникулах, перепрыгивал

чрез пни и кочки; то кричит во все горло, и эхо откликается далеко в лесу, то рассматривает какую-нибудь невиданную им траву; или вот остановился он над муравейником, без всякой жалости разрыл его и смотрит с любопытством ребенка на возню насекомых. И в самом деле, он не что иное, как большой ребенок, поучившийся и кончивший курс хорошо. При нем оставалась юность; не прошли еще те беззаботные, медовые месяцы юности, которые не во всякой жизни и бывают, о которых иной и понятия не имеет, а разве только читывал в книжках, пасторалях разных и идиллиях: это то время в жизни человека, когда он развился, взрослый совсем, а доброта и вера в людей у него не тронута, когда он еще зла не познал, — все пред ним розово и свято, и в будущем ясно. Хороши эти медовые месяцы, но большая часть людей не верит в них, говорит, что их поэты выдумали. Мы ныне рано узнаем подлость и пошлость житейскую, едва не в пеленках обличаем и протестуем, все поражено иронией и смехом сквозь слезы. Неподделен этот смех, законен, из души он идет, — но легче ль оттого? Егор Иваныч еще не познал подлости и пошлости житейской. Из кабинета своего профессора, где жила наука и куда жизнь заглядывала редко, он не видел людей. Он знал своих учителей и профессоров, которые читали такие прекрасные лекции, нескольких товарищей, два-три семейства — все это были прекрасные личности; он слышал, как одни говорили хорошо, и видел, как другие жили хорошо. Откуда же ему было почерпнуть мрачный взгляд? Кто мало видел добра, тот не верит в него, тому приходится выдумывать, вычитывать добро; кто видел мало зла, тот тоже говорит о нем понаслышке, да и говорит редко, потому что нас занимает только то, что мы знаем и испытали сами. Он кончил курс четырнадцать лет тому назад. И тогда знали, что борьба неизбежна, но не знали, как она трудна. «Нас много, — думал Молотов, окидывая взором аудиторию, — и там наших много», — думал он, вспоминая профессора-бабушку, его ученых гостей и нескольких добрых знакомых. Не думалось ему тогда: «Нас много, а там, за порогом университета и кабинета ученого, бесконечно больше; нас тысяча, там тьма...» Вот он и вышел в свет большим ребенком, и стоит теперь он над муравейником и осклабляется весело. Правда, он слышал, что в чужих людях, даже

добрых, жизнь не всегда весела, «но что же они могут мне сделать? — думал он. — Денег не отдадут? сделают какую-нибудь несправедливость?.. велика важность!.. в один день можно собраться и уйти». И эти мысли посетили его на время, когда он сбирался из столицы к помещику; но, проживши немного времени в деревне, он и Обросимова и семью его причислил к тем «многим», к которым он сам принадлежал. Что же может смущать его? И вот он кричит на весь лес, и весел, и спокоен, и живется ему, без сомнения, просто и легко.

Егор Иваныч вышел на лужайку и на ней увидел две небольшие могилки. Это заняло его. «Кто бы тут похоронен был? — думал он. — Как странно — в лесу!» Оглянувшись кругом, он увидел, что его отовсюду окружает лес. Недолго думая, он влез на самое большое дерево и отсюда рассмотрел дорогу. Он вышел на дорогу и, заслышав бабьи голоса, пошел на них. Показались три бабы. Старшая тараторила что-то. Молотов обратился к старшей.

— Тетушка! — крикнул он.

Бабы оглянулись, отвесили по низкому поклону, в полспины, как обыкновенно делают деревенские простолюдины, встречая всякого одетого по-барски.

— Чего тебе, батюшка? — спросила старшая.

— Не знаешь ли, тетушка, чьи там могилки?

— Где это, барин, могилки?

— Вот тут и есть, у реки, на лужайке.

— А! — вскрикнула баба. — Есть могилки, есть... это Мироновы детки... двое померло...

— Отчего же они там похоронены?

— Кто... детки-то? а некрещены померли.

Она подняла глаза к небу, вздохнула и, сказавши: «Господи помилуй, господи помилуй», понурила голову. Но вдруг лицо ее оживилось, и она заговорила:

— Известно, некрещеное дитя да померло — это все одно что дерево... Где ни закопай, все равно... В нем и духу нет... это уж такой человек... без духу он родится... пар в нем... Этаконького и не окрестишь, так и помрет... бог не попустит, нет...

— Откуда ж ты взяла, что в некрещеном духу нет? — спросил Молотов.

— А чего ж христианское дитя да без крещения помирает? разве можно? — не можно... Иной и вовсе мерт-

венькой родится... у этого и пару нет... Некрещеное дитя, так, знать, и родится не святое дитя.

Баба развела руками и замолчала. Подивился Молотов бабьему смыслу.

— Прощай, тетушка, спасибо, — сказал он.

— Прощай, батюшка.

Еще более подивился Молотов бабьему смыслу, когда после оказалось, что поверье о некрещеных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно. Ему попалась баба-поэт, баба-мистик. Может быть, ей самой до сих пор не приходилось объяснять себе непонятную для нее судьбу некоторых детей, и вот, лишь только пришел ей в голову вопрос о детях, она, не желая оставаться долго в недоумении, сразу при помощи своего вдохновения миновала все противоречия и мгновенно создала миф. И очень может быть, что этот миф перейдет к ее детям, внукам, переползет в другие семьи, к соседям и знакомым, и чрез тридцать — сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасает предрассудки, они еще и ныне создаются. Удивительно то чувство, с которым простолюдин относится к природе: оно непосредственно и создает миф мгновенно.

Легкая грусть напала на Молотова. Он задумался и пошел медленно назад... Неужели судьба детей опечалила его?... Но, во всяком случае, то была приятная грусть, которую жаль согнать с души. Он вздохнул, лег на траву и долго задумчиво смотрел на небо, голубое-голубое, как детские голубые глаза. Он следил за полетом золотистых облачков, которые тянулись по небу. Неужели он думал: «Куда это бегут облака?» — ведь это ребячество. Улыбнулся он задумчиво... Но вдруг раздался треск сухого дерева. Молотов не мог понять причину звука, встал на ноги и осмотрелся кругом. Потом пошел отыскивать лодку; пора было домой. Когда он на возвратном пути проезжал мимо Илличовки, то увидел, как девушка какая-то в белом кисейном платье порхнула между кустами и быстро скрылась. «Кажется, Елена Ильинишна», — подумал Молотов. Ему вспомнился вчерашний разговор... «Что это, в самом деле, за девушка? — думал он. — Не знаю я их. Только, кажется, Лизавета Аркадьевна ошиблась». Егора Иваныча недолго занимал этот вопрос. Он вдруг налег на весла и стал

работать ими что есть силы. Лодка полетела быстро, вода шла вьюром от весел и щелкала в бока. Молотов вернулся домой к обеду.

После обеда в комнату Егора Иваныча вошел Обросимов.

— Как ваши занятия идут? — спросил он.

— С библиотекою кончил, — отвечал Егор Иваныч.

— Совсем ныне отстал от учебного дела, — говорил Обросимов. — Вот уже лет десять, как у меня так и валят книги и журналы без всякого порядка... Не нашли ли еще чего-нибудь интересного?

— Нет, Аркадий Иваныч, не нашел...

Надо заметить, что Молотову удалось отыскать между разным хламом дневник, веденный дедом Обросимова.

— Там еще на чердаке есть шкаф с книгами, да по чуланам и подвалам надобно посмотреть; я уверен, что есть там кое-какие клочки.

— Я посмотрю, — отвечал Молотов.

— Вы, пожалуйста, Егор Иваныч, очень не беспокойтесь, не торопитесь; ведь дело не к спеху... Теперь гулять надобно.

— Какой у вас прекрасный лес, Аркадий Иваныч; я сегодня гулял в нем...

— Здесь прежде были заповедные леса с непроходимыми чащами, медведями и разбойниками... Что дубу одного было!.. теперь совсем не то, что прежде.

Но Молотов заметил, что у Обросимова есть что-то на уме, что́ он не договаривает.

— Вот нам и гулять некогда, — говорил Обросимов, — забот полны руки, посевы, по фабрике работы... да что, совсем закружился... книги давно не держал в руках... Хотел отыскать одну статейку в газетах... крайне необходимо... до сих пор не мог собраться...

— Не угодно ли, Аркадий Иваныч, я отыщу?

— Ведь листов двести придется перебрать.

— Помилуйте, у меня много свободного времени...

— Очень благодарен вам...

— Позвольте узнать заглавие статьи?

— Кажется, о компосте... только знаю, что об удобрении. Видите, вам немало будет работы, я даже и заглавия подлинного не помню.

— Я подобные заглавия все выпишу...

— Благодарю вас... Э, да что это у вас? — спросил Обросимов, переменяя разговор. — Никак тут вся усадьба старосты Мирона?

Дело в том, что Молотов давно уже ходил в крестьянскую избу, вникал в ее постройку, материалы, службы ее, считал бревна, доски и жерди и потом сделал модель избы точь-в-точь, со всеми ее подробностями...

— Подождите, я и до фабрики доберусь, — отвечал Молотов.

— Она к вашим услугам... Однако у вас врожденный талант...

Молотов показал ему еще разные вещицы своего изделия. В это время вошла в комнату Лизавета Аркадьевна.

— Егор Иваныч, я к вам с маленькой просьбой, — сказала она.

Молотов поклонился.

— Вы будете так добры, что перепишете мне вот эти ноты.

— Позвольте узнать, что это?

— Песни Варламова.

— Я и себе спишу...

— Благодарю вас. Впрочем, может быть...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь...

Когда Молотов остался один, он подумал: «Вот какой ведь деликатный человек этот Обросимов... Право, преблагородно с его стороны, что он так просто обращается ко мне с просьбами своими». После обеда Егор Иваныч занялся отысканием статьи... Но статья не попадалась сразу.

Часу в пятом Володя вбежал в комнату Егора Иваныча.

— Что вам угодно? — спросил его Молотов.

— Письмо к вам, — отвечал Володя...

— Не Андрей ли пишет? — проговорил Егор Иваныч. Он хотел посмотреть на адрес, но, к удивлению своему, адреса не нашел. «Не от него же», — подумал он и сломал печать. Краска бросилась в лицо Егора Иваныча, когда он прочитал письмо.

— Кто принес письмо?

— Мальчик какой-то.

— Где он?

— Он ушел... Нет, но если он вам очень нужен, папа велит отыскать его...

— Нет, Володенька, не нужно...

— Вы, Егор Иваныч, хотели мне змея сделать...

— Сделаю, Володенька, а теперь позвольте мне остаться одному.

Володя ушел. Егор Иваныч прочел еще раз письмо. Заметно было, что он сильно взволнован и озадачен. Он ничего подобного не читал во всю жизнь свою. Вот письмо:

«Егор Иваныч!

У вас есть чувство, и вы завтра в 6 часов придете на реку к мельнице вечером и здесь встретите даму, и если любите, узнаете ее, и если нет, я останусь по гроб верная вам и любящая».

Письмо безымянное; оно как холодной водой обдало Молотова. «Что это такое? — думал он. — Кто эта по гроб верная и любящая?» По соседству немало было девиц, которых он знал, но все они очень мало знакомы ему. «Разве Елена Ильинишна? — пришло ему в голову. — Да нет, не может быть, с какой стати? Не сделает она этого...» Молотову невероятным казалось, чтобы какая бы то ни было девица решилась сама назначить свидание мужчине, и потому он подумал, не написал ли кто-нибудь письма нарочно, для мистификации. Но рука была женская, и притом некому над ним шутить. Он терялся в недоумении. «Как же это можно?» — говорил он и перечитывал письмо. Письмо не давало ответа. Интрига не представлялась ему в привлекательном виде; он не привык к интимностям подобного рода; самая форма дела казалась ему так эксцентрична; он отчасти трусил, отчасти ему просто было стыдно. Егор Иваныч был крайне неопытен. До сих пор он еще не целовал ни одной женщины и теперь спрашивал себя: «Как тут быть? Андрей все бы это разъяснил, он знает. Нужно идти или нет? Что из всего этого выйдет?» Ему нужен был авторитет, учитель, книга, которая пояснила бы непонятный случай. Но прошло несколько времени, он — будь Андрей подле него — пожалуй, и не сказал бы о письме

своему другу. Этот случай, представлявшийся ему в таком неблаговидном свете, мало-помалу получал иные оттенки. Его любопытство было раздражено, и хотя литературные достоинства письма охлаждали его, но слово «любящая», первый раз в жизни коснувшись его уха, действовало на него волшебным образом... Он начинал увлекаться; но, вглядываясь в буквы, изображенные амуром приволжским, он ощущал какую-то притворность в сердце, и вдруг с чего-то припоминалась ему одна актриса в сюртучке и панталонах, игравшая роль молодого мужчины на Александринском театре. Странная смесь и борение чувств поднимались в душе Молотова при этом интимно-комическом случае. Воображение его не может оторваться от письма, и вот, помимо всей любовной дряни, оно создает какой-то прекрасный образ, и не один, а несколько — и все они льнут к нему, толпятся в воздухе, летают, ласкают его; но лишь только появляется среди них «по гроб верная и любящая», пропадают все грациозные образы. «Что же это будет?» — говорит Молотов вслух. Он берется за газеты, чтобы отыскать статью о компосте или каком-нибудь другом удобрении, но между газетными строками укладываются другие строки и мешают изысканиям. Стал что-то строгать, обрезал палец. Тогда он бросил все, и резьбу и компост. Он пошел в сад, из саду вышел бессознательно на улицу, спустился под гору и очутился у реки. «Зачем меня сюда занесло?» — спросил себя Молотов, а сам как будто хотел угадать, кто завтра придет на это место. Он вернулся домой, разбирая со всех сторон интимно-комический факт, предъявленный ему амуром приволжским. Молотов увлекался.

Пили чай на балконе. Был прекрасный вечер. Теперь наступили постоянные погоды.

— Садитесь поближе, — сказала хозяйка.

Егор Иваныч недослышал. Он сидел, облокотившись на перила, и смотрел на реку...

— Егор Иваныч, поближе садитесь, — повторила хозяйка.

Молотов подвинулся и взял стакан. В улице там и сям выезжали крестьяне с боронами. Опять, как и вчера, повалило стадо. Как и вчера, тишь и благодать в воздухе. Но все то же, да не то: и в пении птиц, и в ворчанье самовара, и в легком плеске реки, и в воздухе,

и в отдаленных голосах для Егора Иваныча пронеслось какое-то новое движение, как будто с души его поднялось что-то и вместе с вечерними тенями покрыло и реку, и сад, и кладбище. К Молотову обратились с вопросом. Он не к делу ответил:

— Не знаю, хорошо ли.

— О чем вы говорите? — спросили его.

— О нотах.

Все засмеялись.

— Что это с вами, Егор Иваныч? — сказала Лизавета Аркадьевна, — о чем вы думаете?

Егор Иваныч покраснел.

— Уж не влюбились ли вы? — спросила она, причем отец посмотрел на нее сердито.

— Пожалуй, вы и угадали, — ответил довольно храбро Молотов, — только я и сам не знаю, в кого.

— Это прекрасно; в незнакомку, значит?

— И незнакомки нет...

— Так не в портрет ли чей-нибудь?

— И портрета нет...

— Что ж, вы выдумали, что ли, какую красавицу и теперь видите ее в воздухе? Но вы, кажется, такой солидный человек, мечтой не увлечетесь...

Отец переменил предмет разговора. Егор Иваныч воспользовался первой удобной минутой и оставил общество. Егору Иванычу было не до смеху. Письмо сбило его с толку, настроило его на странные душевные движения и породило фантастическую ночь. Долго он не мог заснуть в тот день; ему было жарко под одеялом. Молотов раскрыл окно и сел к нему в одной рубашке. Никакого голосу не было в природе. Туманы поднимались с реки. Молотова жгло что-то, голова его горяча, нервы раздражены, и понять он не может, что с ним делается. Влюбился он, что ли? Да в кого же влюбился?.. в фантазию?.. в воздух?.. в письмо?.. О, молодые, горячие, полные жизненности годы!.. Боже мой, какие мечты поднимались в его голове, какие образы видел он в воздухе, какие грациозные, прекрасные тени выходили из тумана и плыли над рекою, а с кладбища, из лесу и с гор выглядывали безобразные дивы!.. Носятся грациозные тени, бесплотные образы, поют, манят его к себе, он видит, чувствует их. Но вот будто плачет кто-то... Рыдание слышно... слезы льются... сердце сжимает-

ся от тоски... душно в приволжском воздухе... Среди образов появился новый. Отчего Молотову думается, что это «по гроб верная и любящая»?.. Чего она плачет, а вот теперь смеется?.. Зачем светлые тени побежали прочь, тонут, тонут и пропадают в воздухе?.. Волк взвыл — сова откликнулась. Пусто в воздухе и глухо во всей природе. Жарко... Долго маялся Егор Иваныч. Когда он заснул наконец, то и во сне грезы тревожили его молодую душу... Странны молодые люди, и нам, старикам (проговорился автор), трудно понимать игру горячей жизни. Так что же?.. не хотим и понимать; а потребуют ответа, мы скажем, что все эти волнения — не что иное, как химические процессы в организме молодого человека.

С утренними лучами солнца ночные фантазии и бредни, получившие под конец мрачный оттенок, явились в более светлом виде. Взгляд на письмо переменился. Егор Иваныч прочитал письмо много раз, так что пригляделся к нему. По этой ли причине или по какой другой, только ему не приходили в ум мужские панталоны на актрисе и тому подобные разрушающие иллюзию атрибуты. Он уже примирился и с эксцентричностью письма и с его литературными достоинствами; в письме было что-то заветное для него; гордость его затронута доверием незнакомой женщины. Читатель, вероятно, догадался, что письмо писала Леночка, иначе зачем автору было выводить ее на первых страницах; но Молотов не догадывался. Он представлял себе какую-то другую девицу, и после ночи мечтаний и фантастических образов, после многих дум и волнений он точно знаком был с нею, хотя и не сказал бы, каков ее рост, цвет волос, глаза, походка. Это был образ туманный и неясный, сформировавшийся из тысячи прежде нажитых впечатлений. Ему казалось, что и прежде он видел его где-то, и почему-то припоминалась ему семья Дороговых. Егор Иваныч вглядывался в этот образ и, помимо здравого смыслу, не то чтобы верил, что у реки встретит именно того, кого он выдумал, — нет; но молодость, свежие годы, непотраченное чувство предъявляли свои права, и он любил кого-то, кто-то ему дорог был. И вот письмо стало ему заветным уже потому, что оно могло так возмутить его душу. Он ни за что и никому не показал бы его.

Егор Иваныч нетерпеливо ждал означенного часа. Поиски компоста по газетам или какого другого удобрения были неуспешны. Ноты он переписал, увидел, что наврал, и опять стал переписывать. Ожидаемый час крался еле ползущими минутами. Когда наступило время и Егор Иваныч отправился на место свидания, сердце его билось тревожно; он был возбужден, он трусил. Под горой ему встретилась баба и низко-низко поклонилась; Молотов отвечал на поклон со смущением и проводил бабу глазами до тех пор, пока она не скрылась из виду. Он шел все медленнее и медленнее. Приближаясь к мельнице, он увидел женщину в белом кисейном платье, обивавшую концом зонтика цветы. Он рассмотрел Леночку. «Как некстати»,— подумал Молотов, и — вот туманный образ воплотился, форму принял. Чего же смущается Егор Иваныч? или он не к тому приготовлен?

— Здравствуйте, Елена Ильинишна,— сказал он.

— Здравствуйте,— ответила Леночка, стыдливо опустив глаза.

«Она!» — подумал Егор Иваныч и кончил тем, что растерялся. «Елена Ильинишна? — вертелось в его голове, — тут несообразность какая-то, противоречие». Он, оглядываясь по сторонам, все еще не терял надежду увидать другую женщину. Новое для него положение — свидание с девицею, которой он не ожидал, поставило его в тупик... Она молчала, он тоже. Прошли несколько шагов по берегу. Егор Иваныч взглянул на спутницу искоса. Она вздохнула. Молотов чувствовал, что он должен сказать что-нибудь, но не было у него ни одного звука, ничего в голову не шло; он не знал, куда девать свои большие ладони. Он придумывал какое-нибудь слово, был бы рад самой пошлой фразе, а в голове только и было: «Черт же знает, что это я... ведь нехорошо...» Он решил, что напрасно трудится, что ничего не придумает, и махнул рукой: «Пусть себе!.. чем-нибудь да кончится!.. погубила меня проклятая застенчивость!» А Леночка идет, опустивши длинные, прекрасные ресницы. Наконец она сказала:

— Вы очень скоро идете...

— Виноват,— ответил Егор Иваныч...

— Какая сегодня прекрасная погода,— сказала Леночка.

«Нашла же она что сказать!» — подумал Молотов. Но надобно отдать честь и ему. Он поддержал разговор:

— Да, хорошая стоит погода, — и тотчас сделал еще такие слова: — давно уж стоит такая... дождей совсем мало... отличное наступило время.

Молчание. «Нет, — думал Молотов, — я обязан говорить».

— Вы любите природу? — спросил он, а сам про себя подумал: «Однако это с какой стати? Ведь это очень глупо!»

— Люблю.

— Я третьего дня просидел до рассвету, — продолжал Молотов и опять подумал: «Ну, это еще хуже». У него так и шло два разговора — один с Леночкой, другой про себя, как это всегда бывает у застенчивых людей.

— Такой был прекрасный вечер, — прибавил он. «Нет, стоило б меня хорошенько!» — рассуждал он.

Но вот Леночка совершенно оправилась, взглянула открыто и сказала:

— Я сама люблю вечером гулять... Я всегда почти гуляю. Особенно *смерть* люблю воду... У нас всегда речка перед глазами, и я привыкла к ней... Я люблю удить, только червяков гадко брать в руки... впрочем, теперь ничего... привыкла... Вы знаете иву? вон там, — показала рукой Леночка.

— Знаю, — ответил Молотов и вздохнул свободно, потому что надеялся, что Леночка не скоро остановится.

— Там очень хорошо клюет... Там я в третьем году вот какого язя поймала. (Она показала руками.) У нас дяденька гостил. Он очень хороших аглицких крючков привез.

— А мамаша не боится, что вы утонете? — «Очень прилично сказано», — одобрил себя Егор Иваныч.

— Ах, нет; мамаша мне все позволяет. А вы любите удить?

— Никогда не удил, хочу попробовать. Скажите, в чем тут удовольствие?

— Ах, как же, очень весело!

«Дело очень прилично идет, — думал Молотов. — Впрочем, какая она странная, как будто ни в чем не бывало, а я-то?..»

— Очень весело! — повторила Леночка...

Она стала, как бабочка, порхать с предмета на предмет. О письме ни полслова. Оно-то сильно и беспокоило Молотова. «Неужели не намекнет? Что же я тогда стану делать? Однако нельзя сказать, чтобы она была неспособна к решительному шагу... Но что же это за девушка?»

Леночка болтала, прыгала, как козочка; а право, она была премиленькая козочка — гибкая, стройная, черноглазая. Стали они спускаться с берега реки. У мельницы над водой росла береза; под березой была скамейка...

— Сядемте здесь, — предложила Леночка.

Сели. Молотов подумал: «Сейчас намекнет». Он вздохнул.

— О чем вы, Егор Иваныч, вздохнули?

— Так...

— Так никогда не бывает: вы вспомнили кого-нибудь?

— Нет, мне некого вспоминать...

— У вас есть родственники?

— Ни души, Елена Ильинишна...

— Никого?

— Решительно никого. У меня и знакомых очень мало. Я мало кого знаю...

— А друг у вас есть?..

— Есть.

— Хороший?

— Прекрасный человек.

— Как весело иметь друга, — сказала Леночка и задумалась.

«Сейчас о письме намекнет, — подумал Молотов. — Что ж? я скажу ей деликатно...» Дальше мысль не шла. Что он хотел сказать ей деликатно?.. «Все-таки это обидит ее», — докончил он прерванную мысль. Но напрасно он испугался. Слова: «Как весело иметь друга» — были сказаны без задней мысли, так, по ходу речи... Странно было смотреть на молодых людей. Леночка не менее Молотова боялась разговора о письме. Она лишь

только увидала Егора Иваныча, ей страшно стало за свой легкомысленный поступок, который она, кажется, сделала так, спроста, по-птичьи... Любила ли она Молотова? Она не первый раз его видела; он говорит иногда так хорошо, хотя когда он говорит-то хорошо, тогда она его и понимает меньше; он такой добрый; он ей нравится, но предположить в ней серьезное чувство едва ли возможно. Письмо ее было одною из тех эксцентрических выходок, на которые способны иногда наши деревенские барышни и обитательницы Песков, Коломны, Петербургской стороны и других поэтических мест. Они не сробеют, напишут, хотя не думаем, что они по нравственности ниже тех, которые сробеют и не напишут. После они иногда и каются, но уже дело сделано. Так и Леночка теперь сама поняла, что следовало бы надрать ей хорошенькое ее ушко. Когда она увидела Молотова, ей страшно стало и прежде всего пришло в голову: «Боже мой, что я наделала? Что, если он возьмет да и прочитает всем мое письмо? Пропала я!.. Лиза Варакова, Таня Песоцкая, Саша Нечаева... все, все ему знакомы!.. ай, маменька узнает!» Она чуть не плакала и в первую минуту едва не сказала: «Егор Иваныч, не говорите мамаше... я больше не буду». Но увидев, что Молотов едва ли не больше ее струсил, она сказала себе: «Он не страшный, он такой добрый» и рада была, что Молотов не говорит ничего о письме. Теперь она была спокойна...

Егор Иваныч наклонился и сорвал цветок.

— Дайте мне цветок, — сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мне на память.

— Разве нельзя помнить без цветка?

Молотов сорвал другой цветок. Леночка опять:

— Дайте мне цветок.

— И этот на память?

— Дайте же, — сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цветок и ударила им по руке Молотова.

Все это сделалось как-то уж очень наивно. Оба засмеялись. Оба были довольны, что о письме и намека нет. Леночка наклонилась и стала водить зонтиком по земле. С плеча ее скатилась мантилья, ветер шелестил кисейным рукавом; обнажилось белое плечо, на котором, как муха, сидело родимое пятнышко; ротик ее

полуоткрыт; вся она замерла и затихла, как птица на ветке. Молотов и не заметил, как залюбовался ею. В это время Леночка взглянула на него. Он покраснел.

— Что это, Егор Иваныч, вы все молчите?

Молотов вынул часы, посмотрел на них и объявил, что ему пора домой. На желание Леночки посидеть он сказал, что у него есть дело.

— Жаль, — отвечала Леночка. — Посмотрите, какой хороший вечер. Ну, пойдемте.

Они поднялись на берег. Молотов проводил ее несколько. Расставшись, она еще раз крикнула:

— Прощайте!

— Прощайте! — ответил Молотов...

Никакого дела у Егора Иваныча не было. Он просто струсил, когда Леночка заметила его взгляд. «Глупо, глупо, — твердил он, — надо бы узнать!.. Чего я струсил?.. Разве первый раз взглянул я на нее?» Он вспомнил, что и прежде встречались их взгляды. «Но тогда другое дело, — прибавил он, — не те были отношения».

Что же вынес Егор Иваныч из сегодняшнего события? Ничего определенного. Он только уверился, что письмо написала Леночка, и ему казалось, что рассеялись его грезы и иллюзии. Но что такое Леночка? что это за девица? какие должны быть отношения к ней? зачем сходились они там у мельницы? как это так ничего не объяснилось? — всего этого он не понимал. «Неловко же мне было спросить ее, — думал он. — Впрочем, нельзя сказать, что она неспособна к решительному шагу... Но неужели она любит? Разве так любят, как она?.. А я тут что такое?..» Множество вопросов роилось в голове Молотова. Страннее всего со стороны Егора Иваныча спрашивать: «Разве так любят, как она?» В книжке, что ли, он вычитал, или Андрей ему сказал, что любят не так? И почему он знает, как она должна любить? Любовь — это такая книжка, которую всякий сам сочиняет и автор которой всегда оригинален. У него точно была какая-то скрытая мысль, в которой он не хочет сознаться, но которая сама собою слышится за всеми вопросами. Он стал прислушиваться к душе своей и чувствовал в ней тревогу и беспокойство; что-то ходило в нем, дышал он сильнее, сердце его сжималось и расширялось. Он сказал: «Вот теперь самому совестно за нелепую, непростительную застенчивость, из-за кото-

рой все дело осталось неразъясненным. Ведь она бог знает что подумает!» Он вспомнил, что такую же тревогу совести ему случилось ощущать и прежде. Такие же были в душе движения, когда он после ссоры увидел своего друга и, не смея глядеть ему прямо в глаза, сказал: «Полно злиться!» Когда он убедился, что это его совесть мучит, ему стало немного легче; но он долго еще обсуживал интимно-комический факт, предъявленный амуром приволжским, припоминая все мельчайшие штрихи события. Засыпая, он вспомнил, как скатилась мантилья с плеча Леночки, и прошептал с раскаянием: «Стыдно, стыдно!.. ты не должен был оставить дело в таком положении». На другой день Молотов отыскал статью о компосте и ноты переписал. С этого дня начались усиленные занятия по делам Обросимова...

Время летело быстро. Егор Иваныч и не заметил, как прошли две недели. Он постоянно был занят, работал без устали, составлял ведомости, рылся на чердаках в книжном хламе, учился с Володей; кроме того, к нему было несколько особых просьб, которые он охотно и исполнил. Помещик иногда зайдет к нему, спросит, как идут его занятия, скажет, что вот такую-то статью не худо бы окончить, посоветуется с Егором Иванычем и всегда прибавит:

— Много, много дела, Егор Иваныч, совсем сбился с толку... А вы-то что ж не гуляете?

— Нет, я гуляю, — ответит Молотов, только прибавит, что вот такую-то статью ему хочется поскорее кончить.

В воскресенье Обросимовы, и вместе с ними Егор Иваныч, собрались к Аграфене Митревне Илличовой. Она была женщина толстая, сырая, находившаяся в строгом, праотческом законе у покойника мужа и потому немного поглупевшая. Аграфена Митревна рада была видеть в гостях богатого соседа и подняла тяжелую возню на весь дом. Скоро завязалась общая беседа, говорили о погоде, о посевах и всходах, о деревенских новостях. Немного спустя Лизавета Аркадьевна села на своего конька, то есть Жорж-Занда, и поехала на нем. Егор Иваныч слушал внимательно; Обросимов морщился и посматривал неприветливо на дочь, чего, впрочем,



никто не замечал; Леночка половину не понимала; мать ничего не понимала и тяжело дышала.

— Про какую вы это эманципацию говорите? — спросила Леночка. — Ученое что-нибудь?

— Вы не знаете, что такое эманципация? — спросила снисходительно вдова.

— Не знаю, расскажите о ней что-нибудь...

— Видите ли, ныне многие стремятся восстановить права женщины, дать ей воспитание полное, как и мужчине, свободу в выборе мужа, в выборе занятий, участие не только в семейной, но и гражданской жизни, личную независимость; хотят восстановить права женщины, которые не должны быть меньше прав мужчины. Понимаете, это и называется эманципациею.

Вдова говорила, как читала. Отец с беспокойством думал: «О чем говорит с девушкой!.. совсем без такта... это у нас не принято». Леночка задумалась.

— Нет, не понимаю, — ответила Леночка простодушно. — Что это такое, например, значит — свобода в выборе мужа?

Отец с беспокойством повернулся на стуле.

— Очень просто, — говорила вдова поучительным тоном, забывая слова свои, что Леночка не способна к развитию, — очень просто: женщина выбирает мужа себе сама, как мужчина ее выбирает, и тут нет дела ни родственникам, никому. Она сама за себя отвечает...

— Этак иная бог знает кого выберет...

— Уж то ее дело.

— Этого не бывает никогда...

— Да, редко бывает...

— Так, значит, и нет никакой эманципации на свете; это, значит, ученость...

— Что ученость?

— Да вот эманципация... Ведь этого нет, и никто не позволит девице самой выбирать жениха; ну, значит, и неправду вы сказали.

— Браво, крестница, браво! — подхватил Обросимов.

Молотову занимательно было следить за этим забавным спором между двумя женщинами, из которых одна, очевидно, малоразвитая женщина, но от души говорила и верила тому, что говорила; а другая, образованная дама, ломалась, говорила свысока, и сомнительно, чтобы говорила с убеждением...

— Я никогда не понимала учености, — сказала Леночка.

Лизавета Аркадьевна с комическим участием спросила ее:

— Что же вас вооружило против учености?

— Это самая скучная вещь. Стихи я люблю, и то чтоб хорошие были. Я много знаю стихов.

— Какого же поэта больше вы читаете?

— А вот у Лизы Вараковой я недавно достала стишки Пушкина.

— Какие?

— Хотите, прочитаю.

Лизавета Аркадьевна изъявила желание. Леночка сказала: «слушайте» и стала читать: «Как пошел наш воевода вдоль по Клязьме погулять».

«Эх, бедняжка, — подумал Обросимов, — теперь поднимут ее на смех».

— Хорошо? — спросила Леночка, когда кончила чтение.

— Это не Пушкина стихи, — сказала вдова.

— Пушкина, Лизавета Аркадьевна, Пушкина. Мне Лиза Варакова говорила: она уж знает... Ах, вот Лиза Варакова ученость любит! Как начнет говорить: «Жизнь моя стремится... родник души... идеалы...» — просто смех!

— А вот вы читали, Елена Ильинишна, — сказала вдова: — что пляшут сам-друг мужик с бабою и они счастливее воеводы, — это правда?

Леночка задумалась.

— Как же можно, чтобы правда? ведь это стихи! — отвечала она.

Лизавета Аркадьевна засмеялась.

— Так и стихи лгут, как ученость?

— Ах, какие вы, Лизавета Аркадьевна! Зато это стихи, а то ученость. Неужели вы не понимаете? Смотрите, как хорошо выходит: «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть...» — Она прочитала эти стихи с увлечением...

— Это худо? — сказала она. — Я много стихов знаю...

— Это прекрасные стихи, — ответила Лизавета Аркадьевна и потом перешла опять в область разных размышлений. Леночке стало скучно от «учености», и, воспользовавшись первым удобным случаем, она напомнила Егору Иванычу, что он хотел посмотреть ее козу и голубей.

Леночка показала свою любимую козу с голубой лентой на шее, голубей, свои куртины. Потом стали гулять по саду. Молотов не чувствовал особенного стеснения. Он быстро развивался.

— Ведь я правду говорила? — спросила Леночка.

— По крайней мере вы говорили то, что думали, чему верите.

— А она?

— Не знаю, верит ли она тому, что говорит.

— Так зачем же она и говорила?

— Хотела порисоваться.

— То есть хвасталась? Да ведь она не про себя говорила, а так... рассуждала...

— Это тоже хвастовство...

— Как же так?... и не верила?.. ай, как это смешно!..

Леночка, по наивности своей, не знала, что можно вычитать какую-нибудь хорошую мысль; вычитавши, запомнить ее хорошенько и для того даже на бумажку запи-

сать, со всеми красивыми оборотами, и потом сделать из мысли игрушку. Обыкновенное лганье она понимала, но этого не могла себе представить. Ей на минуту пришла в голову Варакова Лиза: «Не так ли, как та?», но нет, у той, бедняжки, действительно «жизнь стремилась» из «родника души» и тому подобное, а эта не верит и говорит; притом правду говорит и не верит. «Ведь смешно выходит», — подумала Леночка.

— Этого не бывает, — сказала она.

— Бывает, Елена Ильинишна...

— Зачем же она говорит?

— Чтобы сказали: вот какая она умная женщина...

— Будто умными называют тех, кто так говорит?

— Да.

— За что же?

— Все умные люди проповедуют то же самое...

— Так правда и то, что она о женихах рассказывала?

— Правда, — отвечал Молотов, невольно улыбаясь...

— Когда же это сделают? скоро?

— Об этом толкуют пока да пишут...

— Ну, и что же?

— Больше ничего, Елена Ильинишна.

Леночка засмеялась и вдруг побежала, крикнувши: «Нагоните!»

Егор Иваныч сразу поймал ее.

— Нет, снова; дайте мне уйти сначала.

— Ну-с.

Молотов опять поймал ее. Он заметно скоро развивался.

— Вы очень скоро бегаете... Хотите, я запрячусь? Отыщите меня.

Молотов согласился. Он ушел в беседку.

— Пора! — закричала Леночка.

Он прямо пошел на голос и отыскал Леночку в густых кустах жимолости.

— Сразу нашли... теперь вы прячьтесь.

Он спрятался.

— Пора! — крикнул Молотов.

Леночка тоже пошла на голос, нагибалась под кусты, посмотрела за дерновым диваном.

— Пора! — раздалось совсем с другого конца сада.

— А!.. вы перепрятались... подождите же!..

Молотов сидел в кусту. Он вдруг почувствовал прикосновение к шее нежной, мягкой руки; он схватил руку и крепко сжал ее в своей большой руке... Леночка хохотала.

— Довольно прятаться... Давайте гулять... Хотите, я еще прочитаю стихи?

— Хочу.

— Пойдемте туда.

Они пошли к забору в тополевую аллею. Аллея разрослась густо, и солнце пробиралось между листьями на черную, прораставшую травой дорожку белыми пятнами. С боков дорожки кустами росла малина, сирень, жимолость, между ними огромная крапива и какая-то жирная трава поднималась от земли. Пела пенка, маленькая желтая птичка, бойкая и шаловливая на свободе и не могущая трех дней прожить в клетке: сейчас стоскуется, нахохлится и умрет. Еще меньшая птичка, гвоздок, порхала по кустам; московки, чижи, пухляки, зяблы — всевозможная мелочь лесная и садовая — надували свои горла и издавали разнообразные писки. Наверху стрижи визжат, воробей туда же путается со своим дрянным голосом... В самой глуши сада стоял дерновый диван, по бокам в черных плешах и с густой, сочной травой на средине. Над диваном полубеседка, оплетенная хмелем. Тысячи мелких звуков, производимых насекомыми, составляли аккомпанемент птичьему хору, какого не создаст ни один художник в мире. Сверчок барабанит, оса жужжит густо, кузнечик отколачивает металлические звуки, тонкой иглой вставил комар свой голос, а наверху с визгом несутся стрижи, а еще выше небо голубое, беспредельное, океан лазури и благодати божьей. Голосистый бабий крик слышен издалека. В воздухе аромат и песня.

— Сядемте, — сказала Леночка. — Ну, слушайте: «Кончен, кончен дальной путь, вижу край родимый». — Она долго читала стихи. Молотов не ее слушал, а другую песню, которая совершалась в природе.

— Хорошо? — спросила Леночка.

— Очень хорошо, — отвечал Молотов.

Леночка смолкла.

«Нет, вот что хорошо, — думал Молотов, — сидеть в такое время в беседке, оплетенной хмелем, да еще хорошо, когда тут же сидит какая-нибудь девушка: все

одно, любит она вас или не любит, лишь бы кротко было выражение лица ее, лишь бы она не хохотала в это время и не сантиментальничала, а сидела бы молча и смирно».

Лицо Леночки было именно кроткое и спокойное. Она угомонилась и сидела теперь сложа руки, не шевелясь, забыла «стихи» и «ученость». Закутавшись в мантилью, она уселась так удобно и ловко, что ей жаль было потерять положение головы, рук, стана, пошевелить ногою, — приютилась, как котенок на солнце, как дитя, которое, положив головку на руку, долго о чем-то задумается.

. . . .

Но вот в душе ее непременно промелькнуло что-нибудь... Лоб ее наморщился, черные брови сошлись вместе, глаза посмотрели как-то нехорошо, и малиновые, как вишни, губки сжались, хорошенькое личико сделалось совсем нехорошо. Она отбросила мантилью, ее локти сверкнули на солнце, и раскрылась красивая шейка.

— Пойдемте, Егор Иваныч, на реку.

— Пойдемте, — согласился Молотов, неохотно оставляя диван.

Они отправились на реку. Пришли.

— Нет, здесь страшно, всякий год тонут; пойдемте вон туда, на горку.

Пришли на горку.

— Нет, опять пойдемте в сад; я устала.

«Что это с нею?» — подумал Молотов.

Когда они пришли и уселись под хмелем, Леночка совсем переменилась: скучная такая, усталая, а в хорошенькие черненькие, как угольки, глазки, опущенные вниз, просто не смотрел бы: так там нехорошо, точно зависть оттуда выглядывает. Брови еще ближе сошлись; нижняя губка выдвинулась вперед. Смотрит Егор Иваныч и недоумевает. Вздохнула Леночка так глубоко, так серьезно. «Боже мой, что же это с нею?.. ай, как она постарела!» — Молотову стало жаль Леночки.

— Что за перемена с вами, Елена Ильинишна? — спросил он.

— Никакой перемены нет, — отвечала она.

— Вы такая печальная, — говорил Молотов с участием.

— Скучно мне.

— Чего же вам скучно?

— Не знаю, — ответила Леночка.

У ней стали навертываться слезы.

Егор Иваныч не знал, что делать. Ему неловко было видеть девушкины слезы, как-то совестно. Он боялся оскорбить ее нескромными вопросами.

— Отчего же? — спросил он с замешательством.

— Я думаю, оттого, что жизнь моя худая...

Молотов посмотрел с удивлением на эту бойкую, розовую, кисейную девушку.

— И живешь здесь!.. ну что здесь?.. особенно зимой... снегом занесет... волки воют... никого нету... одна маменька... Какое это житье?

— Зачем же летом зиму вспоминать, Елена Ильинишна?

— Ах, Егор Иваныч, как иногда невесело бывает!.. отчего это?

Молотов думал: «Ну, что я скажу?.. чего ей?.. право, какая она!»

— Я думаю, оттого, что так я росла... Что я видела? Ничего не видела... Хоть бы брат был у меня хороший... Сестра замужем и уехала...

— Ведь у вас есть брат? — спросил Молотов.

— Бог с ним, с этим братом... Отчего это братья не любят сестер своих? И другие подруги тоже жалуются.

— А вас брат не любил?

— Нет... Мы, бывало, у него не говорим, а дребезжим все... Всегда, бывало, с насмешкой, все назло... Маленькие росли, только и помню, что бил, да ломал все, да ябедничал, а отец был такой угрюмый, строгий, всегда за старших... Что-нибудь сделает худое, да на меня же и нажалуется... Прозвищ всяких надавал... Не мог азбуки выучить без колотушек... Теперь ему же маменька посылает деньги; разве это хорошо? Мужчина должен сам деньги доставать, а сестрам где взять?

Леночка помолчала.

— Была одна знакомая, — продолжала она, — стала учить по-французски, так братец же отбил охоту, коверкает нарочно слова, и сестрица тоже хохочет. Ну, вот и житье!.. А строгость какая!.. всем воля, всем праздник, лишь мы никуда... У папеньки и не заикайся выехать куда-нибудь... и на маменьку прикрикнет... как можно, в самом деле?.. Разве так получают образование?.. Все

сама... потихоньку и манерам выучилась, и танцевать, и моду перенимать...

— У вашего отца, я слышал, было большое состояние?

— Давно прожили, я еще маленькая была... Тогда папенька стал богу все молиться... Станет какую-нибудь спасительную книгу читать, наставления делать, а потом бранить нас... просто тоска!.. Что мне богу молиться? я гулять хотела!.. Чем я хуже других?.. Говорят, Таня Песоцкая и умная, и хорошая, и все, — ничего нет хорошего, а вот одевается хорошо, потому что богата...

«Что же это за Леночка? — размышлял с недоумением Молотов. — Сначала я думал, что она хорошенькая, наивная, бойкая провинциалка, которой ничего не стоит назначить свидание с мужчиной, которое, разумеется, ни к чему не поведет, говорить разную наивную дребедень, играть в прятки, словом: делать тысячу детских шалостей. А теперь? Ее одолевает скука жизни, ей не сойтись с подругами, ей хотелось бы... хоть брата хорошего... Кстати, сколько ей лет?» Молотов не мог определить года Леночки: «восьмнадцать ей или двадцать?»

Между тем Леночка продолжала жаловаться, и всего неожиданнее было, когда она перешла опять к брату и сказала:

— Ведь он хороший был... всем здесь девицам понравился... ловкий какой! смешил как!.. только как сестра ни любит брата, он не полюбит сестру.

Леночка замолчала.

— Что вам на это сказать? не поминайте старого — бог с ним... Можно еще поправить дело...

Леночка взглянула на него при этих словах.

— Читайте, учитесь, — продолжал Молотов и вдруг остановился, вспомнив, что юноши наши всегда предлагают это универсальное лекарство от всех дамских болезней.

— Я неспособная, — отвечала Леночка.

— Это неправда; вы так же способны, как и другие девицы.

— Знаете что, Егор Иваныч, одна цыганка мне предсказала, что я не буду счастлива... Ах, Егор Иваныч, как ее высекли тогда! и из деревни папенька велел выгнать ее. Я тогда еще маленькая была.

— Что ж, вы верите?

— Иногда и правда выходит. Та же цыганка предсказала, что моя сестра будет за офицером, — так и вышло.

— Но ведь ту же цыганку высекли, а она не могла это узнать...

— Да... — протяжно сказала Леночка: — а все же страшно. Зачем бы ей говорить, что вот бог тебе счастья не даст?

— Со злости.

— Ей не на что было сердиться.

— Этого нельзя знать, Елена Ильинишна.

— Ай, какая я странная! — вдруг сказала Леночка.— Зачем это я все говорила?.. Вы, Егор Иваныч, не будете смеяться?

— В ваших словах ничего не было смешного. Вы видели, как я вас слушал.

— Вам как будто удивительно было? Как я — не говорят девицы...

Молотов немного покраснел. Он действительно не без удивления слушал Леночку. Но у Егора Иваныча было много добродушия. Он верил, что человек редко бывает виноват в недостатках своих, что его портят воспитание и другие условия жизни; он давал громадное значение внешним обстоятельствам, верил, что в самой темной душе бывает искра божия, которая, лишь только подует благотворный ветер, может разгореться прекрасным пламенем. «Чужая душа — потемки» — это была одна из любимых его поговорок. Поэтому он не решался осудить Леночку, не думал и смеяться над ней; ее странная откровенность возбуждала его жалость. Может быть, тут действовала и еще какая-нибудь причина. Чего не случается на свете? Кто ж ее знает! Может, ей, и в самом деле, трудно было на душе, напала тоска, захотелось высказаться, — вот и явилась неожиданная исповедь. Она быть может, сама себе бы рассказала, первому воробью стала бы жаловаться, цветку, кусту сирени. Да, бывают в жизни человека редкие моменты, когда возникает в душе жажда откровенности и речей, хотя после часто и стыдно бывает, особенно когда догадаетесь, что вас слушали без сочувствия. «Эк меня разносило! — думается увлекшемуся человеку. — Опять, опять не утерпел!.. Зачем было высказываться до таких подробностей? К чему эти вопли, которые не нормальное же мое состоя-

ние? Разве первый раз ощутил я прилив этих чувств? Надобно смотреть на других: все спокойны, не увидишь одушевленного лица — все, как доска, без выражения, не услышишь сильно поднятой ноты в голосе. Мало ли что вчера было больно, нестерпимо, кричать хотелось, а сегодня больно от неумеренного крику». Но напрасно человек заклинает горячее слово и откровенную беседу; когда созреет вопль душевный, радостный или печальный, опять явится откровенность, потому что это закон физиологический и психический, это закон природы. Есть какой-то хмель в откровенности; она одуряет и увлекает; и как рад человек, когда найдет другого человека и когда он, оглядевшись, уверится, что над его мыслью никто не стоит, запрет двери — и тут-то польются речи рекой, и тогда именно можно заговориться до охмеления. Поговорить хоть, если нельзя делать; хоть потихоньку, если нельзя вслух. Кто не испытывал этого блаженства речи?.. Вот и Леночка высказала жалобу, назревшую в душе ее: она не могла не говорить в данную минуту; хотела бы, да не могла. Каковы ее жалобы, то другой вопрос. Молотов не знал, что отвечать на Леночкины слова: «Вы не станете смеяться, Егор Иваныч?» Он чувствовал, что Леночка с болезненным напряжением ожидала ответа, что она боится за свою откровенность, и потому он отвечал с одушевлением:

— Уверяю вас, Елена Ильинишна, что ничего нет смешного в ваших словах... напротив...

— Что напротив?.. вам жалко было?

Молотов отвернулся в сторону, — так ему неловко было от подобного вопроса. «Неужели же сказать: жалко было?» — думал он. Егор Иваныч ощутил острое чувство, легко понятное для человека, который не любит, когда при нем режут пробку, скрипят дверью или водят гвоздем по стеклу.

— Вы только никому не рассказывайте, — просила Леночка.

— Помилуйте, я это понимаю.

— Вы добрый, Егор Иваныч... право... А я все-таки странная... чудачка... Ну, да ничего... вы никому не скажете.

Потом Леночка попросила у Молотова стихов Пушкина, которые он и обещал прислать ей. И Леночка совсем повеселела. Они отправились домой. Егор Иваныч

думал, что давно пора. Он боялся, чтобы не обратили внимания на их долгое отсутствие. Но Обросимов с дочерью пошли прогуляться по деревне и не позвали молодых людей; мать же Леночки и не подумала о них. У нас на долю иных девушек выпадает удивительно широкая свобода — что́ хотят, делают. У иных очень умны матери, а у иных очень глупы. Мать Леночки была забита мужем, приучена к подчинению чужой воле, и когда Леночка стала подрастать, Аграфена Митревна подпала ее влиянию.

Так и завязывались отношения между молодыми людьми. Впрочем, они еще не определились, хотя и можно заметить, что Молотов был более страдательным лицом. Что это значит? бесхарактерность его? Он всему как-то странно подчиняется. Вот и Леночка — во всем указывала дорогу. Она первая написала письмо, первая руку пожала, первая пустилась в откровенности и едва не слезы, да и во всем она как-то умела указать череду. Она била его цветами, едва не обняла, когда отыскала в кусту, кричала ему «пора» и его заставляла кричать «пора». Какой-то узелок завязывался в их отношениях. Характер Леночки несколько определился, а Молотов до сих пор стоит какой-то молчаливой фигурой. Мы до сих пор видели только, как он работает. Чем-то он скажется?

Время летело так быстро, как оно может лететь только в молодые годы. С каждым днем Егор Иваныч занимался усерднее, потому что с каждым днем прибавлялась срочная работа. Он по-прежнему беззаботен и юношески счастлив, по-прежнему верит в себя и ближних. Нам, старикам, досадно бывает видеть эту беспечность и веру юности. Нетрудно разочарование для того, кто смолоду ознакомился со злом, да и какое очарование для того, кто семилетним ребенком на грош не верил своему товарищу, что его надуют или сделают какую-нибудь пакость? Такой человек ходит всегда осторожно. Но вот такие люди, как Егор Иваныч, долго и упорно сохраняют розовый взгляд на мир божий. Правда, и он знает, что зла очень много в мире и очень много подлых людей. Но спросите же его, откуда это он узнал, — «слышал, читал», — ответит он вам. — Где подлые люди? — Они представлялись ему «там», в «мире», в «све-

те». И ходил он, не глядя под ноги, не всматриваясь в окружающие его лица, не написана ль на них подлость. Неужели он долго еще не разочаруется, долго сохранит этот ясный, спокойный взгляд, который так досаден нам, старикам? Мы согласны, что юношеское неведение завлекательнее нашего старческого знания; но все-таки старческое знание лучше юношеского неведения. Да извинит читатель старика, который не мог посмотреть на юношу без зависти!

Воскресенье. Молотов свободен сегодня. Все дозревало в саду Обросимова, как и во всех садах приволжских. Громадные, в кулак величиною, яблоки гнули ветви дерев; малина в полном соку, а вишня уже перезрела; тяжелые кисти красной смородины висят до земли. Легкий ветер приподнимет аромат в саду, в чистом и прозрачном воздухе, и ходит в огромной некошеной траве, ходит вольно и скромно. Ровные, степенные звуки в природе, птицы поют не весенними голосами. Хорошо в такую погоду забраться в малину и полной рукой обирать крупные ягоды. Знаете ли вы то счастье, то довольство собою и всем миром, которое вытекает чисто из физических причин? Непременно знаете, если вы здоровый человек. Молотов наслаждался этим физическим счастьем. Он недавно выкупался; грудь дышит свободно; охладевшее тело согревается теплым солнцем, щеки его пылают здоровьем, в теле легко переливается молодая, неиспорченная кровь. Он силен в настоящую минуту, что угодно поднимет; но это спокойная, сосредоточенная в себе сила. Он оперся о сук яблони, и суставы у него хрустнули в пальцах. Ветер приподнял воротнички его рубашки и пробрался за пазуху. Стриж резнул своим пронзительным голосом над самой головой его, оставив звук жести в воздухе, так что он поневоле закрыл ухо. Недозрелое яблоко, падая, ударило его по плечу. Он взял яблоко, насадил его на хлыст и, потешаясь, как мальчик, запустил его под облака. «Какая вкусная малина! — думает он. — Однако довольно». Но солнце так приветливо играет в пунцовом золоте одной ягоды, что сама рука протянулась к ней, а другая еще привлекательнее смотрит из-под зеленого листа, а третья еще соблазнительнее... и он эпикурейски роскошествует... Но вот его рука остановилась на полдороге к ягоде, взор его неподвижен, вся фигура не колыхнется.

Увидал он что-нибудь? Ничего не увидал, а просто в полусонном, в полубодрственном состоянии замер, вдыхая легко и ровно воздух. О чем же он задумался? Ни о чем не задумался, или, по крайней мере, самые незаметные, мимолетные, мелкие и легкие впечатления проходят по душе. Это самые простые, едва не животные отношения к природе. Так неподвижно иногда висит ветка в воздухе, так ребенок задумчиво смотрит на огонь, так пруд стоит, не колыхнется при вечернем освещении солнца. Мысль его замерла, ушла в глубь души. Ему хорошо, и черная зависть и злость тревожат мое старческое сердце, никогда не видавшее таких безмятежных дней. Вот мягкий ветер пахнул ему в лицо и повел бархатом по щеке. Пенка обратила его внимание, а рука, остановившаяся в воздухе, подносит ягоду к устам. В это время в калитке мелькнуло кисейное платьице.

— Елена Ильинишна! — проговорил Молотов.

— Здравствуйте! — отвечала Леночка.

— Вы одни?

— С маменькой... Что вы так пристально на меня смотрите?

Молотов покраснел.

— Говорите же...

— Да ничего... так... мало ли...

В их обращении заметно что-то новое. Они как будто стыдятся друг друга. Леночка, начавшая разговор, притихла и смолкла. Был шестой час вечера. Они отправились в одну из беседок сада...

. . . .

Позвольте рассказать небольшую историю о стриже. По малиновой аллее бежал Володя с новым прутом в руках. Мимо самого носа его пролетел стриж. Володя побежал на другую беседку, огляделся, взлез на крышу и стал бросать в воздух перья и пух. Стрижи хватали их на лету. У Володи явилось страстное желание поймать стрижа, этого мошенника, который не боится ни ястреба, ни человека, который так досадно смел, что летит едва не между ног ваших, летит стрелой по улице и полю, вьется с трепетом и криком на реке перед погодой.

— Подожди же, я тебя поймаю, — разговаривал Володя с птицей, а птица, как назло, летит мимо его.

— Хорошо! — говорит Володя.

Шевельнулась береза над его головой, закачались ветви, зашептали листья.

— А ты чего трясешь листьями?.. Тебе что смешно? Посмейся, когда я поймаю его!

Володя со всеми перессорился... Потом он, приложив палец ко рту, немного подумал и сказал:

— А!.. подожди же!

Он бежит по малиновой аллее к Егору Иванычу. «Егор Иваныч все знает; он поймает стрижа». Но что́ поразило его, когда он добежал до другой беседки? отчего он остановился у полуотворенной двери?

— Целуется кто-то? — проговорил он в раздумье. — Ах, какой я чудак! — прибавил он сейчас же. — Это мне послышалось.

И Володя резво вбежал в беседку.

Егор Иваныч сказал, что он не знает, как поймать стрижа, он обещал подумать. Тем и кончилась эта маленькая история.

Молотов и Леночка вышли из беседки. Молотов смотрел в землю, точно совесть у него нечиста. Леночка смотрела в сторону, изредка бросая косвенные взгляды на своего спутника. Глаза ее горели, они еще чернее стали, глубже и в то же время острее. Вы догадываетесь, куда они пошли? К мельнице. Леночка была тиха и застенчива.

Шли молча и скоро. Егор Иваныч не мог оторвать своего взгляда от земли. Но Леночка оправилась несколько; раз, другой взглянула прямо на Молотова, почти повисла на его руке и так близко наклонилась к его плечу, что жар ее щеки охватил его лицо.

— Очень скоро, — прошептала Леночка.

Молотов еще ниже наклонился, точно каждое слово Леночки имело особую силу, садилось на его спину и гнуло ее.

— Теперь очень тихо, — сказала она.

В душе Егора Иваныча совершалось небывалое, никогда им не испытанное. Он со страхом прислушивался к трепещущему своему сердцу. Леночка нежно смотрела на Молотова, а его душа ныла от тоски; что-то неопределенное, смутное, но тяжелое беспокоило его. Нехорошие мысли появлялись в голове. То краска выступала на лицо, то в глазах светилась грусть, а в то же время в крови жар, в голове туман; прохладный воздух

душен для него. Пришли, сели... Сидит он молча, уйти ему не хочется, хотя он, долго не думая, и порывается соскочить и броситься бежать, но... хочется сидеть тут, взглядывать на Леночку, слушать шорох ее платья, ощущать жар близкой к лицу ее горячей щечки. Сердце расширяется, и тоскливое чувство, сухое и неласковое, переходит в робкое предчувствие еще незнаемого существования, в ожидание событий душевных, которых он никогда не знал и не понимал. На лице его было написано: «Что́ со мной будет? случиться что-то хочет». Полумысли нехорошие, которые бог весть откуда выходили, из совести иль рассудка, — пропадают. Все становится просто и понятно: и плеск реки, и киванье ивы, и долгий вздох Леночки, и птичья песня. Но вдруг он спрашивает себя: «Что́ я делаю?»

— Егор Иваныч, — шепчет Леночка.

Молотова лицо серьезно. Он обдумал решительный шаг. Он хочет встать...

Леночка положила голову на его плечо... Молотов вздрогнул и закрыл лицо руками... Леночка смотрела своими чудными глазами в голубое небо задумчиво, мирно, кротко. Какая тихая, прекрасная жизнь горела в глазах ее.

— Я в монастырь пойду, Егор Иваныч.

— Зачем?

— Спасаться буду...

— Что за мысли, Елена Ильинишна?..

Егор Иваныч молчал, тоскливо глядя в воздух. Леночка то ляжет ему на плечо, то опять приподнимет голову; разбирает его волосы; одна рука ее лежит в его руке; вздохнет, прищурится и опять откроет свои блестящие глаза. Вот щека ее так близко к щеке Молотова... Егор Иваныч взглянул ей в лицо, взоры их встретились, и — не знаем, кто из них кого поцеловал: губы их слились... У Егора Иваныча голова кружилась, в груди точно молоты стучат... Ветер отпахнул кисейный рукав Леночки и покрыл лицо Молотова...

— Люби меня, Егорушка, — прошептала Леночка.

Молотов молчал.

— Хоть не навсегда, хоть немного.

Молотов молчал.

Леночка поцеловала его в лоб.

Молотов ни слова.

И пели птицы тихие песни. Река в крутых берегах поднимала грудь свою; винтом прошел луч солнца до самого дна реки; летит мошка над водой; кузнечик трепещет в осоке; толпы комаров венчают свадьбу; по траве прошел мягкий ветер и стыдливо прокрался в сочные волны ее; горит медный крест колокольни... И поют легкие птицы тихие песни, и радуется мое оскопленное, старческое сердце, глядя на счастье молодых людей... Чужая любовь расшевелила его. Играйте, дети, играйте!.. Мы, старые люди, будем любоваться на вас...

Егор Иваныч встал. Лицо его озабочено. Он прислушивался к чему-то. На берегу показался Володя.

— Егор Иваныч, вас папа просит к себе.

Молотов и Леночка пошли назад...

— Егор Иваныч, — спросил Володя.

— Что вам угодно?

— Сделайте дудочку.

— Пожалуйте, сделаю дудочку.

Леночка с Аграфеной Митревной отправились домой. Все семейство Обросимовых было в кабинете, куда пригласили и Молотова.

— Вам завтра ехать в город, Егор Иваныч, — объявил помещик...

— Хорошо-с, — ответил Молотов; но первый раз в его всегда покорном «хорошо-с» слышалась досада, которой, впрочем, никто не заметил.

— Кстати, Егор Иваныч, будьте так обязательны, не завезете ли письмо к Казаковой; к ней в сторону не больше четырех верст...

— Хорошо-с, — ответил Молотов.

— Мамаша, пусть Егор Иваныч купит барабан; вы давно обещались.

— Хорошо-с, — ответил Молотов.

— Кстати, захватите фунта три табаку.

— Хорошо-с.

— Заверните на почту, нет ли писем?

— Хорошо-с.

— Не можете ли узнать, почем ходят сукна?

— Хорошо-с.

— Вы бы записали, а то забудете что-нибудь...

— Я запишу-с.

Молотов раскланялся и вышел. «Черт знает что такое! — думал он. — На шею, что ли, хотят сесть? Не все

же хорошо-с!.. Конца нет разным претензиям». Но Молотову скоро совестно стало от своих мыслей. На него не смотрели как на наемщика; к нему обращаются, не стесняясь, не думая, что у него есть задние мысли. Ему надобно и самому купить кое-что в городе; он ожидал письма от Негодящева. Он обязан ехать в город. Главное же то, что он любит Обросимовых, и если у него явилась досада, так будто мы не досадуем на того, кого любим?

Так наконец дошло и до того, что Егор Иваныч любит Леночку? Она положила на широкое плечо Молотова свою милую головку с роскошной косой, с черными, страстными глазами, вишневыми устами и розовыми, горящими ярким румянцем щечками... Он любит?.. Ему не заснуть сегодня спокойно, не усидеть дома. Он гуляет ночью, и, значит, по всем признакам, он любит. Прощальный поцелуй горел на его щеке... Он ощущает силу в сердце, полноту в теле... Вот он остановился у реки и смотрит в ее тихую воду; забылся совершенно, прислушиваясь к голосу какой-то ночной птицы. «Завтра в город поеду, — думает он, — нет ли письма от Негодящева?» Сел на берег и напевает что-то; бросил камень в воду и прислушался чутко к падению его и всплеску реки... Опять поцелуй загорел на его щеке; но вдруг сердце сжалось, он со страхом огляделся вокруг, но ничего не увидал среди темной ночи. Егор Иваныч быстро встал и крупными шагами пошел к дому. Новые мысли заходили в голове. «Это слишком, это слишком! — прошептал он. — Боже мой! к чему же все это поведет?» Поцелуи не горели на его щеках. «Что я тут за роль играю?» Егор Иваныч, наклонивши голову, шел быстро. Если бы не ночь, можно бы рассмотреть сильное волнение во всей его фигуре. «Ведь это значит», — начал он вслух и не договорил, что «это значит», а неожиданно как вкопанный остановился на дороге. Егор Иваныч вслух говорит. Есть люди с сильно развитым воображением, имеющие привычку разговаривать с самими собою: они остаются до старости детьми, играющими вслух. Егор Иваныч не по той причине заговорил: по всем признакам, он любит... «Боже мой!» — прошептал он и двинулся большими шагами. Долго шагал он. Но вот... Молотов идет тише, дыхание ровнее, он видит что-то в воздухе, ноздри дышат широко, раскрываются губы, и он

целует воздух... Но, черт возьми, зачем это лезут в голову думы, смущающие мысли? Зачем припоминается та страстная ночь, фантастическая ночь, когда он слышал плач и смех своей «по гроб верной и любящей» девы? Зачем старый образ тревожит душу? Иль он не старый, не пережитый, не забытый еще? «Эва, ученость-то!» — в ухе сам собою возникает этот раздражающий нервы звук, дразнит его, и сердит, и тревожит совесть. Он хватается за голову руками, а в голове жар от прилившей крови. «Неужели так любят? — раздумывает он. — Так ли?» — разводит руками и шагает сердито. «Говорят, кто любит, не стыдится своей любви... правда ли это?.. может быть, и все так?» Беспокойные, требующие ответа мысли не отстают от него. «Ведь это не шутка, серьезное дело!» Так, волнуясь, он дошел до дому, вошел в комнату. Он зажег свечу и сел к окну. Мрак ночной увеличивался от комнатного света. Он долго смотрел в открытое окно: темно, ничего не видать; лишь слышно, как шепчутся листья и скрипит калитка. Он засмеялся вдруг... хорош ли его смех? Трудно разглядеть предметы... Навесившиеся березы чрез забор кажутся гигантами, качают головой, наклоняются, приседают. Бездна мрачного воздуху... Из птиц одна только болотная птица кряхтит своим нехорошим голосом... В церкви ударило одиннадцать; дробью забили вдали караульные... Не видно, но слышно, как волна идет по пашне. Но что это за крик несется с улицы? То мчится пьяный детина от кума; мчится он, стоя торчмя на телеге; намотал он толстую веревку на руку и дует со всего размаху по хребтам лошадиным. Кони, одурев, несутся, а пьяный детина только ухает, стонет да свистит. «Эх вы, распроклятые!.. ну!» — и слышно, как влепилась веревка в спину лошадиную... Опять все стихло... «Что, если заметил кто-нибудь? — думает Молотов, — ведь нетрудно было заметить», и он опять начинает волноваться... Петухи запели... Лениво помолился Молотов на икону и бросился в постель.

Молотов вернулся из города с множеством покупок и писем, но в этих письмах ни одного не было к нему. Друг его Негодящев не писал. Были письма к Обросимову, его дочери, даже Володе писали поклоны от

других детей и сообщали ему интересные для него новости... Все бросились с жадностью к куче писем. Молотову стало грустно, что́ с ним редко случалось. Ему завидно было, зачем нет у него матери, сестры, досадно, зачем Негодящев ничего не пишет. «Неужели он забыл меня? Вот уже вторая почта, и ни строки от него». Молотов, отделавшись от вопросов, которыми закидали его, пошел в свою комнату, достал из шкатулки небольшую пачку писем и стал перебирать их — некоторые читал. «Что старые письма читать? — проговорил он. — Экой какой, ничего не написал». Чувство одиночества охватило его душу. Ничего не было у него ни за собой, ни пред собой... ни родственников, ни покровителей, не было угла своего, он — скиталец, вольнонаемный работник. «Обросимов — добрый человек? Но все-таки чужой!..» К скуке присоединилась физическая усталость. Он был в дурном расположении духа и сидел как в воду опущенный, перебирая старые письма. «Может быть, и дружбе конец? — подумал Молотов. — Такие ли друзья расставались? Может быть, он не хочет поддерживать старых отношений?» Но вот ему попался на глаза документ, на котором значилось: «по гроб верная и любящая». — «И забыл совсем!» — сказал он и с досадой спрятал шкатулку. Он пошел в сад. В природе все было кротко и тихо, а на душе Молотова досада, скука, утомление и чувство одиночества — состояние ненормальное для его натуры, редкое и потому особенно тяжелое.

«Кто это произнес мое имя?» — подумал Егор Иваныч. Он подошел к беседке. Ясно слышался разговор между Обросимовым и его женою.

— Это клад достался нам, — говорил Аркадий Иваныч.

— Признаться, я не совсем понимаю его, — ответила жена.

— Что же?

— Что ни заставь, все сделает...

— Это умнейший молодой человек, — ответил муж, — я все думаю, как бы приурочить его к нашему гнезду. Я бы и за жалованьем не постоял, но сама ты знаешь, какие у меня теперь расходы.

— Ах, душенька, поверь, он сам рад, что попал в нашу семью... сколько раз он об этом говорил! Этим

людям кусок хлеба дай, и они что́ хочешь будут делать.

— Что делать!.. бедность! — сказал со вздохом Аркадий Иваныч.

Аркадий Иваныч оставался верен себе: он всегда и всех защищал и оправдывал.

— Нет, не то, — сказала жена, — ты согласись, что у них нет этого дворянского гонору... манер нет...

— Что ж делать, мать моя! порода много значит.

— Они, я говорю, образованный народ, — продолжала жена, — но все-таки народ чернорабочий, и всё как будто подачки ждут...

— Что же? можно сделать ему подарок какой-нибудь. Он стоит того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжет его... А что ни говори, жена, — эти плебеи, так или иначе пробивающие себе дорогу, вот сколько я ни встречал их, удивительно дельный и умный народ... Семинаристы, мещане, весь этот мелкий люд — всегда способные, ловкие господа.

— Ах, душенька, все голодные люди умные... Ты дворянин, тебе не нужно было правдой и неправдой насущный хлеб добывать; а этот народец из всего должен



выжимать копейку. И посмотри, как он ест много. Нам, разумеется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетит обнаруживает в нем плебея, человека, воспитанного в черном теле и не видавшего порядочного блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландского полотна, а то, представь себе, по будням манишки носит — ведь неприлично!..

— Я не замечал этого...

— Где ж вам, мужчинам, заметить...

— О, бедность, бедность! — сказал со вздохом Обросимов.

— Мне кажется, душенька, ты очень много доверяешься ему...

— Помилуй, жена, я не так прост, как ты думаешь. Нынче очень много развелось скромных людей с удивительно хорошей репутацией, которые, кажется, воды не замутят; но этих-то людей и надобно остерегаться. Скромные люди ныне в большом ходу, дослуживаются до чинов, наживают именья и дома строят. Что ж? я ему желаю всякого добра... но надо быть осторожным да и осторожным. Выглядит такой невинной девушкой, а сам все видит, ничего не уйдет от его глаз. Вначале я говорил ему, чтобы он не очень хлопотал — деликатность того требует; а он точно не понял, в чем дело. Правда, займется неделю хорошо, а там, глядишь, день, другой, третий разгуливает. Я ему стороною стал намекать, что не худо бы вот эту или эту статью поскорее кончить, — догадался наконец и сел поплотнее... Или, думаю, зачем он на фабрику так часто ходит? что же? — «Я, говорит, займусь на фабрике с годик, так и сам, пожалуй, управлюсь с ней». Догадайся, к чему это сказано?

— К чему же?

— Это он в управляющие метит...

— Будто?

— Честное слово!.. Он знает, что я управляющим недоволен; но тот украдет какие-нибудь пустяки — у меня много не украдешь... но зато свое дело знает.

Егор Иваныч не мог более слушать. Он опрометью бросился прочь от беседки, боясь, что заметят его. Разговор между тем продолжался...

— Впрочем, по моему понятию, Егор Иваныч очень порядочный человек... Терпеть не могу этих свистунов,

которые ничего не делают, а только проповедуют разные идеи... Оно хорошо, да ты сначала сделай, а потом уж говори... Россия нуждается в работниках. Зачем же правительство дает им образование? Уж, разумеется, не затем, чтобы из них выходили просвещенные проповедники. И такие скромные, как Егор Иваныч, люди для меня лучше свистунов и крикунов, которые ничего не делают.

Зачем же убежал Егор Иваныч? его хвалили ведь? Между тем Аркадий Иваныч развивал свои идеи.

— У нас только дворяне, изредка поповичи да дети чиновников получают сносное образование. Массы коснеют в неисходном невежестве. Нам не пять, а двадцать надобно университетов. Тогда, если и понадобится дельный и образованный человек, его нетрудно будет найти; а то теперь все, что выходит из университетов, поглощается министерствами и губернскими правлениями. Запросу на ученых много, а продукта этого мало, оттого он и дорог. Посмотрите в других государствах — в Германии, например. Геттингенского университета кандидат сапоги шьет, табаком торгует. Там на самое последнее место является множество ученых претендентов... А у нас? терпеть не могу этого самохвальства: «Мы русские, шапками закидаем и немцев, и англичан, и французов!», а на деле дрянь выходит. Скажи же эти простые истины нашим помещикам, куда тебе! — либерал, вольтерьянец!..

— Отчего же, душенька, наш народ так невежествен?

— А правительство должно заботиться.

— Тише, Аркадий Иваныч, кто-нибудь услышит.

— Никто не услышит... Сам народ никогда не поймет той пользы, которую принесет ему наука; от грамоты открещивается и отплевывается. Правительство должно построить университеты, гимназии, училища, школы и насильно гнать туда народ. Всех, кто научился читать, можно освободить от телесного наказания. В Германии, например, не знаешь грамоты, тебе и причастия не дадут.

— Ты, Аркаша, не высказывай этих идей...

— Стану я в пустыне проповедовать... Вот хоть Егор Иваныч — дельный человек, куда хочешь его употреби; а откройся место, сейчас в чиновники уйдет. Будь же

у нас просвещение сильнее, таких Егоров Иванычей явились бы тысячи. У нас бы каждая деревня имела своего учителя, врача, издавала бы каждая деревня свою газету. А теперь? нет людей, нигде нету, оттого они и дороги.

Значит, мы не ошиблись, когда сказали, что не наш национальный экономический закон существовал в отношениях Молотова и Обросимова. В основании этих отношений лежал принцип просвещенного человека, и, что всего удивительнее, этот принцип существовал уже лет четырнадцать назад, а разные обличители кричат, что мы спали все это время... нет, мы принципы вырабатывали, которые теперь во многих местах нашли уже практическое приложение. Многие гораздо ранее Севастопольской войны понимали, что образование нам необходимо, что тогда дешевле будут люди, и многие тогда уже из просвещенных видов отдавали *своих людей* в науку и дома устраивали школы. Усильте просвещение, ученых будет много, — оттого они сдешевеют, придут к нам просить работы и за дешевую цену будут делать отлично дело. Словом, нам будет выгоднее. И выходит, что Аркадий Иваныч был передовой человек... После доброй беседы всегда посещает душу и чувство доброе.

— Отчего это, жена, мы не целуемся давно? — спросил передовой человек.

— Стары стали...

— Будто старикам запрещено целоваться...

Раздался поцелуй в той самой беседке, по поводу которой мы рассказали небольшую историю о стриже.

— Господи, как время-то идет, — говорил Аркадий Иваныч, — двадцать семь лет прошло после свадьбы, а ты и теперь еще недурна.

Раздался снова поцелуй... Только два поцелуя и было. Обросимовы отправились домой.

Егор Иваныч однажды думал: «Отчего это здесь, в Обросимовке, хорошо так, легко живется?» Между прочими причинами отыскалась и такая: «Весело смотреть, как все счастливы здесь, а счастье заразительно». Как же он должен быть счастлив, когда двадцать семь лет спустя после свадьбы здесь раздался нежный поцелуй?

Всю душу его поворотило.

«Плебей?.. нищий?... дворянского гонору нет?.. а я, дурак, думал, что они меня любят и доверяют мне... Черти, черти! они мне подачку готовят!.. Вот как они смотрят на меня! хорошо же!..»

А что «хорошо же»? Первая мысль, которая пришла ему в голову, это оставить дом Обросимова; вторая, что он издержался в городе и у него не много осталось денег. Думал, думал он, и конца не было тяжелым думам. Он дошел наконец до того, что сказал: «Ну, бог с вами!.. не нужны вы мне!», а потом не вытерпел и сряду же обругался: «Негодяи, аристократишки, бары-кулаки!» Припомнились ему думы в какой-то прекрасный вечер: «Жизнь Обросимова — это жизнь человека образованного, но не поломанного, жизнь под теми же липами, под которыми он родился и где протекло его детство». Теперь он смеялся над своими старыми мыслями. Шевельнулись неведомые до сих пор вопросы; они смутно пробивались: «Куда лежит моя дорога? кому я нужен на свете?.. один, один!.. и с Андреем, кажется, покончено?.. Но куда бы то ни было, а уйду отсюда». Очень тяжело было молодому человеку, но он еще не сознал своего положения. Наступила ночь, и он скоро забылся.

Проснулся Егор Иваныч, как и всегда, в добром расположении духа. Он припоминал какой-то сон, который совершенно выскользнул из памяти, и оттого выражение его лица было неопределенное. Он не мог даже припомнить, каков был сон, хорош или худ. Но то не сон был, а действительность вчерашнего дня: она не сразу далась его сознанию, а сначала смутно, как забытый сон, представлялась ему. Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видело последние минуты детского счастья, золотого, молодого счастья; оно не завидует теперь, оно спокойно. Теперь плебей узнал, что его кровь не освящена столетиями, что она черна, течет в упругих, толстых, как верви, жилах и твердых нервах, а не под атласистой белой кожей, в голубых нитях и нежных... Мое старое сердце знает, что человек сам усомнится в своих достоинствах, когда познает этот общественный, мало того — общемировой закон, который так осязательно представился тебе... Ты почувствуешь

силу, которая существует во всех странах мира, которой до сих пор не знал и которой не верил.

Егор Иваныч слово в слово припомнил разговор помещика, и в тот день он перекреститься еще не успел, а уже ругался. Он почувствовал в себе присутствие дурных инстинктов, которые теперь проснулись в нем: в нем злость заходила, драться ему хотелось. Потом в каждой черте его лица, в складке губ, в глазах, повороте головы выразилось глубокое, беспощадное презрение. В грубые и крупные слова одевалась мысль его. «Белая порода!.. чем же мы, люди черной породы, хуже вас? Мы мещане, плебеи, дворянского гонору у нас нет? У нас свой есть гонор!» Так он глуп и горд был, что ему верить не хотелось в возможность вчерашних речей о породе. «Быть не может!.. за что же!.. чем мы хуже их?» Нелепостью ему представлялся вчерашний разговор, нарушением здравого смысла. «Неужели везде так?» — шевельнулся у него вопрос, и сердце у него упало. Иногда достаточно одного случая, чтобы убедиться в тысяче подобных; есть факты, в которых выражается идея, присущая многим фактам. Когда он понял, что Обросимовы оттолкнули его под влиянием общественного закона, что ему предложили держаться дальше, не спрашиваясь его согласия, а не то его без церемонии отодвинут и он должен будет попятиться, — тогда тоска напала на него. «За что же? — прошептал он. — Да нет! этого быть не может!» Молотов не мог примириться с мыслью, что он явился на свет неполным человеком, с лишением некоторых прав; что для многих оскорбительно, когда он будет относиться к ним открыто и с достоинством, как к равным. «Не нужны вы мне! Но за что же?» — он спрашивал. Не нужны? Нет, ему тяжело было убедиться, что Обросимовы не могут уважать его, как они уважают своего собрата. Этот человек, не понимавший до сих пор, что он мещанский сын, был жалок в настоящую минуту. «При всем этом они думают, что я навязывался к ним, хотел быть своим в этой барской семье?» Совесть ему ответила: «Да, сначала ты по какому-то инстинкту не хотел сближаться с этими людьми, а потом обманулся и считал помещика чуть не родственником; ты думал, что все, как старый профессор, будут тебе бабушкой». Он, как обожженный, соскочил от этой мысли и, разумеется, обругался, но теперь он себя бранил.

Тогда сказалась эта гордая натура. Ему совестно было самого себя. «Как, *я* заискивал? это с какой стати? Разве они нужны мне?» — этот вопрос невыносимо мучил его. «Нет, я им скажу, что они лгут; я в них не нуждаюсь и знать их не хочу». Но лишь только явилась эта неразумная мысль, как Егор Иваныч отказался от нее. «Это значило бы, что я претендую, зачем не стал своим в их семье... Это та же навязчивость!» После того он решился не показывать и виду, что слышал несчастный разговор, так обидевший его гордость, возмутивший его душу; он понял, что тогда еще больней, еще обидней было бы для его гордости. И в то же время он почувствовал, что отделяется от общей массы людей, перестает быть какою-то неопределенною личностью, он находит свое место в обществе и занимает его. Люди, прежде близкие, стали ему чужды и далеки. Он, зорко наблюдая окружающие его лица, к удивлению своему находил, что они незнакомы ему, что он видел только похожие на эти, но не эти самые. У матери совсем не доброе лицо; в глазах папаши так и светится дворянин-кулак; у дочери лицо красивое, но посмотрите, какое надутое. «Это не наши, — говорил он. — Как же я не разглядел ваши рожи?» (Он в патетических местах часто употреблял крупные выражения.) «Где же наши? — спрашивал он. — Кому же я-то нужен?» Все его беспокоит, дразнит, поднимает все силы, делать велит что-то. Новое тревожное чувство всею силою молодой жизни прошло чрез его душу; неведение и страх будущего охватили его. Но одна беда не ходит. Не сегодня, так завтра Молотов оставил бы Обросимовку; но, к несчастью, он издержался в городе, денег у него было мало, а еще одиннадцать дней осталось до конца месяца, значит — и до получения жалованья сорока рублей. Эти одиннадцать дней будут ему долго памятны. Часто он, понурив голову, ходил в саду крупным шагом и в забывчивости иногда остановится, подумает что-то, махнет рукой и опять шагает. С той минуты, как он остался в деревне на одиннадцать дней, к чувству оскорбленного самолюбия прибавилось постоянное чувство угрызения совести. В душе он бранился, а прямо в глаза людям, его окружающим, смотреть не мог... Положение среди чужих людей стало крайне фальшиво и бестолково. По обыкновению, по привычке жена Обросимова попросила

его что-то сделать. Он не нашелся, сжал только зубы и проговорил: «Хорошо-с». Это наконец глупо! — скажут иные. Что же делать! он не приобрел еще той житейской наглости, при которой так легко отстранить желание ближнего сесть на вашу шею и прокатиться на ней. Впрочем, потом как-то он ухитрился отказаться раза два-три от поручений, которые он не обязан был исполнять. В нем быстро развивались подозрительность и мнительность; так и чудилось, что везде следят за ним, потому что «его насквозь знают», потому что он «умный молодой человек» и живет «не у дурака». Подозрительность его росла не по дням, а по часам... Сядет он за стол, боится лишний кусок взять, — так ему и припомнится этот прекрасный комплимент дамский: «Как он ест много!» Этот комплимент был плохою приправою к обедам, чаям и десертам помещика. Женщина сильнее умеет обидеть, чем мужчина: в ее жалобе, в ее упреке всегда слышится, как будто вы ее угнетаете, будто ей трудно вас победить, и смотрит она, точно просит пощады; захочет уязвить, так отыщет самую больную струну. Просто сказано: «ест много»; а эти слова всего тяжеле легли на сердце Молотова. Он слышал в этой фразе самое беспощадное презрение к своей плебейской натуре. Ему казалось, что Обросимовы в нем ничего не рассмотрели, кроме брюха, что он в их глазах не что иное, как большой-большой живот. Это было обидно для Молотова. Бывало, заберется он в огромный сад, который так предлагали ему обязательно, и роскошествует в нем; а теперь каждое яблоко, слива и малина напоминали ему, что он батрак, которого надобно приурочить. Кажется, и конца не будет этому тяжелому месяцу, а он и приноровиться не может, как ему вести себя: то усиливается держаться с Обросимовым наравне, что́ прежде выходило без всяких усилий, само собою, то заберет вдвое выше, то смотрит обиженным. Он рад был уединению. Так прошли четыре дня. Все стали замечать перемену в нем. «Здоровы ли вы?» — спросила его однажды хозяйка. «Здоров-с», — ответил он, а сам подумал: «Следят за плебеем, следят!..» Он отказывался несколько раз от чаю, чтобы только реже видеться с семейством... Он похудел... В ответах его было что-то странное, резкое, большею частию они были односложны. Видели, что он полюбил уединение; видели, как он

опускал над работой голову и долго о чем-то думал. Он есть меньше стал... Все это обращало на себя внимание. всё это замечали. Для него наступило время, когда так легко портится характер.

Егор Иваныч сидел измученный и угрюмый в своей комнате. Вошел Володя.

— Что-с? — спросил неприветливо Молотов.

— Егор Иваныч...

— Что?

— Вы не будете сердиться за то, что́ я вам скажу...

— Нет, ничего, говорите, — отвечал Молотов мягче.

— Я вас нынче боюсь...

— Полно, дружок, — сказал ласково и грустно Егор Иваныч, — разве я обидел вас? Полно, Володенька, мы всегда были друзьями. Ведь вы меня любите?

— Да, вы хороший, добрый такой...

Егор Иваныч погладил его по голове.

— Что же вам нужно?

— Савелий привез вам письмо...

— Из города?

— Из города.

— Где же оно? Ах, да вы и не принесли!

— Я думал...

— Скорее же бегите и несите, скорее, Володя...

— Сейчас!.. я живо!..

Егор Иваныч заметно встрепенулся. «Это он, непременно он!.. что-то пишет?.. Спасибо тебе, Андрей!»

— Вот! — сказал Володя, вбегая в комнату и подавая письмо.

Егор Иваныч взглянул на адрес и вскрикнул:

— Он и есть!.. Володенька, я хочу один остаться...

Вот что писал к нему Негодящев:

«Задушевный друг,
Егор Иваныч!

Насилу время нашел, чтобы написать тебе письмо. Не поверишь, сколько дела: шесть следствий сряду произвел, изъездил четыре уезда, перевидал множество люду, переписал множество бумаги. Поздравь меня, я вполне чиновник, наглухо застегнутый, бескорыстный и бесстрастный, как сама Фемида, хотя и не завязаны

у меня глаза. Я всегда говорил, что создан для следственных дел... Служу пока счастливо, но не без хитрости. Чиновник должен быть великим психологом... Ты думаешь, что если чиновник знает свое дело и не кривит совестью, так он уже и полезен обществу? Нет, при таких условиях успех не всегда верен, нужно еще быть и психологом. Необходимо изучить начальников, подчиненных, сослуживцев, их жен, знать весь город, как пять своих пальцев; всякую сплетню надобно уметь предупредить, всякую подлость и каверзу... Подкопов бездна! потому что я хоть и не великая птица, но тяжел им пришелся. Тот, кого у нас зовут «сам», в моих руках. Помню, что ты говорил против моей системы, доказывая, что в ней большая доля иезуитства. Но если тебя на неделю послать сюда, ты увидишь, что нет больше средств на свете. Здесь все враги закона, а нас самый небольшой кружок. Мы отбываем свой пост, насколько то возможно. Целый год я трудился, чтобы выворотить секретаря вон, — выворотили наконец!.. и никто не знает, откуда ему такое счастье. Я с тобою всегда был откровенен... Ты спросишь, кто я такой: наушник, доносчик, фискал? Ничуть не бывало!.. я дипломат и психолог: моя задача так вести дело, чтобы провалился негодный человек, подвести его на службе, напутать, повредить ему. Впрочем, я не прочь и шепнуть кому следует на ухо, что́ можно. Мы все знаем, что надобно делать, но не знаем, как делать. Пишу теперь вообще, сообщаю только свои служебные начала. Похождений своих не описываю.

Главная цель моего письма — ты. Я довольно хорошо основался здесь, имею некоторую силу и, руководствуясь своею системою, подвожу мину под одного чиновника. Это негодный человек, на совести которого немало черных дел. Он непременно провалится — час его пробил! Вот тебе и вакансия. Кроме того, «сам» ищет дельного чиновника. Я говорил ему о тебе, и он соглашается принять тебя. Вот и другая вакансия. Прошу подумать серьезно о моем предложении. Опять мы заживем по-старому; я посвящу тебя в наш кружок; здесь довольно весело; жалованья меньше, чем в Обросимовке, но зато есть шансы для будущего. И что ты забрался в Обросимовку? Там ли твое место? Ты должен делать другое дело, а не тратить жизнь на службу какому-то барину. Разве в том твое призвание? Но я и забыл твои поня-

тия о призвании. Ты обложил себя книгами, вглядываешься в жизнь, изучаешь себя и людей и только после такой работы хочешь добиться, к чему ты призван... Вопрос поистине громадного размера! Шутка ли, на двадцать третьем году он хочет понять себя за всю прошлую и за всю будущую жизнь, составить программу, да потом и выполнять эту программу! Но, друг мой, мы родились жить, а не составлять программы. Живи и учись, одно от другого не отдирай насильно, а то бог знает до чего можно додуматься. Не ты первый, не ты последний. Иной создаст себе норму жизни, носится с нею, кричит, трепещет, а чем кончит? Как идиот, упрямо тянет многолетнюю лямку, самим на себя наложенную, — и самому-то наконец ему тяжело, и люди на него пальцами показывают, и спину ему ломит, — но нет, несет свое ярмо, свою проклятую ношу, самим же на свои плечи взваленную, и оглянется потом бедняга, да уж поздно, часто сорок лет стукнуло, нет молодых сил и энергии. Что же остается? заплакать о даром потраченной жизни, озлобиться на весь мир, запить или сделаться лежнем, байбаком? Мало ли у нас этих рыцарей печального образа? Нет, мой друг, жизнь пускай нас учит, а не будем выдумывать жизни. Два-три следствия лучше познакомят тебя с человеком, нежели сто книг, — только смотри всему прямо в глаза, смело всему давай свое имя. Ошибешься — поправиться можно; тогда лишь не поправишься, когда упрямо пойдешь по одной дороге. Жизнь сама скажется. Ты опять спросишь, какое твое призвание? Ты все делать можешь. Притом, разве ты не можешь служить и в то же время изучать свое призвание, если тебе уж очень нравится это занятие? Знаю я твои запросы от службы. Иногда подумаешь: что, если этот человек попадет на свою дорогу? Вон он сидит теперь сиднем, а как разомнет кости и пойдет шагать, так куда тебе и Илья Муромец! Дайте ему только осмыслить все, привести в систему, понять всякое явление и всю жизнь связать одною идеею, а уж там ведь «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело». Жизнь осмыслить? — никогда ты ее не осмыслишь! Где ее одолеть, и притом не зная хорошо? Бери ее наконец без смысла или добивайся смыслу и в то же время служи; для службы человек создан. «Мы не приготовлены к труду». — Сам готовься. — «Мы не чувствуем любви

к той или другой службе». — Без любви служи. — «Этак засохнешь на службе». — Сохни, Егор Иваныч, сколько тебе угодно! кому какое дело до бесполезного человека? От тебя и не потребуют любви к службе; нам нужны твои ум, честь и труд, а любви, пожалуй, и не надо; ее и в формуляр не вносят... А то вы и на службе ищете счастья, а не пользы общественной. И любовь, и удовольствие, и прогулка среди лесов, и луна, что ли, — все это должно быть на втором плане в нашей жизни. Поэзию всякий любит; нет, надобно в прозе покупаться — ведь от нее не убежишь. Наконец, вы и к поэзии притупляетесь, создаете бог весть какие стремления, которых и сами определить не можете. Мы тоже любим и закаты солнца, и май, и негу, и поцелуи, и вечернюю зарю, но мы и ломать себя умеем... Можно читать «Фауста» и служить очень порядочно, не носить докторской хламиды, а приличный вицмундир. Прочь вопросы! их жизнь разрешит, только бери ее так, как она есть, не прибавляя и не убавляя: без смысла жизнь, живи без смысла; худо жить, живи худо — все лучше, чем только мыслью носиться в заоблачных странах. Прямая линия не ведет к данной точке, так есть ломаная. Ты бы хоть посмотрел на своих товарищей; бóльшая часть населила присутственные места; немногие пошли в учители и продают теперь старые познания; один уехал в Китай; очень немногие промышляют только частными делами, и между прочим наш любезнейший Патокин читает газеты у слепой княгини Зеленищевой, но и тот ищет протекции для чиновной же карьеры. Двое женились уже. А ты-то что же? должность твоя не много повыше Патокина. Правда, ты писал в последнее время, что занялся с сыном помещика и хочешь отыскать, по своему обыкновению, искру божью в этом болванчике; но ведь это все-таки служба частным лицам, а будто мы к тому готовились? Смотри, придется вспомнить мои слова, что частная служба хуже общественной и относительно гонору и относительно выгод. Ты опять спросишь, где же служить? Так считай же: ты не можешь быть доктором, не можешь быть купцом, архитектором, механиком, литератором, барином, священником... ты можешь быть чиновником — это неизбежно. Больше и говорить не хочу. Я высказал откровенно свои мысли и прошу тебя подумать хорошенько о моем предложении. Пора

начинать карьеру. А как мы знатно заживем!.. опять вместе, опять воротятся старые годы!.. Довольно, хотя и есть что написать. Завтра рано еду в Д * на следствие. Дела пропасть... Подумай о моем предложении, а теперь прощай!

Друг твой *Андрей Негодящев*».

Лицо Егора Иваныча было грустно и в то же время выражало недоумение. Он еще раз прочитал письмо все сполна, потом читал его по местам, отрывками, а сам думал:

«Вот чиновные принципы, возведенные к вечным началам разума!.. трансцендентальное чиновничество!.. Фауст в вицмундире, Гамлет канцелярии его превосходительства!.. Боже мой, много ли времени прошло, а уж ты, Андрей, начинаешь подаваться! Ты ли это говоришь: «Если прямая линия не ведет к данной точке, то есть ломаная»? Остается один шаг до убеждения, что можно и дугой дойти до того же... Хорошо же ты философствуешь и обличаешь! Громи, добрый сын отечества, громи! Неужто надобно опутать всех, надуть, быть психологом и дипломатом? Да лучше бесполезным человеком остаться. Вот дорога: либо подличай, либо ходи по ломаной линии. Это возмутительно, этого быть не может! Иначе даю честное слово навсегда остаться бесполезным человеком».

Молотов опять открыл письмо. Его внимание остановилось на тех местах, где идет дело о призвании, карьере, службе. Эти места подействовали на него. Резко высказанные, они ясно встали пред его воображением и неотступно требовали ответа. Трудно было что-нибудь сказать против той истины, что Молотов готовился не для службы частным лицам, хотя и оскорбило его слово «болванчик», приложенное к Володе, мальчику очень умному. Трудно было спорить с тем, что служба государству есть общечеловеческое призвание. Он сам уже дошел до вопроса: «Я уйду отсюда, но куда?» Потому письмо поразило его. «Неужто в канцелярские Гамлеты?» — он спрашивал себя. Вопрос требовал ответа настоятельно. Молотову хотелось отбиться от него, подавить его хотя на время, потому что тяжело, мучительно тяжело идти на службу сегодня, когда вчера еще не знал, какую избрать дорогу, да вовсе и не думал о том,

а жил день за днем, как птица, без заботы, без будущего. Это минута критическая, потому что служба — полжизни нашей. Ему хотелось хоть на время обмануть себя, а когда человек захочет доказать что-нибудь, он непременно докажет. Я знал одного крайне упрямого господина, который если доказывали что-нибудь противное ему и если он не находился в данную минуту что-нибудь отвечать, то всегда говаривал: «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Подумавши, он изворачивался и действительно изобретал резон. Если его ловили и на этом резоне, то он опять просил: «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Словом, за ним не угоняешься. Это к тому, что Егор Иваныч, напрягая силы, чтобы отвязаться от назойливых вопросов, успел извоpотиться с удивительною ловкостью древнего диалектика. Он прибегнул к правилу: «Если тебя обвиняют, ты не оправдывайся, а обвиняй сам». Прочитав слова: «без любви служи», он пришел сначала к той мысли, что нигде не нужен слуга без любви к службе, потом, что он не машина, а человек тоже. А «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело». Это что такое? Надо мной смеется или над поэтом? Боже мой, писать-то как легко! давайте, всех обличу, всем определю призвания и род занятий. А как горячо пишет? от души, так и кипит, и все-таки неправду, — значит, и от души лгать можно. Но нет, тут и правда есть, правда горькая. Не о себе ли ты пишешь? Думая обличить меня, ты обнаружил свою душу, ту болезнь, которую носишь в ней теперь. Ты уже выдумал норму и носишься с нею едва ли не так, как тот идиот, о котором говоришь, что он своими руками надел себе на шею проклятое ярмо. Верно, не легко ходить по ломаной линии, и ты уже чувствуешь тяжесть своей нормы, она гнет тебе спину, оттого ты и кричишь в письме: не меня, а себя обличаешь! О ком ни пиши, все одно: душевное состояние скрыть трудно, оно слышится в твоем письме с полуслова, сквозит между строками... Призвание?.. Ты уже Фауст в вицмундире, а я все еще Молотов; ты уже создал норму жизни, и какую норму! а я все еще нет. Я только одно понял: мое призвание — жить... всей душой, всеми порами тела жить хочу. «Бери жизнь, как есть она, не прибавляя и не убавляя»? Да вон она, вон

смотрит в глаза; она идет, в дверь стучит. Я не могу пока постигнуть, что́ она такое, но без смысла не возьму ее; разгляжу я жизнь, разниму по частям, душу ее выну. Я и учился для того, чтобы жить; государству часть себя отдам, а весь не отдамся. «Эх, Андрей, поговорить бы с тобою. Да подожди, я напишу тебе». Видите ли, читатели, как легко отделаться от назойливых вопросов, но, поверьте, отделаться только на время. Он сел писать письмо и описал все, что случилось в Обросимовке, только о Леночке не упомянул, вероятно потому, что с расстоянием уменьшается откровенность. Письмо отвело душу Молотова, но не надолго. Ему хотелось живой речи, а вот уже несколько дней, как Егор Иваныч прервал все искренние отношения с окружающими лицами. Он все злился в это время; его мучила гордость. Горячая кровь ключом била в молодом, здоровом организме Егора Иваныча, и в это-то время пришлось ему испытать немолодую злобу. Его ломало и коробило. В чистую кровь благородного и добродушного плебея жизнь начала вливать дурные соки. Да, наступила пора, когда так легко портится характер человека...

В тот же день Марья Павловна сказала своему супругу:

— Ты ничего не замечаешь в Егоре Иваныче?

— А что?

— Он после поездки в город как в воду опущенный.

— Да; что-то странное с ним делается; никогда я не видал его таким... даже похудел...

— Нет ли у него каких неприятностей?

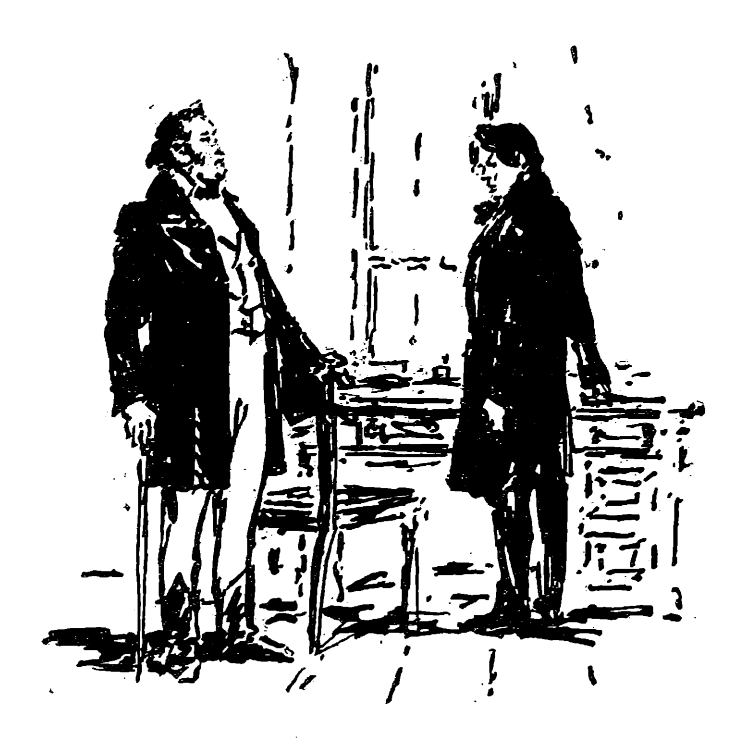
— Должно быть, есть. Стоит вчера у окна мрачный такой: «Ах, говорит, черти, черти!», потом махнул рукой и задумался. Я изумился, потому что никогда не слыхал от него таких выражений.

— Ты бы, мой друг, поговорил с ним. Бог знает что с бедным делается. Может быть, надо помочь чем-нибудь.

— Ох ты, моя добрая!.. всегда одинакова,— отвечал Обросимов.— Хорошо, я поговорю...

В тот же день Аркадий Иваныч зашел к Молотову и пошел прямо к цели.

— Извините, Егор Иваныч,— сказал он,— мою нескромность. Уверяю вас, что одно только искреннейшее



участие руководит мною в настоящем случае. Я заметил, что вы в последнее время сам не свой. У вас есть какое-то горе...

— Вы заметили... нет... что же... ничего не случилось...

Егор Иваныч отвечал с трудом, с замешательством. Он невольно закрыл рукою только что конченное письмо, в котором относился о помещике не очень лестно. Такое движение Обросимов принял за желание скрыться от него. Он понимал, что глубокая печаль не всегда откровенна, что человек не сразу покажет душевную рану, что простое любопытство раздражает ее, и касаться раны может только любящая рука. Поэтому он деликатно и ласково сказал:

— Егор Иваныч, доверьтесь мне как другу; вы встретите во мне не пустое любопытство. Я осмеливаюсь думать, что приобрел некоторое право на вашу откровенность...

Молотов ничего не ответил. Он спрятал в карман письмо и, потупясь, молча отошел к окну и стал писать вензеля на вспотевшем стекле.

— Егор Иваныч!

Молотов писал вензеля и молчал.

— Послушайте, — сказал Обросимов, подошел к нему и взял его за руку, — у вас, право, есть какое-то горе... будьте откровенны... бог знает, я, быть может, и помогу вам... Все, что от меня зависит...

Молотов высвободил свою руку.

— Вы, Аркадий Иваныч, заслужили полное право на мою откровенность... я знаю, что вы уважаете меня, но... поверьте, мне ничего, ничего не нужно...

Аркадий Иваныч отошел в сторону и остановился в раздумье. На лице его заметно выразилось недоумение.

— Может быть, Егор Иваныч, я действительно не в свое дело суюсь... может быть, сердечные обстоятельства...

Обросимов наблюдал за ним. Егор Иваныч опустил руки в карман и наклонился к стеклу. Он покраснел.

«Дурак же я», — подумал Обросимов.

А на душе Егора Иваныча было одно чувство ожидания, скоро ли отстанет от него помещик, похожее на чувство школьника, которому учитель читает нотацию, когда у школьника не бывает ни раскаяния, ни внимания к словам учителя, а одно тягостное ожидание, скоро ли скажут: «Пошел, негодяй, на место». Потом у него повторилась в уме фраза помещика: «Может быть, сердечные обстоятельства», и почему-то Молотову припоминались фразы гоголевских героев; ему казалось, что гоголевские герои говорят точно таким языком. Молотову немного весело стало.

— Ну, так извините великодушно, — сказал Обросимов.

Егор Иваныч вдруг засмеялся.

— Бог вас поймет, — сказал помещик и пошел с этими словами к дверям.

Но у него явилось новое предположение, за которое он и ухватился с живостью. Странным может показаться, что Обросимов от души сожалел молодого человека. Но глядя на дело объективным оком (по старости, мы не пишем обличительной статьи, а просто анализируем данные явления), должно сказать, что он любил Моло-

това, хотя в то же время смотрел на него как на плебея. Тут нет никакого противоречия: разве вы, например, не любите свою старую няню, но смеет ли она думать о равенстве с вами? Можно любить собачку, картину, куклу, — это не подлежит сомнению; можно любить своего лакея, крестьянина, подчиненного, — это не подлежит сомнению; и при всем том можно собачку выгнать, картину продать, куклу разбить, лакея выпороть, подчиненному дать головомойку, — это не подлежит сомнению. Обросимов любил Молотова: ему жалко было молодого человека, хотелось помочь ему; он готов был сильно беспокоиться о нем. Егор Иваныч не понимал этого. Он думал, что его не любит Обросимов. Молодой человек, очевидно, заблуждался...

— Может быть, денежные затруднения, так вы не стесняйтесь, пожалуйста, — сказал помещик.

— Нет, благодарю вас, — ответил Молотов сухо.

Обросимов переминался.

— Не оскорбил ли вас кто, Егор Иваныч?

— Нет, нет! — с живостью заговорил Молотов. — Как можно?.. нет, никто не обидел, Аркадий Иваныч.

Обросимов пожал плечами.

— Но вас не узнать, вы совсем переменились...

Наконец Егор Иваныч не вытерпел:

— Да, у меня есть... затруднения... большие затруднения...

Обросимов стал слушать с полным вниманием.

— Но мне невозможно высказаться... поймите это... Господи, да что же это такое?

Егор Иваныч взялся за голову руками и опять повернулся к окну...

— Извините меня великодушно, Егор Иваныч... Будьте уверены, я нисколько не претендую на вашу скрытность... есть такие чувства...

— Да, да, есть такие чувства! — нетерпеливо и с заметной досадой перебил Молотов.

— Ну, извините меня... Пошли вам бог мир на душу...

Обросимов отправился к двери, но опять остановился.

— Вот что, Егор Иваныч: вы теперь расстроены, поэтому вам не совсем удобно заниматься... вы не стесняйтесь, отдохните...

Молотов молчал. У него появилось судорожное движение в скулах... Еще бы немного, и он наговорил бы помещику грубостей; в голове его стали складываться довольно энергические фразы...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — и с этими словами помещик вышел вон.

— Насилу-то!...—проговорил Молотов. — Черти! мерзавцы!..

. . . .

Тут изящного ничего нет: Егор Иваныч ругается, и ругается довольно грубо...

. . . .

Егор Иваныч отвел душу энергическими выражениями, и мы будем продолжать.

После излияний Обросимова ему еще тяжеле; еще запутаннее и бестолковее стали его отношения к чужой семье. Никогда он не ощущал такого сильного, неисходного, томящего чувства одиночества, какое теперь охватило все его существо. Слезы пробивались на его глазах, а он всегда стыдился слез, не любил их... Егор Иваныч напрягал мускулы, чтобы не заплакать, но непрошеные слезы сами ползли и, медленно пробираясь по щекам, падали тяжелыми каплями, и много было соли в тех слезах... Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Один, один на всем свете!» — эта мысль поражала его, холодом обдавала кровь, он терялся... «Пора жизнь начинать, надобно уйти отсюда, а куда идти? зачем идти? для кого?» Толпами идут из души мысли, самые разнообразные и доселе мало знакомые, — откуда они поднялись? Среди их основное чувство — досада и жалоба на обиду. Гордость, эта страшная сила в своем развитии, мучила его так, как мучит человека преступного совесть. Ему стыдно было, что его отталкивали от себя некоторые люди, а как примут его другие — не знал он, и являлось сомнение в своем достоинстве. И все один, некому слова сказать. Заперта в нем эта сила гордости, не разрешенная ни единым откровенным словом, сила жалоб на одиночество, тревога несозревших вопросов и предчувствия темной будущности. Перелом совершался в его жизни, а тяжелы те минуты, когда человек переходит тяжелым шагом из бессознательного юношества, ясного, как майский день, в зрелый, сознательный возраст. Это время дается

легко и мирно одним дуракам да счастливцам... Он просил смирения и спокойствия, не понимая, что смирение не в его натуре, которая теперь сказалась, а спокойствие редко бывает в период его жизни...

Но вот он огляделся, пошел к двери, посмотрел в соседнюю комнату — там никого не было. Лицо его осветилось особенным светом; в нем выразилось что-то доброе, смешанное с впечатлениями, только что согнанными... Надежда проливалась в его сердце. Неужели так сильна его натура, что, лишь только возникли в душе вопросы, он сряду же решил их?.. Вернувшись, он запер дверь на ключ, потом остановился в раздумье... Разнообразные впечатления пробежали по лицу его...

— Нет, не могу! — сказал он с тоскою.

Но он сделал усилие, и... как вы думаете, что́ он стал делать?.. он начал молиться. . . . .

. . . .

Недолго он молился.

. . . .

Молотов подошел к окну и несколько времени смотрел в него; потом подошел к столу, закрыл глаза и взял наобум книгу.

— Что это? — спросил он сам себя.

— Лермонтов, — сам же и ответил Молотов.

Началось пустое гаданье, которому человек образованный не верит; но кто не испытывал этого любопытства, смешанного с тайным, глубоко зарытым суеверием, которое говорит: «Дай открою, что выйдет!» Егор Иваныч раскрыл книгу... Лицо его покрылось легкой бледностью, и руки задрожали. Он прочитал:

«Несчастие мужиков ничего не значит против несчастия людей, которых преследует судьба».

Он судорожно скомкал книгу, бросил ее на пол и захохотал. Что-то дикое было в его фигуре; странно видеть молодое лицо, искаженное злобой, — неприятно. Он в эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэт не отвечает за своих героев, что б они ни говорили. Но он почти ни с кем не сообщался в это время, был в положении школьника, отвергнутого своими товарищами, в положении ужасном, при всем сознании правоты своей.

— Несчастье мужиков ничего не значит!.. их судьба не преследует! — говорил он. — Это господин Арбенин



сказал!.. большой барин и большой негодяй!.. Черти, черти! — шептал он. — Господи, да с чего я выхожу из себя? Что мне до них?

Однако не скоро улеглась его злость.

Мало-помалу мысль Молотова перешла к тому, о чем писал Негодящев. Быть может, и справедлива была догадка, что друг, обличая Молотова, высказал свои личные немощи, но за всем тем много резкой правды осталось в письме. При помощи письма недавно возникшие вопросы определились окончательно и с новою силою хлынули в его душу. «Призвание?» — вот вопрос, от которого он не мог отделаться всею силою диалектики. Это слово было так значительно, что не оставляло его головы. С полным напряжением мозговой силы работал Егор Иваныч. Врасплох застала его новая задача; и учился он и жил, не думая о будущем. «Ты изу-

чаешь свою старую жизнь и на основании такого изучения хочешь решить вопрос поистине громадного размера» — этого-то с ним и не было. Он раскаивался, зачем не думал о том прежде, зачем проглядел в своей жизни такой важный вопрос; Егор Иваныч не привык к нему, не приготовлен. Всего остается жить в Обросимовке несколько дней, а дальше? дальше виделась какая-то бездна пустоты, безбрежный океан жизни, в котором ничего не рассмотреть. «Господи, твоя воля! — думал он. — Сегодня или завтра, на этих днях надобно решить задачу, зачем я родился на свет». Ему даже приходило на ум, не остаться ль в Обросимовке еще на месяц; но лишь только Молотов вспоминал, как он «ест много», — злость закипала с тем большей силой, что он раздражен был душевными вопросами и измучен. «Черти, черти!..» — шептал он. Молиться Егор Иваныч не мог, да ему казалось, и некогда молиться. Ужас охватил его страшным холодом, как человека, потерявшего надежду найти дорогу из лесу. «Призвание?» — ох, какая сила в этом слове для того, кто не успел отыскать в нем никакого смысла, а между тем понял все значение его. Многие у нас родятся как будто взрослыми, сразу поймут, что им надобно делать на свете, и, не спрашивая, что́ такое жизнь, начинают жить; иные эту безвестность жизни возводят даже в принцип, как Негодящев; иному скажут папаша и мамаша: «Будь юнкером, чиновником, дипломатом», — и эти счастливцы с пяти-шести лет знают, что́ они должны делать на свете. Егор Иваныч был поставлен в иные условия. «О, проклятая, бессознательная, птичья жизнь!» — говорил он и не понимал теперь, как это он жил до сих пор; ему не верилось, что он провел несколько месяцев так безмятежно; представлялось прожитое время какой-то сказкой, лирическим отрывком из давно читанной поэмы, а между тем эта поэма кончилась всего несколько дней назад... От мучительной работы ослабели его твердые нервы... наконец, пусто стало в голове... Так ученый труженик после семи- или осьмичасовой работы архивной, после микроскопического вглядыванья в мелкие факты, цифры и штрихи исторические, в виду огромных, покрытых пылью фолиантов, которые еще предстоит одолеть ему, — наконец опускает обессмыслевший на время взор и не видит ничего в своей тетради, курит

сигару и запаху в ней не слышит. Легко сказать: «Я прямо смотрю в жизнь!.. вон она!» — Как же!.. Лишь только жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными очами, Молотов зажмурился от невыносимого блеску очей ее. Оно в поэзии, в пасторалях и эклогах — так, а на деле невыносимо трудно бывает, если только папаша не сказал: «Ты дипломат» или мамаша: «Ты юнкер»... Наступил покой в душе Молотова, тишина; никакая мысль не шевелится, ничего не хочется, не чувствуется... Сгорбившись, с помутившимся взглядом, с глупым выражением лица смотрит он в воздух и ничего не видит... Вон трещина на штукатурке стены, и он следит за ее изгибами и сечениями: как будто нос выходит; потом начинает побалтывать ногою и внимательно смотрит на кончик сапога; с чего-то припоминаются слова сказки, говоренной еще отцом: «а Спиря поспиривает, а Сёма посёмывает»; потом он стал разглядывать ладонь свою, близко поднес ее к лицу и важно и без смыслу глядел на нее; слышит он, как будто волоса шевелятся у него, а по ноге ползут мурашки; все мелкие явления останавливают его утомленную полумысль. Он вздохнул, но это вздох физический, как и спокойствие его — физическое спокойствие, мучительное, мир, от которого избави бог всякого, страдание без борьбы; так охватывает вода человека, так душит его тяжелая перина... Но наконец засидевшееся тело просило, чтобы в нем разбили кровь. Молотов вышел на улицу, пошел через поле, мимо пашни, обогнул кусты у реки, к лесу, оттуда к кладбищу. Спокойствие уже не душило его. Это был простой моцион. Движение и разнообразие предметов занимали его. Вот он у мельницы, на той скамейке, где сиживал с Леночкою. Теперь он едва ли не совершенно спокоен, даже выражение лица его довольно и кротко, взор ясен, мысль блуждает беспредметно. Он стал напевать что-то, как часто напевал сквозь зубы. Возвращались силы и способность к впечатлениям. Надолго ли он успокоился? Не всякому выдаются такие деньки, какие выдались на долю Егора Иваныча, хотя — что такое с ним случилось? ничего особенного. Это большой мальчик капризится, оттого что старшего над ним нет. Будь у него старшие, они, вероятно, объяснили бы Молотову, что ему иначе надобно понимать Обросимовых и иначе вести себя по отноше-

нию к ним, но у него не было руководителя, и пришлось все понимать по-своему, так, как бог на душу положит. Предоставьте человека самому себе, и выйдет с ним то же, что с Егором Иванычем: человек будет очень требователен. Хорошо ли это?.. нехорошо?

Егор Иваныч занимался с Володей по грамматике.

— Извините, я, кажется, помешала вам, — сказала Лизавета Аркадьевна, входя в комнату Молотова.

— Ничего-с; вот мы и кончили, — ответил он.

— Я к вам с просьбой.

Молотов поклонился.

— Вы не достанете ли мне китайский розан?

— Но где же я могу достать, Лизавета Аркадьевна?

— У Леночки Илличовой есть китайские розаны.

Молотову показалось, что эти слова были сказаны насмешливо, не без задней мысли, но он не доверял себе, потому что потерял способность судить об окружающих его людях беспристрастно.

— Вам бы удобнее самим обратиться к Илличовой, — сказал он.

— Не хочется мне. Кажется, в последнее время вы довольно коротко сошлись с нею.

Молотов покраснел и с недоумением посмотрел на Лизавету Аркадьевну, которая отвечала ему испытующим взглядом.

— Вы так часто проводили с ней время — гуляете, говорите. Но скажите, пожалуйста, какие книги вы посылаете ей? Что читает эта девушка?

— Я давал ей Пушкина, — ответил Молотов неохотно.

— Так вы достанете мне розан?

— Хорошо-с...

— Я надеюсь, что это вам легко будет сделать.

Лизавета Аркадьевна ушла.

«Неужели это намеки? — думал Молотов. — Как это неделикатно с ее стороны!»

Это Молотова беспокоило.

«Еще Леночка!» — подумал он.

— Егор Иваныч, — спросил Володя.

— Что?

— Знаете, какая глупость мне пришла в голову?

— Скажите, Володя.

— Я в воскресенье бегал по саду; мне захотелось стрижа поймать...

— Ну-с...

— Вот я и побежал к вам...

— Ну-с...

— Вы были в беседке с Еленой Ильинишной.

— Ну-с...

— Мне показалось, кто-то целовался.

Молотов покраснел и с досадою сказал:

— Глупости вы говорите, Володенька.

Володя не понял, отчего ему сделали такое строгое замечание, однако не продолжал истории о стриже. Егору Иванычу неловко было в присутствии этого простодушного и наивного мальчика.

— Я пойду, — сказал Володя.

— Ступайте, — ответил Молотов.

«Как запуталось все! — думал он. — Еще Леночка на моих руках — это дело чем кончится?.. Что, если следят за нами?.. Но никому нет дела до меня; всякий за себя отвечает... Мешаться в дела такого рода нельзя...»

Но никто и не думал мешаться, и напрасно Егор Иваныч беспокоился. Егор Иваныч долго обдумывал что-то.

В шесть часов вечера Молотов отправился в Илличовку. Не доходя до ней, он услышал с берегу знакомый голос:

— Егор Иваныч!

Он вздрогнул. Елена Ильинишна удила рыбу.

— Как хорошо клюет!.. ступайте сюда!

Когда Егор Иваныч спустился к реке, Леночка оставила удочку и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, Егор Иваныч; что это вы не откликаетесь?

Егор Иваныч подал ей руку и поздоровался.

Леночка, казалось, вполне была счастлива; она смеялась и заглядывала в лицо Молотову. Но вдруг лицо ее приняло озабоченное выражение.

— Что это, Егор Иваныч, вас не узнать совсем... скучный какой!.. Егорушка, что с тобой? — говорила ласково и заботливо Леночка.

Она поправила его волосы и приложила ко лбу свою руку.

— Какая горячая голова!

Она поцеловала его.

— Да ну, Егорушка, перестань; что ты такой сердитый?

В ее голосе слышались слезы.

Егор Иваныч тряхнул головой и повел плечами.

— Ишь какой! — сказала Леночка. — Что дуться-то? муху, что ли, проглотил?

— Ах, Леночка, проглотил!

— Здоров ли ты?

— Здоров.

Оба помолчали.

— Так давно не видались, — сказала Леночка. — А ты вот какой! а я про тебя все думала.

Они дошли до дому Илличовых и отправились в сад, на дерновую скамейку.

— Ну, что же выдумали вы? — спросил Молотов.

— Ах, какой ты сегодня!.. что выдумала?.. ничего не выдумала...

— Леночка...

— Что?

— Хотите, я вам скажу о чем-то.

— Хорошо.

— Что бы вы сказали, когда бы привели к вам когонибудь и спросили: дайте этому человеку дело на всю жизнь, но такое, чтобы он был счастлив от него.

— Зачем это вам?

— Нужно.

— Да этого никогда не бывает.

— Бывает.

Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выражение лица девушки, когда она занята серьезною мыслью, а Леночка почувствовала женским инстинктом, что ей не пустой вопрос задан. Она, ейбогу, от всей души желала бы разрешить его, но ничего не смыслила тут.

— Не знаю, — сказала она и посмотрела на Молотова — что с ним будет.

Он усмехнулся.

— Вы бы спросили умных людей, если это вам так надобно, — посоветовала Леночка серьезно...

— Умных людей? да они меньше всего смыслят в этом деле. Никто не знает такого дела, да и нет его на свете... Кого занимают такие вопросы? И говорят о них редко и слегка, и то для того, чтобы язык не залежался. А! пустяки всё! — сказал он и махнул рукою.

— Ты, Егорушка, не думай об этом...

Молотов не слыхал ее слов. У него поднялись и заходили мысли о будущем. Опять вспыхнула внутри работа...

— Господи, — сказал он в глубоком раздумье, — не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... выдумать ее, что ли?.. сочинить?.. у умных людей спросить?.. Умные люди оттого и умны, что никогда о таких вещах не говорят...

— Так и мы не будем говорить...

— Нельзя, Леночка...

Леночка слушала его с полным вниманием, раскрывши глаза широко. В ее чудных глазах любовь светилась; ротик ее полуоткрыт; яркий румянец горит на щеке...

— Неужели моя жизнь пропадет даром?.. Где моя дорога?.. Неужели так я и не нужен никому на свете?

Он крепко задумался. Леночка все смотрела на него, ожидая признаний; но при последних словах Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцелуями, крепкими и жаркими, какими еще никогда не целовала его.

— Егор Иваныч!.. душка!.. ты герой!..

Молотов пожал плечами и чуть вслух не сказал: «Душка!.. герой!.. вон куда хватила!..»

Поцелуи не разогрели его, несмотря на то, что Леночка первый раз охватила его так страстно. В ее поцелуях, горячих и бешеных, было что-то серьезное; стан ее выпрямился, она точно больше ростом стала; во всей ее позе была решительность и какая-то женственная смелость и отвага; грудь поднималась медленно и равномерно, и чудно откинула она в сторону свою маленькую ручку... Молотов ничего не заметил. Он смотрел угрюмо в землю...

— Милый мой!.. Егорушка!.. И мне тоже все чего-то хочется... Я перестала понимать себя... боюсь всего... такие странные сны... Я плакала давеча...

— О чем, Леночка?

— И сама не знаю о чем... Но теперь ты стал говорить, и мне так легко, так легко... Я никого на свете не боюсь... я птица!.. полетим, Егорушка!..

— Полетим, — сказал Молотов и засмеялся...

Леночку обидел этот смех...

— Всегда так... зачем чувство охлаждать?..

— Куда же лететь?

— А вот чрез кладбище, за озера, за Волгу... туда, туда... Ты понесешь меня в объятиях... Пойдем в долину; хижину выстроим... Пусть все меня оставят; я никого не хочу...

— Леночка, возможно ли это?

— Ах, какой ты несносный!.. я знаю, что нельзя, ведь не дурочка... Для того разве говорят?... это так. Ведь я люблю тебя, Егорушка...

Молотов засмеялся...

— Ой, как ты громко смеешься!

Леночка замолчала, опустила ресницы вниз; досадные слезы пробивались на ее глазах, она гневно щипала мантилью.

— Господи, чем это все кончится? — вырвалось у Молотова.

— Да о чем же ты горюешь, Егорушка?

Не спросила бы его Леночка с такою любовью, если бы знала, о чем он думает. Молотов от злости стал несправедлив; у него желчь разлилась... Он думал: «„Полетим, Егорушка!..“ ах ты птичка, птичка!.. Полетим!.. «Я сама знаю, что нельзя!..» Что это я наделал?.. Как так втянулся в эти странные отношения?» Припомнилась ему вся любовь, вся игра в поцелуи, пожатие рук и сладкие глазки, припомнились страстные ночи, и досадно ему было, зачем все это случилось. Но, несмотря на все это, он как-то невольно тянул время последнего свидания. «Надобно покончить, — думал он, — сказать ей...», а сам все сидел, и не хотелось ему уйти так скоро...

— Егорушка, да что ты такой скучный?.. что с тобой сделалось?..

Егор Иваныч не отвечал; он думал: «Ах вы божьи ласточки!.. Господи, как все это сделалось? Неужели наши отношения кладут на меня серьезные нравственные обязательства?.. Что нас связало? несколько поцелуев, бог знает каким образом полученных. Я и сам не

знаю, что такое у нас вышло. Во всяком случае, один исход — расстаться».

— Егорушка, — говорила Леночка...

«Допрашивается! — думал Молотов. — Но, быть может, я напрасно беспокоюсь; вероятно, кончится все просто...»

Леночка опять обняла Молотова. Ему сделалось невыносимо.

— Елена Ильинишна, — сказал он серьезно...

— Что?

— Нам пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егор Иваныч не говорил так с нею.

— Разве мы не объяснялись? — спросила она...

— Нет, не объяснялись; все у нас было, кроме объяснений.

— Ну, скажите, — ответила Леночка, боязливо глядя на собеседника.

— Вы меня любите?

Леночка хотела обнять его. Он уклонился.

— Я вас очень люблю...

— Но, разумеется, можете привыкнуть к той мысли, что мы не всегда будем поддерживать наши отношения.

— К чему же об этом говорить?

— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно.

Ей никогда не приходил такой вопрос на ум, и она с замешательством отвечала:

— Да, я вас люблю...

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вам не могу отвечать тем же...

Леночка взглянула на него испуганным взглядом и вскрикнула. Болезненно отозвался этот крик в душе Молотова. «Вот она так любила!» — подумал он.

— Елена Ильинишна, кто же виноват? кто виноват? Вы должны помнить, что не я первый... — Молотов оборвался на полуфразе, потому что невольно почувствовал угрызение совести. «Что ж такое, что не я первый» — шевельнулось у него в душе, и он кончил иначе, нежели начал:

— Боже мой, что же это на меня напало!..

Он страдал. Леночка смотрела все молча и испуганно. Лицо ее было бледно; сердце сжалось и ныло страшно, рука ее как лежала на плече Молотова, так и осталась, и Молотов слышал, как рука ее дрожала слегка. «Зачем же она любила?» — думал Молотов со страхом.

— Что ж это, Егор Иваныч, разве можно так?.. вы говорили, что будете любить...

— Нет, Елена Ильинишна, — проговорил он с усилием, — я никогда этого не говорил... припомните, пожалуйста... Я и сам не понимаю, как все это случилось...

Леночка не возражала.

— Ведь это пройдет; вы меня не сильно любите...

Леночка заплакала.

— Этого еще недоставало, — прошептал Молотов.

Послышалось всхлипыванье и тихое, ровное, мучительное рыдание; запрется в груди звук, надтреснет, переломится и разрешится долгой нотой плача; слезы катились градом... Прислушиваясь к ее плачу, Егор Иваныч невольно вспомнил ночь, когда видел «до гроба верную и любящую...»

— Вон из чего слагается горе человеческое, — прошептал он, — плачет она, бедная!.. что же я-то могу сделать?

— Никому мы не нужны... кому любить таких?..

Она зарыдала сильнее.

Молотов сидел ополоумевши. Последние слова задавили его. Мучительные минуты одна за другою еле ползли. Он слышал, как в висках его стучало... Наконец Леночка стихла.

— Кого же вы полюбили? — спросила она.

— Никого, Елена Ильинишна...

— Вы не хотите сказать... не бойтесь...

— Уверяю вас, никого не полюбил...

— Что же это? — спросила она с изумлением.

— Ах, как тяжело мне, — сказал Молотов...

Долго они сидели молча. Вечернее солнце уходило за лес, и листья сада зыблились и блестели красноватым светом. Мелкая птица кончала свои песни. Тени ложились углами и квадратами. Бледный серп месяца уже глядел с неба. Ласточки, вылетая из-под крыш, трепетали в воздухе, летели на реку, омакивали крылья в воду и опять неслись с визгом... Кто не знает, что в птичьей песне нет человеческого смысла? но кто не отыски-

вает в ней смысла? И Егору Иваныч казалось, что птицы его дразнят. Зяблик все одну и ту же руладу повторяет... отчего?.. оттого, что одну только и знает... Не всегда бывает так тяжело расставанье для истинно любящего, как оно было тяжело для Молотова. «Итак, ко всем несчастиям еще подлость? — думал он. — Ты не должен был целовать ее, если впереди не видел ничего серьезного. Но кто же мог все это предвидеть? Бедная, бедная Леночка! как она плачет!.. как ей тяжело!..»

— Леночка, — сказал он, взял ее руки и крепко поцеловал их. — Леночка, простите меня... все это пройдет как-нибудь... не горюйте... не сердитесь на меня... скажите, что вы вспомните меня добрым словом...

Леночка опять заплакала... Она как будто предчувствовала, что в ней чего-то нет, за что любят других женщин, что ее полюбили так, нечаянно, по ошибке и теперь, так поздно, хотят поправить ошибку. И уже в ее слезах слышалась не только жалоба о потерянном счастье, но и жалоба на обиду, недоверие к себе... Между тем Молотов думал: «Ничем нельзя оправдаться: я подло поступил, подло!»

Он вслушивался в это новое для него слово, как человек, который вслушивается в только что родившуюся и начинающую расти мысль. Вот он что-то очень ясно понял и усвоил, так что это выразилось во всей его фигуре, и он прищурил глаза от внутренней боли. «Подлость? ну так что ж такое? — думал он. — С новым чувством познакомился. Опыты обходятся нелегко, ничего даром не узнаешь. Зато теперь вполне человек!» Ему противно стало от такого направления мыслей: «Но кому какое дело? — думал он. — Всякий сам за себя отвечает, а тут иначе и быть не могло». Ему хотелось остановить в себе это мучительное брожение мыслей.

— Елена Ильинишна, нам проститься надобно.

Она не отвечала.

— Не плачьте, Елена Ильинишна; простите меня.

— Егорушка, меня никто больше любить не будет.

Она бросилась к нему на грудь, обняла, поцеловала его. Рыдания ее надрывали душу Молотову... Жутко ему стало... слеза прошибла, и он с чувством отвечал на ее поцелуи... Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бедной девушки... глупенькой, кисейной девушки... Она так жить хотела, так любить хотела и доживала последнюю

лучшую минуту жизни. Впереди ее пошлость, позади тоже пошлость. Ясное дело, что она выйдет замуж, и, быть может, еще бить ее будут... Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже так, что из нее выйдет не человек-женщина, а баба-женщина. Молотов чувствовал это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадет она!» — думал он.

— Леночка, прости меня, — шептал он...

— Я знаю, отчего ты не можешь любить меня...

Молотов целовал ее руки и сам не знал, что с ним творилось. Он сознавал, что не имеет любви к ней, но Леночка была дорога ему... не как сестра, не как друг... а за то, что она любила его... Никому и дела не было до него, а она?

— Я знаю, — повторила Леночка, — ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая...

Молотов невольно закрыл лицо руками...

— Тебе жалко меня, потому что ты добрый.

— Боже мой!.. — проговорил Молотов, и по какому-то инстинкту он прибавил: — Так женщины не говорят.

— Нас много таких девушек, — говорила Леночка, — но, Егорушка, и такие, как Лизавета Аркадьевна, не лучше нас.

— Леночка, ты ревнуешь?.. Я не могу ее любить... я уезжаю отсюда... я ненавижу их... Эти аристократы обидели, обругали меня...

Молотов, будучи рад, что нашел человека, пред которым мог высказаться, вполне открыл свою душу. Он рассказал Леночке все, что он пережил в последние дни, и как подслушал разговор Обросимовых, и что он думал, как помещик помочь ему хотел, как гадал он по Лермонтову, и о письме друга своего, и как страшна для него будущность — все, все, точно Леночка подругой его стала... Она слушала его с увлечением, положив на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «Да этого не бывает...»

— Я их не люблю, — сказала она горячо...

Молотов поцеловал ее, но это был не страстный, а добрый поцелуй.

— Бог с ними, — сказал он...

— Никогда их не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя. . . . .

. . . .

Они расстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же нас любить нельзя?.. отчего?» Прошли для нее хорошие, добрые дни; но ей было жалко не только добрых дней, тихих вечеров и ясных поцелуев, — она чувствовала какую-то особенную горечь на сердце и все спрашивала: «Отчего же нас любить нельзя?» У нас немало встречается таких женщин, как Леночка, и многие увлекаются их щечками, щечки целуют, и хорошо, если останавливаются только на том, на чем остановился Молотов... Иначе для них невозможна будет и бабья карьера. Что тогда?.. Молотову пришло в тот день на ум: Обросимов не хочет меня признать полным человеком, как сам он, а я Леночку не хотел признать полной женщиной. Но дело сделано, теперь не воротишь!» Однако и Молотов эту ночь провел неспокойно, несмотря на то, что в тот день измучился и физически и нравственно.

Егор Иваныч немало услыхал добрых пожеланий от Обросимовых, когда они узнали, что он едет на службу по приглашению приятеля. Все были к нему внимательны, ласковы, добры. Вот уже в зале накрыт стол белой салфеткой, раскинут огромный дорогой ковер, из спальной комнаты принесена большая икона, свечи зажжены. Аркадий Иваныч настоял, чтобы отслужили напутственный молебен. Пришли священник и дьячок. Во время обряда, от которого Молотов хотел было уклониться, его посетили кротость и смирение. Ему представилось, что он, быть может, никогда не встретится с этими людьми, а после этого ему казалось дико и нелогично сердиться на них. Тогда возникло на душе его то чувство, которое создало афоризм: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». «Все это прошло, — думал он, — а на прошедшее нечего сердиться. Все мертвое, все прошлое, все, что больше не встретится в жизни нашей, — не возбуждает злости».

— Ну, дай вам бог счастья на новом поприще, — сказал Обросимов, — не забывайте нас...

— Желаем вам всего хорошего; мы вас любили, — сказала Марья Павловна, — пусть все вас так любят.

Лизавета Аркадьевна подала ему руку.

— Прощайте, Егор Иваныч, — сказал Володя.

Молотов поцеловал его в голову...

Прислуга толпилась и тоже кланялась Молотову и от души желала ему всего хорошего.

Его провожали, как родного, и умилительна была эта картина, когда чужому человеку чужие люди желали всего хорошего. Ведь это редко бывает.

. . . .

Но не выдумывать же автору несуществующих пока примирений! Егор Иваныч все-таки ненавидел их, хотя и говорил: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». — «Так где же счастье? — спросит читатель. — В заглавии счастье обещано?» Оно, читатели, впереди. Счастье всегда впереди — это закон природы.

1860



Молотов

ПОВЕСТЬ



Осень глубокая.

На Екатерининском канале стоит громадный дом старинной постройки. Он выходит своими фронтонами на две улицы. Из пяти его этажей на длинный проходной двор смотрит множество окон. Барство заняло средние этажи — окна на улицу; порядочное чиновничество — средние этажи — окна на двор; из нижних этажей на двор глядят мастеровые разного рода — шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и тому подобный люд; из нижних этажей на улицу купечество выставило свое тучное чрево; ближе к нему, под крышами, живет бедность — вдовы, мещане, мелкие чиновники, студенты, а ближе к земле, в подвалах флигелей, вдали от света божьего, гнездится сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспашпортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, обкрадывает их, мошенничает; это отребье сносится с днищем всего Петербурга — с знаменитыми домами Сенной площади. Так и в большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бедность на дне столицы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под самым небом. В этом дому сразу совершается шесть тысяч жизней. Он представляется громадным каменным брюхом, ежедневно поглощающим множество припасов всякого рода; одни нижние этажи потребляют до осьми телег молока, огромное количество хлеба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обедни, стук и гром колес

по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу; кричат разносчики, кричат старцы о построении храмов господних, менестрели и троверы нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки, бьют в бубны и металлические треугольники; танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля черт уносит в ад; приводят морских свинок, тюленя или барсука; все зычным голосом, резкой позой, жалкой рожей силится обратить на себя внимание людское и заработать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в аптеке, и тяжко-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу.

Вечер. Тридцать минут седьмого.

В том же громадном доме, в среднем этаже, есть квартира на улицу окнами, которую занимает семья чиновника Игната Васильича Дорогова. Вся семья приютилась около круглого стола в небольшой комнате, освещенной стеарином. Направо сидит женщина лет сорока в чепце безукоризненной белизны, с лицом умным, моложавым и серьезным — это мать семейства, Анна Андреевна Дорогова; налево супруг ее — читает газету; старшая дочь Надя, девушка лет двадцати, вышивает; в то же время, под ее руководством, меньшая сестра занялась азбукою; здесь же приютился и гимназист с латинской грамматикой; два младших брата играют в медные солдатики; самый меньшой спит в люльке... Тихо... Всякий занят своим делом; изредка перекидываются незначительными фразами, которые для всех нас заготовляет повседневная жизнь. Слышен шелест газеты, треск в комнате, шорох платья, монотонные склады, тихий смех и разговор играющих детей, щелканье маятника и удары люльки... Уединилась эта жизнь, и глухо, точно из другого царства, пробивается сквозь двойные рамы шум и грохот городской. Таких тихих вечеров много бывает в этой семейной жизни, и мало слов говорится в те вечера. И зачем слова? Откуда взять материалу для речей? У всякого возникает своя мысль, возникают и зреют думы и мечты, воспоминания и образы. Игла матери пробирается по краю платка, из-под ноги раздаются удары колыбели, сбоку склады дочери, а мысль ее летит по всему пространству прожитой жизни и хочет загля-

нуть в будущую. В душе девушки развиваются фантазии и воздушные замки, обдумывание разных планов и секретов, воспоминание домашней и институтской жизни. Многие женщины любят рукоделье, потому что во время его остается полная свобода для незанятой мысли. Эта семейная группа в настоящую минуту полна смысла и мирного счастья, а между тем тут нет душевной тревоги, страстей, насильственных острот и фраз. Когда во всем Петербурге окна запираются двойными рамами, тогда в низших слоях среднего сословия начинается домашняя, комнатная, запертая в кружки жизнь, и в это время многих манило в светлые, чистые, тихие комнаты Дороговых, потому что зимой скучно и всякий ищет случая приютиться к чужому мирному гнезду. Такого гнезда ищут все бездетные и бессемейные; часто холостяк, одуревший в уединении или разгуле, заходит в те дома, где горит тихая жизнь, хотя бы для того только, чтобы без дела и развлечения, а просто так, сложа руки, посидеть за семейным круглым столом. Иной и отец семейства бежит опрометью из своего дома, потому что там дети плачут, у жены зубы болят, прислуга расчета просит. А вот и бедненько одетый чиновник заглянул случайно в светлую комнату, и у него от зависти навернулись слезы на глазах. «Вот как живут-то!» — думает он. Но бедняк не знает, как трудно выработывается и добывается эта мирная жизнь. Если бы предложить ему, чтобы он прошел весь путь, после которого достигается такая жизнь, он, вероятно, махнув рукой, сказал бы: «Нет, трудно!» — и поплел бы опять горемычную жизнь, подумав про себя: «О господи боже, где бы денег украсть на честный манер, так чтобы можно было жить среди честных людей!»

Да, не сразу устроилась эта жизнь; лет сто, целый век должен был пройти прежде, нежели создалась эта мирная семейная группа, которую мы видим в светлой, уютной комнате за круглым столом. Лет сто назад, когда еще не было громадного дома старинной постройки, жили в Петербурге старик со старухой. Старик шил дрянные сапоги, а старуха пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали с бедой пополам свою дрянную жизнь. Но дочь их Мавра была умна, хороша, выучилась грамоте, читала историю и псалтырь, Четьи-Минею и сонник, Бову и новейший

песенник. Скоро случилось, что она осталась круглой сиротою, без состояния, без покровителей. На помощь явился Чижиков, мелкий-мелкий чиновник; ему понравилась Мавра Матвеевна, и он женился на ней. Тогда-то обнаружились ее таланты. Уже в медовый месяц началась ее трудовая жизнь; вставала она в четвертом часу, ложилась в одиннадцать, стряпала, стирала, шила, мыла, а потом, когда благословил ее бог, нянчила детей — все сама. Научилась она бабничать, знакома была с мелкими торговками, умела все купить по крайне дешевой цене. При всех недостатках, Мавра Матвеевна с изумительным тактом сводила концы с концами и даже откладывала кое-какие гроши в запас, не на черный день, а, как мечтала она, на светлый. Жизнь ее день ото дня становилась светлее. В квартире Чижикова незаметно стали являться довольство и приличие, которых до того он не знал. Он, личность незначительная, смиренная, жившая до сих пор впроголодь, сразу подпал влиянию своей жены, что́ вышло для его же пользы. Он чувствовал себя хорошо и спокойно, не мог нарадоваться на свою хозяйку, на бедно, но чистенько одетых детей. Однако Мавра Матвеевна предоставила мужу не одно наслаждение жизнью; она доставала ему переписку нот и бумаг, по ее настоянию он выучился делать конверты, коробочки, вырезать из алебастра зайцев с качающимися головами, лепить из воску мышей, кошек и медведей. Гордость маленького чиновника сначала оскорблялась подобными занятиями; но когда под руками жены мыши и коробки превратились в рубли и полтинники, а рубли и полтинники вносили достаток в его семью, он подавил в себе гордость и удвоил рвение к занятиям всякого рода. Между тем бог благословил Мавру Матвеевну — у ней было много детей. Когда знакомые по этому поводу соболезновали ей, она отвечала: «Хоть еще столько!» Так и вышло. Увеличение семьи составляет для иных несчастье, а здесь оно повело к лучшему. Деятельный дух матери перешел и к детям; они с первого молоду привыкали к хозяйству; шестнадцатилетняя дочь Анна заправляла всем домом. Тогда Мавре Матвеевне стало удобнее отлучаться от семьи; она появлялась на всех аукционах, во многих домах бабничала, доставала детям работу из хороших магазинов, и таким образом, многотрудным рачением в продолжение

двадцати с лишком лет, Мавра Матвеевна единственно своим умом и энергиею сумела вывести семью из тяжелой, одуряющей бедности. Наконец она почти руками могла ощупать ту мечту, которая когда-то представлялась ей так далека и недостижима, для которой много ночей не спала ее большая семья за срочной работой. У ней составился порядочный капиталец. Тогда совершился переворот в ее жизни; алебастровые зайцы, конверты, собственноручное мытье полов и тому подобные чернорабочие промыслы и занятия были изгнаны из семьи, оставлена старая квартира, брошено знакомство с мелкими торговками. В новом месте, на Песках, отрешившись от чернорабочей жизни, она стала полною чиновницею, в чепце с желтыми разводами, в салопе с длинной пелериной и с огромным зонтом в дождливую погоду. Муж ее достиг столоначальнического термина, и стали его посещать столоначальники, их помощники, архивариусы, экспедиторы, контролеры. Они мало-помалу прививались к древу Мавры Матвеевны, вступая в брак с дочерьми ее. А сама Мавра Матвеевна еще в большой силе; когда дочь ее Анна родила сына, тогда она родила себе еще дочь, другую Анну — это было последнее и самое любимое ее дитя, рожденное в светлой комнате и положенное в кружевные пеленки, это и была Анна Андреевна Дорогова. И вот поколение Мавры Матвеевны стало расти шире и шире, получая в наследство ее деятельный и практический дух. От нее-то и произошли Бирюковы, Касимовы, Дороговы, Рогожниковы, Ильинские, Бенедиктовы, Череванины; по крайней мере, ее духом связались воедино. Тогда Мавра Матвеевна, по ее понятию, достигла возможного счастья. Образовалась целая порода чиновников, особая корпорация, члены которой служили в бесчисленных присутственных местах столицы. По родственной связи поддерживая друг друга, они всегда давали знать своим о вновь открывшейся вакансии, за своих горой стояли, добывали протекцию, и таким образом поколение, созданное Маврою Матвеевною, проработывало себе карьеру во всех сферах чиновного царства. Многие тогда знали Мавру Матвеевну, и маленький чиновник считал за особое счастье попасть в ее кружок. Чтобы представить себе такое счастье, надобно отрешиться от обыкновенного понимания карьеры, с которым соединяются генеральские чины,

многотысячные капиталы, внушающие звезды, аристократические жены, поместья — все, что добывается в высших сферах бытия, где и поклоняются высшим богам и богиням. Есть другого рода карьеры, не поднимающиеся выше столоначальнического термина, так что этот термин, как путеводная звезда, блестит для юноши где-то далеко, в глубокой старости. В этой-то сфере Мавра Матвеевна занимала высшее место, распоряжаясь силами многих душ чиновных. Так она приобрела в своем кругу значение и вес, которые успела упрочить и за детьми своими. На шестидесятом году она лишилась мужа, оделась в черное, оставила все дела, читала духовные книги и знала пол-Библии на память; часто можно было видеть, как она оделяла нищую братию грошами и копеечками, приговаривая: «поминайте раба божия Андрея...» На осьмидесятом году она купила себе место на Волковом кладбище подле могилы мужа, «абонировалась», как выразился тогда один из ее внуков, обнесла место палисадником, насадила клену, малины и сирени. А поколение ее разрослось до осьмидесяти человек. Очень стара она была в то время; под чепцом ее все побелело; морщины на лице, на руках, на шее превратились в трещины; она сгорбилась; память ее отказывалась от сегодняшнего дня, хотя все случившееся давно старуха рассказывала с изумительными подробностями, повторяя одно и то же несколько раз, всегда одними словами и в том же порядке. Ее жития было девяносто один год, и похоронена она, как завещала, среди малины и сирени.

По мужской линии род Дороговых восходит до времен Анны Иоанновны. Первые известия о них сохранились в документе, который оставлен прапрадедом потомству, под именем: «Памятник событий», так что лет через тысячу род Дороговых будет очень древний. Из памятника мы узнаем, что прадед Дорогова был придворным конюхом; служил под начальством Волынского, который однажды пожаловал его сотней рублей, в другой раз — шубой, а однажды ни за что отодрал кошками; дед был приказным, а отец уже чиновником назывался; наконец в лице Игната Васильича древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. Таким образом, поколения прабабушки-мещанки и прадеда-конюха слились воедино и так переродились, что теперь невозможно и подозревать, что предки их некогда стояли на такой

низкой общественной ступени. Таковы исторические судьбы!

Во всякой черной работе есть идея, стремление осуществить в жизни свое желание, завести такой порядок, какой хочется, заставить судьбу совершать те события, которые нам нужны. Мавра Матвеевна народила много детей и при их пособии забрала судьбу в руки. Надо же наконец было воспользоваться ею. Чего хотели эти люди? Они из сил бились-выбивались, чтобы заработать себе благосостояние, которое состояло не в чем ином, как в спокойном порядке, с расчетом совершающемся существовании, похожем на отдых после большого труда, так чтобы можно было совершать обряд жизни сытно, опрятно, честно и с сознанием своего достоинства. Такой идеал у них определялся словами «жить как люди». Они справедливо думали, что до сих пор только работали, а не жили. Теперь отдых настал, и, естественно, им казалось, что самое блаженное состояние на земле — это вечно отдыхать, чувствуя ежедневное спокойствие и упрочивая это спокойствие на завтрашний день. Больше ничего. Но семье все-таки поздно было начинать жизнь снова: много лет ушло, сил потрачено, горя помнилось; оставалась на сердце обида на двадцать лет трудной жизни; поневоле хотелось отведать на ком-нибудь из своих того идеала, который им был так любезен, прочувствовать день за днем, какое есть на свете существование хорошее, и вот вся страсть к жизни нашла исход, окончательно завершенный при появлении Аннушки, к дню рождения которой отец, мать, братья и сестры доработались своего благосостояния. Все заботы семьи выпали на долю последнего дитяти; все любили это дитя, наперерыв ухаживали за ним. Трудно представить себе то довольство, то бесконечное наслаждение, какое ощущали они, глядя на дитя в кружевных пеленках на руках здоровой и красивой няньки, дитя, начинающее жить так, как им хотелось. «Так бы и нам расти нужно было!» — думали они. Жизнь этого ребенка была произведением многих рук, непокладно работавших двадцать лет, потому он и был гордостью семьи. «Что-то будет?» — думали они, и ни на минуту не закрадывалось в их сердце сомнение, что Аннушка, быть может, не оправдает их надежд. Они не имели случая разувериться в ней. Когда Аннушка стала понимать, ей родные рассказали,

что она сейчас же может начать благоденствовать, что они много трудились для нее и всё приготовили; рассказали, как они бедствовали, терпели нужду, не спали ночи над срочной работой, копили деньги; они дали понять ей, какая страшная сила в деньгах, и показали ей много денег. Они говорили, какая у них была квартира, каким пьяным, грязным, ворующим соседством они бывали окружены, какое у них было знакомство, и при этом обнаруживали искреннюю радость, что она ничего подобного не испытает. Прежний быт казался Аннушке противным и тягостным; в то же время она чувствовала, что недавно еще все успокоились после долгого выбиванья на свет божий, и убедилась, что цель достигнута, дальше некуда стремиться, до предела дошли. У ней под влиянием таких условий выработался склад души вполне ясный, определенный, удовлетворенный. Она любила своих родных, свое хозяйство, свое благосостояние. День за днем проходили ее девственные годы, без порывов из замкнутого около ее круга. Все шло у ней регулярно, чинно, благонравно; репутация ее была в высшей степени безукоризненна. В таких девушках предвидятся отличные хозяйки. Она желала себе всего того, чего ей другие желали. Отсюда не следует, что у нее не было своего ума и своей воли; напротив, она была умна и настойчива, но ее ум и воля вполне совпадали с целями старших; она сама хотела всего того, что с ней случалось. Насилия не было. В ее натуре не было нравственной потребности сделать попытку — взглянуть за пределы семейного мира. Она родилась в такой положительный час, когда завершался результат долгой работы целого поколения, результат, которым осталось ей только воспользоваться. В ней воплотился идеал поколения, и вот к таким-то личностям невозможно относиться обличительно, представляя их ограниченный кругозор; нельзя досадовать, видя их спокойные лица, выражающие откровенное нежелание идти вперед. «Довольно!.. для нас лучшего не надо!» — написано на их красивых, дышащих счастьем лицах. Невольно соглашаешься, что такое спокойствие вполне законно, точно чувствуется, что жизнь и природа, долго работая в этом уголку сословия, хотели достигнуть пока ближайшей цели, достигли, сложили руки и отдыхают. Напрасно говорить Аннушке, что есть жизнь более полная и широкая, хотя часто со-

провождаемая душевными муками и не так обеспеченная, — она ничего не поймет и ничему не поверит. Если же на минуту и возникнут в душе ее сомнения, она спросит мамашу, сестер, и те легко и ясно докажут ей, что нет счастья выше их счастья — сытного и спокойного, регулярно каждый день справляемого. Впрочем, на ее долю не выпало и случаев таких, которые заставили бы ее развиться в ином направлении. Книги ей попадались большею частию такие, которым нельзя было верить, — очевидно лгали, описывая то, чего нет на свете, — либо такие, которых она не понимала. Правда, она читала и лучших поэтов, но и они не расшевелили ее: в книгах она не нашла ничего похожего на свою жизнь, что́ отчасти случилось и с дочерью ее Надей, хотя у последней имело совершенно иной исход. Книги развили ее вкус и научили говорить хорошо. Не много она получила и от пансионного воспитания. Наконец, в кругу этой девушки не было тех образованных молодых и горячих на слово людей, которые могли бы увлечь ее, — всё чиновники, чиновники и чиновники, ох, как много чиновников! Да и явись самый увлекательный мужчина и позови Аннушку на иную жизнь, она, прислушавшись чутко к новым речам, увлеклась бы на несколько минут, а потом опять точно ничего не слыхала, ничего не узнала. Вот это-то и называется цельною натурою. Она всегда прилична, достаточно благочестива, старшим покорна, к хозяйству прилежна. Но полной женщиной она сказалась во время замужества; тогда в ее характере развились новые стороны, которые в девушке лежали пока в зародыше.

Брак Анны Андреевны состоялся после семейного совета, в котором и она принимала участие. Когда обсудили со всех сторон дело и нашли, что Дорогов — отличная партия, она сказала матери и сестрам: «я согласна», заплакала, но тотчас же почувствовала влечение к Игнату Васильичу, который, надо сказать, был молод и недурен собою. Она по чистой совести в церкви сказала — «да».

Анна Андреевна незаметно сделалась царицей домашней жизни, хотя это было для нее труднее, нежели для ее сестер, которые уже в медовый месяц обозначались полными домовладычицами, чему мужья и покорялись после легкой борьбы. Но знаете ли, каков был

некогда ее муж, да и теперь остался отчасти? Он, как большинство, думал смолоду, что холостая жизнь есть самая лучшая жизнь не только потому, что она удобна для разгула и частой перемены любовного продукта, а и потому, что пока человек не женат, он никого не знает и знать никого не хочет, не стеснен никем, ни о ком не заботится, никого не кормит, все деньги идут на его одного; несчастлив, так один несчастлив, — никто, кроме тебя, не тяготится, никто вместе с тобою не плачется на судьбу; а счастье посетило, так возьми первого встречного на улице — всякий с охотою разделит счастье. Не слышите ли чего знакомого в этой системе, по которой нам горько делить с ближним даже несчастье, потому что с какой стати будут вторгаться в мою душу посторонние люди? Этой системы смолоду держался и Игнат Васильич. Он женился бы в свое время, лет под сорок, когда бы понадобилась хозяйка, сиделка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородия, а следовательно, и больших расходов и забот по любовному делу. Так рассуждают самцы; такая система — дело расчета, коммерческий оборот. Но подошли же и сложились обстоятельства иначе. Игнат Васильич, — он до сих пор не понимает, как это с ним случилось, — страстно полюбил Анну Андреевну и до того запутался в этом деле, что увлекся и позволил себе жениться в молодых летах, на двадцать осьмом году жизни. Когда прошел первый пыл увлечения, он стал раскаиваться; когда же молодая, горячая страсть совершенно остывала и должна была превратиться в тихую, ровную и прочную любовь семьянина, он просто сбесился и начал так кутить, что едва его не выгнали со службы. В это время он немного образумился. Между тем во время беспутной жизни мужа зрел характер Анны Андреевны. Будучи мещанского рода, она много сохранила в памяти рассказов о страшно изломанной семейной жизни, о деспотизме и полноправии мужей, о пьянстве их, домашней бедности и неисходном семейном горе. Анна Андреевна дрожала и бледнела от одной мысли, что и она может испытать такие же бедствия, она уже видела приближение их, и в голове ее проходили отвратительные картины разрушенного хозяйства, невоспитанные, быть может ворующие на улице дети, и в то же время она очень хорошо знала, что нет на свете власти между мужем и женою, жаловаться не-

кому, судиться негде, что муж и жена так связаны между собою, что всякое наказание ему служит наказанием и ей, и детям, и всему будущему ее поколению. Она в ужасе падала перед иконою божией матери, и рыдала, и молилась. Бессонные ночи и полусонные дни летели чередой, но не было помощи ниоткуда. В один день она почувствовала, что под сердцем ее что-то живет, — то была Надя; она сознала в себе силы и решилась бороться с мужем без слез и жалоб, требовать, тогда как до сих пор она только плакала, худела и умоляла мужа. Тогда ей жизнь дала новый урок. Игнат Васильич был страшно упрям и крепколоб. С ним трудно вести открытую войну; у него как-то особенно строились убеждения, организация их была оригинальна. Он, знаете ли, охотник и порассуждать, но, ради бога, не доказывайте ему ничего, не надейтесь приобрести в лице его адепта вашего учения, коль скоро заметите, что он с вами не сходится, — даром потеряете время. Лучше предоставить его самому себе: быть может, и догадается как-нибудь и сам дойдет до вашей мысли. Он долго слушает, запоминает слова ваши, соображает, и бровями поведет, и нос пальцем подопрет; он, по-видимому, увлекается, но под конец все-таки скажет неожиданно: «Да нет... все это не то... я не думаю так». — «Отчего?» Ответ старый. Трудно своротить Игната Васильича, потому что своя мысль сильно врастает в его крепкую голову. Кто знает этого человека, тот не любит с ним много говорить, а прямо приглашает к зеленому столу. При этом упорном характере в нем были развиты дикие инстинкты. Он смеялся над любовью, несмотря на то, что женился по любви. Этот мормонист по натуре имел некоторые и служебные неподвижные истины. Он некоторых начальников глубоко ненавидел, но ни разу не подвел их, хотя и имел к тому много случаев; службу он считал священнейшим долгом своим, хотя одно время, увлекшись разгулом, едва не лишился места; человека выгнанного, даже напрасно, он презирал; формалист был страшный, смешивал самым искренним образом службу делу со службою лицу; исполнительность и безгласное повиновение считал едва ли не выше самого знания дела. Вот этого-то господина — произведение департаментской фауны — пришлось укрощать Анне Андреевне. Она решилась твердо предъявить свои права. Прежде при сле-

зах и упрашиваньях жены молодой супруг только охал да хмурился, выжидая первого повода уйти из дому; но когда она стала требовать от него порядочной жизни как долга, упрекала его, напомнила брачные клятвы, Игнат Васильич вышел из себя, обругал жену, надел пальто и шляпу и, на ее же глазах положив в портмоне двести рублей, скрылся из дому на неделю. Анна Андреевна едва не захворала; но у ней был организм железный, и она перемогла обиду. Она поняла, что́ за человек был Игнат Васильич; попытка наступить на мужа прямо — была с ее стороны первая и последняя. Она нашлась наконец. С того времени муж редко видал ее недовольною. Родилась у них дочь — это несколько привязало Дорогова к дому, а между тем в воображении Анны Андреевны быстро развернулась целая система действий относительно мужа, влияние которой он и испытал на себе. Успех жены был полный, так что мы видим в Игнате Васильиче мирного семьянина, который изредка только отзывается по-старому холостяком, и то в слабой степени и в другом направлении. Анна Андреевна оказалась и умнее и сильнее своего мужа. Она незаметно сделалась полной царицей домашней жизни; ее планы, ее мечты осуществлялись, а муж должен был стушеваться. Где же она нашла силы? Это женский секрет. Она принялась ткать дивную ткань тонкими шелками по канве семейной жизни, долго и усидчиво. С грубой силой, с беззаконным правом вступил в тайную, подземную борьбу ум женский — изобретательный и изворотливый, гибкий и терпеливо выжидающий. Дорогов не замечал, как подводили подкопы под его убеждения, перевоспитывали его, перестряпывали, отняли у него прежний характер и дали ему совершенно иной. Он не подозревал, что, при всех поцелуях, при всей любви к нему, Анна Андреевна ни разу в продолжение двадцати двух лет не была вполне откровенна с ним, изучает все его слабые стороны, знает, что́ и когда может иметь на него влияние. Здесь требовалась работа мелкая, а Анна Андреевна любила заниматься узорами. У ней для того и времени много; муж на службе, а жена сидит за шитьем; голова ее свободна; она многое передумает, все рассчитает, взвесит и предусмотрит. Под полным влиянием Анны Андреевны дети и прислуга; она искусно делает их орудием своих целей: дети всегда хотят того,

чего она хочет, ласкаются к отцу, приготовляют его, просят. Она сумела заставить детей любить отца, угождать ему, а через это отца привязаться к ним. У самой у ней были дорогие для житейской практики свойства. Она, несмотря ни на какое расположение духа, могла держать себя ровно и прилично. Она говорит довольно связно и слушает настолько внимательно, что знает, что́ надобно отвечать, но в то же время думает о своем деле. Для собственных ощущений у нее не было выражения на лице; трудно догадаться, когда этот человек скучает или сердится; лицо ее сразу навсегда приняло известные формы, да так и не переменяло потом. Она никогда почти не краснела, не увлекалась, не отступала от внешних обрядов жизни. При этом Анна Андреевна мастерица заставить делать то, чего ей хочется, не сказав о том ни слова, не попросив ни разу. «Над диваном бы повесить отцовский портрет», — говорит муж. — «Отчего ж и не повесить?» — соглашается жена, но ей это не нравится, и посмотришь — через полгода портрет висит в спальне за печкою. Потом Анна Андреевна сумеет навести мужа на мысль, что он захочет *сам* переменить место портрета, а жена, когда придет время исполниться ее затаенной мысли, притворяется и называет мужа бесхарактерным: тот захочет поставить на своем, а чрез это-то и сделает то, что желает жена. Анна же Андреевна устраивает ему и пульку, и шахматную игру, и любимое кушанье, и беседу умных людей. Она знает все его привычки и прихоти, знает, когда можно с ним говорить, просить его, желание его не исполнить, как приготовить сигару, где поставить солонку во время обеда; она сосчитала все мозоли на его ногах и чулки к ним приноровила. Анна Андреевна старалась сделаться необходимою для мужа, так, чтобы без нее у него весь день пошел бы навыворот от беспорядка, чтобы он жить без нее не мог. Все хозяйство было приноровлено к тому, чтобы каждая вещь нравилась мужу, и в умной голове Анны Андреевны домашняя обстановка является в тысяче комбинациях; вечно, безустанно мысль ее работает над одной и той же задачей. Анна Андреевна создалась так, что удальство, резкость, крупное остроумие, громадные физические силы, распаляющие страсти, лирические порывы из верхнего этажа вниз головою и тому подобные идеально-широко-бесшабашные атрибуты, цен-

ные в характере мужчины для некоторых женщин, для нее не имели никакого смысла. Она любила тишину, деньги и детей. Она решилась добыть себе мирную жизнь и вот повела многолетнюю переработку своего сожителя, и после неимоверно напряженной и тайной, неуследимой борьбы у Дорогова оказалось не то лицо, не та походка, не те вкусы, не те речи, не те друзья и знакомые, которые были прежде, — так он переменился. Обуздали его и перевоспитали. И что удивительнее всего, во всем этом не вражда была; нет, это любовь была. Каких чудес не совершается в православной, русской жизни? Она любит своего мужа, всегда верна ему, о своих удовольствиях заботится менее, нежели о его удовольствиях; она скорее сошьет мужу шубу, нежели себе салоп, а еще скорее деньги употребит на детей. Она лелеет его, покоит, богу за него молится. Ведь Дорогов — произведение рук ее, — как же не любить ей Дорогова? Но главным образом любовь и терпение Анны Андреевны вытекали из ее положения. Любовь ее была обязательная, предписанная законом, освященная церковью и потому неизбежная. Ей нельзя было ненавидеть мужа, иначе она погибла бы. В иных слоях общества жена мужу говорит: «Я не хочу с тобой жить» — и уезжает на вольную квартиру, а здесь об этом и думать было невозможно... Бежать?.. куда?.. А проклятие матери, которая ее не пощадила бы? а ненависть родных? а бедность? а дети? — бросить их, что ли? а страстное желание жить, как люди? а, наконец, сила брачных обязательств? Все так сложилось в жизни Анны Андреевны, что она поставлена была в необходимость полюбить своего мужа, и она сумела полюбить душу его, наружность, общественное положение. Для этого она отыскала в муже добрые стороны, выдумала их, обольстила себя насильно, что было возможно только при ее холодном и степенном характере. Само собою разумеется, что обязательная любовь Дороговой не могла быть страстною, романическою. Это была сдержанная, спокойная, искусственно воспитанная привязанность к законному мужу. Из этой сферы, довольно узкой и душной, никогда не порывалась Анна Андреевна. За пределами заколдованного круга она не знала ни смыслу, ни свету. Ей думалось, все, что она слышала о нравственном, изящном, святом, осуществилось наконец в ее жизни. Она была

невозмутима; совесть ее спокойна; и если каялась Анна Андреевна духовному отцу, приговаривая: «грешна, батюшка, грешна», то единственно по христианскому смирению. На самом же деле она сознавала свое достоинство и считала себя безгрешною, и муж едва ли не признавал ее святою — так была безукоризненна ее репутация. Все в ней нравилось Дорогову, он видел в ней что-то аристократическое, важное, она похожа на барыню хорошего тона, что́ окончательно покоряло его; она хороша, умна, получила некоторое образование, любит мужа, отличная хозяйка, у нее так много детей, она так хороша с гостями, детьми, прислугой, его друзьями. В добром расположении духа Игнат Васильич, целуя свою жену, говаривал, что благоговеет перед нею. Но Игнат Васильич смутно чувствовал, что через жену стал домовитым человеком, и никогда не мог допустить и сознаться, что в его доме царствует женщина. «Я глава дома!» — думал он с непобедимою своею упорностью. Анна Андреевна о словах не спорила; ей дорог был результат. Женщина с большими запросами от жизни объявила бы явную вражду такому мужу, как Игнат Васильич, и непременно проиграла бы, потому что он крепок был на слово и на дело; а она не проиграла, взнуздала мужа, укротила его и поехала куда хотела.

Таким образом, нужно было сто лет назад народиться Мавре Матвеевне, работать двадцать с лишком лет, добыть материальное благосостояние, потом народиться Анне Андреевне, работать над мужем тоже с лишком двадцать лет, и тогда только мог состояться тот мирный семейный вечер, который мы видели в доме Дорогова. Но и после всего этого все-таки мирные вечера нарушались здесь по самым пустым причинам, все еще счастье не было упрочено окончательно. Игнат Васильич сделался домовитым человеком, но все-таки остался Игнатом Васильичем. Много мрачного осталось в его характере. Подозревал ли он инстинктивно, что его обезличили, или в натуре русского человека, даже чиновника, гореванье и серенький взгляд на жизнь, — что бы то ни было, но ему подчас становилось невыносимо скучно. Расположение духа Дорогова было большею частью серьезное, с оттенком строгости, грусти и задумчивости.

Он мало разговаривал с детьми, отвечал им резонно, коротко и ясно; дети дичились его, любили уходить из той комнаты, где он сидел, потому что отец не терпел шуму, говорили с ним тягучим, жалобным голосом. Но когда случалось, что отец позволял себе болтать и шутить с ними, дети делались свободны, карабкались к нему на колени, рылись в его бакенбардах; хохот детский, крик и визг около Игната Васильича, и наслаждается он сознанием, что у него добрая семья, и называет их канальями. Но лишь только скажет отец своим строгим голосом: «Довольно, дети!» — дети сразу оставляли его и начинали выжидать, как бы уйти из той комнаты, где сидит отец. В добром расположении духа Игнат Васильич все простит и забудет; когда же расположение сменялось, тогда толк и правда в семье становились иные: прежде умное считалось глупым, позволительное — запрещенным, часто следовало наказание, за что прежде почти поощряли. Недоспит ли он или не поладит в департаменте, дуется ли его любимая канарейка, или много луку положено в суп, или просто пасмурный день произвел дурное впечатление, — все это у него сейчас же обнаружится на словах и на деле. Он любил сорвать на ком-нибудь гнев, причем он к жене редко придирался, к старшей дочери тоже мало, но меньшим детям приходилось плохо. В таком случае всегда следил за ним зоркий, всевидящий глаз жены. «Что, если переменится? — думала она. — Начнет бездомничать, пристрастится к клубу, к товариществу, к трактирной жизни?»

Семейная группа за круглым столом начинает расстраиваться. Мать пошла хлопотать по хозяйству; гимназист ушел в другую комнату, и другие дети посматривают, как бы улизнуть из-за стола, за которым несколько минут назад так весело было сидеть. Эти люди настолько знают друг друга, что довольно одного взгляда на отца, и они догадываются, что отец обестолковел немного.

— Поди ты прочь!.. Что тут торчишь все? — говорит отец Володе, который очень близко сел к нему.

Володя подвинулся; потом, посидев немного, поднялся со стула и направился к двери.

— Куда? — остановил его отец.

— В ту комнату, папенька...

— Зачем?

— Так.

— Шалить?.. Сиди здесь.

Володя садится к столу с стесненным сердцем.

— Зачем ногами болтаешь? — кричит ему отец. — Тебе говорили, что это нехорошо?

Мальчик оправляется.

— Володя! — слышно из другой комнаты.

— Вон мать зовет, поди, — говорит отец.

Володя уходит с радостью и твердым намерением избежать встречи с отцом до самого ужина.

Игнат Васильич сознает между тем, что попусту придирался, и в его душе является смесь и борение разных чувств — и грусти, и досады, и недовольства собою, и совестно ему, и сам он понять не может, что с ним делается. Все его беспокоит и раздражает, а Федя, как нарочно, начинает скрипеть дверью, чего отец терпеть не мог и в добром расположении духа.

— Что я тебе тысячу раз говорил, а? — спрашивает он сына.

Тот молчит.

— Говори же!

Молчит.

— Ты умеешь говорить?

Молчит.

— Я ж тебя заставлю отвечать, каналья этакая!.. Встань в угол!

Федя ни с места.

— Ну!

Мальчик, потупясь в землю, медленно подвигается к углу.

— Стой до тех пор, — говорит отец внушительно и с расстановкою, — пока не скажешь, за что поставлен.

— Не знаю! — говорит жалобно Федя.

— Феденька,— вмешивается Надя,— скажи, что скрипел дверью, и проси у папаши прощенья.

— Не хочу, — шепчет упрямец.

— Не тронь его, Надя, — он упрям.

— Ну да, упрям!

— Молчи, каналья!

Игнат Васильич подходит к окну и начинает барабанить по стеклу пальцами. Сын опять начинает ворчать под нос себе:

— И поиграть нельзя... все запрещают... все худо...

— Вот я тебя, грубиян, не велю к тетке брать...

— И не нуждаюся...

— Я тебе уши выдеру...

После этого Федя перестает говорить.

Чувства беспокойства и недовольства собою еще выше поднимаются в душе Дорогова. Он думает о сыне: «Откуда в нем это упорство? в кого он такой уродился? Боже мой, заботишься о них, растишь, а вот какая благодарность!» На сердце его становилось горько-горько. А, очевидно, Федя уродился в него же, поддаваясь не влиянию наставлений и наказаний, а примера в поступках отца. Мальчик, видя постоянные противоречия, привык полагаться на себя и решение свое считать последним. Он инстинктивно растил свое: «мне досадно» и «мне так хочется» и редко мог воздержаться, чтобы не отвечать на выговор отцовский заунывным тоном какую-нибудь грубость. Так во всяком семействе можно наблюдать ту силу, которая в разных его членах создает одинаковые свойства, по законам отражения от одного лица на другое.

Гимназист заглянул в комнату.

— Что ж ты не занимаешься своим делом? — спросил его отец.

— Я приготовил уроки.

— Что ж, уроки только?

— Я...

— Я, я, я! Затвердил одно!.. Экие упрямые у меня уродились, прости господи!.. На-ко вот книгу, прочитай эти пять листков... Он только для учителя готовит! — а ты для себя учись!

Отец долго говорил на эту тему, так долго, что гимназист рад-радехонек был, когда получил из отцовских рук книгу и дождался времени уйти вон. Отцу еще хуже. Он начинает ходить из угла в угол, ходит долго и тревожно, нахмурившись, как туча.

— Папаша, — говорит, глядя на пол, Федя.

— Ага! — отвечает отец злорадостно. — Что? надоело в углу стоять?

Как только сказал отец «ага», Федя опять не может говорить, точно ему заперли рот на замок.

— Что ты хочешь сказать?

Ничего не может сказать мальчик.

— Постой же еще! — говорит отец с упорством и злостью.

Федя хочет сказать, но не может; ему стыдно.

— Ви... но... ват! — наконец произнес он с усилием.

— В чем же ты виноват?

У Феди слезы на глазах.

— Ну, объясни толково...

— Скр... ри... пе... л, — отвечает ребенок, всхлипывая.

— Зачем ты скрипел?

— Не... зна... ю.

— Тебе запрещено было?

— Запре... ще.. но...

Ребенок разрыдался.

— Слезы!.. слезы!.. — сказал с тоской Игнат Васильич. — Ох ты, господи! (Сильное удушье слышалось в этом отцовском «ох».) Ну, полно тебе, перестань, — говорил он смягченным, но все еще суровым голосом. — Ну поди, Федя, к матери, поди к ней.

Федя постоял и помялся немного, отер кулачонком слезы и потом пошел к матери.

— Дети, дети! — глубоко вздохнув, проговорил Игнат Васильич. — Ничего-то не понимают они, только отца сердят, а отец для них как вол работает...

— Вы, папаша, не волнуйтесь, — говорит Надя.

— Обуть, одеть, накормить всех надобно, выучить и к местам пристроить, а какая благодарность...

Проходит несколько мучительных минут. Дорогов хочет заняться газетой, но не может. Все его сердит и раздражает.

— Антонелли, Кавур, Виктор-Эммануил, —ворчит он, пробегая газету, — а пропадай они совсем — мне-то что до них за дело? Вот честное слово, провались Италия сквозь землю, я и не поморщусь. (Говорит он это, а между тем вчера интересовался политикой и завтра будет интересоваться ею.) Это что? критика?.. Ну ее к бесу... (Он перевертывает лист.) Тут что? «О дороговизне квартир»... Вот чепуху-то разводят; ничего не смыслят, а все-таки пишут. — «Пожары». (О пожарах он прочитал внимательно.) Так и есть, причина неизвестна, — сказал он, причем в его голове шевельнулись злые и довольно либеральные для его чина мысли. — «Самоубийство», — читал он далее. — Болван какой-то повесился; отодрать бы его хорошенько. (Но тут и сам он смекнул,

что мертвых драть нечего.) — «Откармливание свиней»... «О мостовых»... «Несчастье от кринолина»... «Пригон скота»... — Пишите себе на здоровье! О свиньях пишет, и то гуманность упомянет; повесится какое-нибудь животное, и тут о прогрессе скажут... Литераторы!.. Экие газеты у нас!.. Эту еще почтенный и ученый человек издает, семьянин, свой дом имеет, и все-то там, говорят, живут писатели. Ну к чему ты, Надя, дала мне газету?

Дочь посмотрела на него с удивлением, потому что она не давала ему газеты.

— Зачем ты подсунула мне эту газету? О Надя, меньше читай; я тебе это не раз говорил и еще много раз буду говорить. Станешь зачитываться, — забудешь добрую нравственность, потеряешь веру, уваженье к родителям и старшим, появится вольнодумство, недовольство собою и всеми людьми... Книги ведут к размышлению... это-то и худо... покажется, что надо жить не так, как живешь, а отсюда неповиновение и разврат.

Надя молчала; ей скучно было. Отец долго бранил книги и писателей.

«Хоть бы ушел он куда-нибудь, — подумала Надя, — либо к нам навернулись бы гости».

Желание Надежды Игнатьевны было очень естественно. Когда приходили посторонние люди, хотя бы и родные, отец из приличия не позволял себе делать разных выходок, хотя бы и был не в духе, — никогда и никого не поставит в угол, не сделает выговора; разве только за углом где-нибудь, улучив удобную минуту, шепнет неприятное словцо. Один купец, который бил детей своих и плетью и палкой и за вихры таскал их, говаривал Наде: «У вас Игнат Васильич не отец, а просто добрейший человек!»

В ответ тайной мысли Нади вдруг раздался звонок в прихожей.

Боже мой, как все оживилось, забегало, повеселело в квартире Дорогова! Гимназист швырнул книгу на этажерку, Федя поехал верхом на отцовой палке, Надя отправилась к фортепьяно, — канарейка и та проснулась и шарахнулась в клетке; одна Анна Андреевна всегда одинаково серьезна и ровна. В воздухе точно пронеслось: «Свобода, тишина! брань миновалась! Дети, играйте,

отец вас не тронет больше!» И действительно, отцовское лицо прояснело. Он заботливо осмотрелся, взял газету, только что швырнутую им, и, как будто читая, глядел в нее внимательно, а сам нетерпеливо ждал посетителя.

В комнату вошел коротенький, толстенький человек лет сорока, с крупной золотой цепью на брюшке, с багрянцем на щеках, с лысиной на голове, подвижной и бойкий, аккуратно и опрятно одетый.

— Макар Макарыч, — приветствовали его Дороговы, — добро пожаловать.

Макар Макарыч Касимов, помощник столоначальника и бухгалтер одного акционерного общества, осведомился сначала о здоровье дам, потом хозяина, наконец, малых детушек, одного из них поймал за плеча и поцеловал, другого погладил по голове, успел поправить светильню на свечке и снять нитку с сюртука Дорогова, сказав: «У вас ниточка», и потом вдруг угомонился и смирнехонько сел к столу.

В гостиную опять собралась вся семья; опять начался мирный семейный вечер.

— Что нового? — спросили у Макара Макарыча.

— Известно, что!.. — отвечал он.

Все посмотрели на него.

— Дороговизна! — закричал Касимов и рассердился не на живот, а на смерть.

Все слушали его спокойно, зная, что это у него уж темперамент такой, что высокие ноты в его голосе не должны никого беспокоить, он сейчас же и утихнет.

— Угадайте, чтó просили с меня за сажень дров?

Никто не отвечал.

— Нет, вы угадайте.

Все продолжали заниматься своим делом, будучи уверены, что Макар Макарыч сам же и ответит на свой вопрос.

— Семь рублей... — сказал он язвительно, точно дразнил всех. — Что, хорошо? нравится это вам? утешает?

Дорогова забрало наконец.

— Скажите, — отвечал он, — ах, мошенники!

— То-то и есть, мошенники!

Завязался оживленный разговор. Вспомнили те времена, когда фунт хлеба стоил грош и даже менее, перебрали, что ныне стоят свечи, сахар, мука, мыло, мясо, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась

речь. Макар Макарыч выводил один за другим на свет божий поразительнейшие факты. Вся душа его кипела; он был в своей сфере и жил полной жизнью.

— Зато деньги теперь дешевле, — сказал, входя в комнату, новый гость.

— Только не для нас, — ответил запальчиво Макар Макарыч и даже не здороваясь с гостем, — не для чиновников; вы, доктора, ничего этого не понимаете.

Доктор Федор Ильич Бенедиктов был серьезный господин высокого роста, с умным лицом и в очках. Он говорил крупной октавой, точно дробью катал по туго натянутому барабану.

Коммерческая ярость Макара Макарыча мало-помалу укротилась. Один вопрос, касавшийся насущных потребностей круга Дороговых, отошел в сторону. На очередь выступил другой вопрос.

— У Ильинских плохо, — сказал доктор, — корь у детей.

Началось общее сожаление и тревога.

Дети были любимым предметом Анны Андреевны, и вот она, будучи рада, что есть случай поговорить о них, в сотый раз рассказывала, как Федя на третьем годку снял с себя башмаки, чулки, рубашонку, побросал их за окно и остался совершенно голый; как Леша, едва научился ходить, и ушел, не замеченный никем, за двери, успел спуститься с двух лестниц и только тогда хватились его; как Сеня насыпал песку в табакерку крестной мамаше, генеральше. Она сообщила, что Надя хлеб называла — «мо», Коля — «фа», Соня — «фу-фу», а Володя — «ля». Все, что составляет жизнь детей, — когда ребенок первый раз улыбнулся, взял в ручонку какую-нибудь вещь, начал ползать, стоять, ходить, когда куплена азбука, как определяются дети в гимназии и институты, — все это предметы душевных рассказов Анны Андреевны. Но наконец истощился запас разговоров и по этой части. Анна Андреевна не знала, чем бы занять гостей, и когда завела разговор о выкройках, в то время пришли еще гости.

Один из них был экзекутор Семен Васильевич Рогожников, любивший посмеяться над дамами, ненавидевший католиков, лютеран и ученых. Глаза его тусклы, нос кругл, щеки большие, шея короткая — живое олицетворение паралича. Другой гость был более нежели среднего роста, несколько сутуловат, плотно сложен;



здоровье и крепость были видны во всей его фигуре; хорошо устроенный лоб и серые глаза обнаруживали ум; современные густые бакенбарды покрывали его щеки. Это был Егор Иваныч Молотов, архивариус одного присутственного места. Пришедшие поздоровались.

— Макар Макарыч, — сказал Рогожников, — у нас вакансия открылась.

Все смолкло.

— Вот вашему сынишке и местечко. Директор обещал.

Все шумно поздравляли Макара Макарыча. На сцену выдвинулся в лице Рогожникова служебный вопрос, столбовой, коренной вопрос жизни этих людей.

— Вы знаете нашего урода-то, — говорил Рогожников о директоре, — насилу нашел удобный случай поговорить с ним.

— Как же вам удалось переговорить с этим зверем?

— А презабавный тут вышел случай у нас. Есть у нас чиновничек, Меньшов, молоденький, хорошенький, умненький, бедно, но всегда чистенько и щеголевато одевается. Этот господин, как вы думаете, какую штуку выкинул? Ни больше ни меньше, как влюбился.

— То есть как влюбился? — спросил Дорогов.

— Вот как в романах влюбляются...

— Ну, полно, — сказал Дорогов.

— Поросенок! — прибавил Макар Макарыч.

— В чиновницу влюбился, — продолжал Рогожников, — тоже бедненькую девочку. Вот наш Меньшов сам не свой, на седьмом небе, всех своих товарищей перецеловал и на радостях сдуру разлетелся к нашему директору: «Так и так, говорит, жениться хочу».

— Ну, что же директор?

— Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» — «Двенадцать рублей в месяц». — Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» — «Нет, ваше превосходительство». — «Так это вы нищих плодить собрались? — закричал директор. — Ни за что не дам свидетельства на женитьбу!» Меньшов растерялся, а генерал начал его поучать: «Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, канальи! Вы хотите государство обременять! Зачем вам дети, скажите-ко? Как их вы будете растить? драть начнете, ругать каждый день, а они играть в бабки, в свайку, в орлянку, таскать гвозди из заборов, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грош на пряники; с горем пополам научите их читать да писать, и кончится тем, что поместите их куда-нибудь в писцы, и правительство же должно будет учить их правописанию? Вот жених-то! Повернитесь-ко, я на вас в профиль погляжу... ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай да жених!.. Я сам, батюшка, холостой человек... отчего?.. а что я стану с детьми делать? пороть их каждый день, а с женой браниться, — а ведь этак-то нельзя, милый мой». Меньшов заплакал. «Что ж, очень хороша, что ли, ваша невеста?» — спросил директор. — «Да, ваше превосходительство». — «Она с кем живет?» —

«С тетенькой». — «Тетенька позволяет вам видеться, гулять вместе, оставаться вдвоем?» — «Позволяет». — «Ни за что же не дам свидетельства. Можете и так любиться. Не шуметь, молодой человек!.. Ну, я вас к награде представлю, повышу местом, только оставьте свои нелепые затеи». Меньшов целую неделю после того не являлся в должность.

— Так и не получил свидетельства? — спросили Рогожникова.

— Слушайте, что дальше будет. Недели две спустя является к нашему директору невеста Меньшова — и бух ему в ноги. Его превосходительство растерялся; он не мастер обращаться с женщинами. Невеста объяснила ему свою просьбу. «А, так это вы? очень приятно познакомиться... прошу покорно садиться... Я слышал, что вы желаете вступить в законный брак... Что же, это похвальное дело. Но хорошо, что вы ко мне пришли, а то бы вы натерпелись большого горя. Ведь ваш жених Меньшов?» — «Да». — «Но ведь он негодяй первой руки, пьет страшно, грубит начальству, его скоро выгонят вон. Товарищи недавно поколотили его за кражу часов; он несколько раз сидел в полиции». Девушка едва не упала в обморок. «Ну хорошо ли вам будет, когда сделаетесь его женою? Представьте, что он будет всегда пьян, бить вас будет, наведет домой буйных товарищей, последний салопишко ваш продаст; когда выгонят его из службы, вы же будете кормить его трудами рук своих; куда бы вы ни скрылись, он вытребует вас через полицию и заставит жить вместе. Поди-ко, он рассказывает, что я запрещаю ему жениться за его бедность?.. Полноте, бедность не порок; и в бедности добрые люди живут хорошо. Я оттого не дам ему свидетельства на женитьбу, что он негодяй и что он погубит такую прекрасную девицу, как вы». Директор такие ужасы наговорил невесте, что она с рыданием оставила его. Его превосходительство проводил развенчанную невесту до дверей и, когда она скрылась из глаз, сказал: «Вот теперь я посмотрю, как ты женишься!.. молокосос!.. нищий!.. Покажи-ко теперь невесте свой регистраторский нос, да она тебе глаза выцарапает! — Эй, кто там?» — крикнул он. В это время я подвернулся. «Скажите, кому следует, — крикнул он, — чтобы Меньшова переместили на старший оклад, там вакансия есть, и чтобы к празднику назна-

чили ему награду». Я вижу, что его превосходительство в добром расположении духа, и потому решился просить для вашего сына вакансию, открывшуюся после Меньшова. Что же? без слова обещал.

Все порадовались за сына Макара Макарыча.

— Ну, а Меньшов что? — спросил доктор.

— Ничего, служит.

— И прекрасно сделал генерал. Беда жениться недостаточному человеку.

— Но оставаться в холостяках вот таким людям, как Егор Иваныч, по моему мнению, непростительно.

— А помните, доктор, — отвечал Молотов, — вы обещали, что жените меня к Новому году. После того прошло уже два Новых года.

— Что ж с вами делать станешь? Сколько я вам невест предлагал, и всё были хорошие невесты. Во-первых, купчиха, образования не бог знает какого, но не безграмотна, хозяйка хорошая, из себя женщина красивая, а главное — с большими деньгами. Потом, помните Попкину? не особенно хороша она и не богата, но генеральская дочь и воспитанница княгини Чеботарево-Пробатской, а с такой протекцией, говорят, до звезд дослуживаются. Потом красавицу приискал, потом идиллическую девушку, ученую, со вздохами и с норовом; наконец, очень недурненькую и очень миленькую — дочь чиновника Ломовского. Не тут-то было, ничем не угодишь! И как же отплатил, злодей, за хлопоты? «Напрасно, говорит, беспокоитесь, — по чужому выбору нельзя жениться!» Что ж, вы обрекли себя на девство?

— Нет, не обрек.

— Пообжились, устроились?

— Да.

— А лет вам сколько?

— Тридцать три.

— Деньжонки есть?

— Небольшие есть.

— Вы управляющим здешнего дома и, значит, получаете даровую квартиру и дрова?

— И это правда.

— Наконец, из департамента выдадут пособие на свадьбу. Каких еще условий недостает? Собой вы молодец, репутации отличной, здоровья железного, а невесты сотнями. Остается жениться и жить семьянином...

— И все-таки я не женился. Значит, чего-нибудь да недостает...

Разговор вдруг упал. Все затихли. Материал для речей истощился. Дороговизна, болезни, дети, служба и свадьбы — пять насущных, вечных, столбовых вопросов жизни были подвергнуты обсуждению, один за другим. Все, что было интересно для этих людей, все было сказано; дальше оставалось выдумывать, делать слова. Ангел мира и кротости пролетел над семьей и гостями Дороговых. Гости не знали, что и делать им, зачем и доживать этот день — от него нечего было еще ожидать, не даст он больше ни одной мысли, слова или события. Тысячи дней, прежде прожитых, давали каждый не более сегодняшнего, — значит, и от сегодняшнего нечего ожидать более. Ударило девять часов. Вдруг Макар Макарыч вывел гостей из апатии. Он в неистовстве соскочил со стула и закричал:

— Святые угодники, а пулька-то!..

Таким образом, в семейной жизни всегда есть спасение от скуки и апатии. Мужчины, кроме Молотова, отправились к картам. Скоро внесли большой самовар, и Надя занялась чаем. Клокочет вода в самоваре, слышны смех и говор детей, маятник щелкает мерно, разрушилась горящая громада в камине, изредка сотрясается рама от едущей кареты, «без двух» — слышно из зала, стучат чашки на подносе, и весело звенит ложка, опущенная в стакан.

Уже давным-давно здесь совершается такая мирная жизнь, никогда не переменяя характера своей повседневности. Люди, наслаждающиеся таким счастьем, думают, что они вечно будут так жить и что такую же жизнь наследуют от них внуки и правнуки, чего и желают от всего сердца. Человеку же с бо́льшими запросами от жизни думается: «О господи, не накажи меня подобным счастием, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!»

Надежда Игнатьевна была очень хорошенькая и серьезная девушка. В лице ее, как и в характере, были некоторые черты матери, но преобладающее выражение оригинально. Она довольно высокого роста, стройно сло-

жена; лицо чистое, белое, с легким румянцем; глаза большие, голубые, с длинными ресницами, умные и ласковые; волосы каштанового цвета свернуты в массивную косу. Горелого цвета платье, шитое самою Надею, сидело на ней ловко. Надя особенно хорошо смеялась, всегда тихо, ласково и задушевно. Ее как-то не слыхать, точно нет ее в комнате. Болтать Надя не любила, выражалась коротко, спокойно, просто. Как и мать, она редко краснела. Она постоянно занята, и всякое дело у ней делается легко и охотно. Со стороны весело смотреть, когда Надя шьет воротничок, разливает чай, учит грамоте сестру, читает отцу газету, кормит канарейку, поливает цветы, укачивает ребенка, приговаривая заботливо: «Ну, спи же, спи!» Все это занимает ее в высшей степени, и идеалисту досадно видеть безмятежное выражение женского лица, полное довольство своей работой и развлечениями, своим днем, своими окружающими лицами. Вообще с первого взгляду она очень походила на Анну Андреевну, так что все родные говорили: «Надя — вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при других условиях и иначе.

Воспитание она получила в закрытом институте, но странны были ее отношения к учебной жизни. Она с первой же минуты, как оставила родной дом, стала ждать, скоро ли конец ученью, — только тем и дышала семь лет. К месту своего воспитания, к начальницам и наставницам, даже к подругам, по крайней мере к большинству их, Надя относилась холодно, вспоминала об ученье как о тяжелой необходимости разлучиться с родным гнездом и прожить в огромных, казенного характера комнатах много-много времени, под надзором девствующих дам тоже казенного характера, к которым она питала положительную антипатию, за что дамы и ненавидели ее. Когда кончились семь лет, и все, прощаясь, плакали навзрыд и давали клятвы вечной дружбы, Надя тоже плакала, обнимая двух подруг, которых она серьезно любила; ей как будто жалко стало детской жизни. Но это чувство быстро сменилось другим. «Домой, домой!» — думала она. В то время когда лицо ее было освещено этой радостной мыслью, одна классная дама, самая уксусная, прокислая дева, проходя мимо Нади, невольно прошептала: «Экая каменная»; а сердце у Нади не было каменное, оно трепетало от детского

волненья. Вернувшись домой, она сразу легко и свободно отдалась домашней жизни. Немногое переменилось в семье. Братья и сестры подросли, отец постарел немного, да Егор Иваныч не такой молоденький, каким был прежде; но и эти перемены не могли поразить ее; они совершались незаметно и на ее глазах, потому что родные и даже Егор Иваныч постоянно посещали ее в институте. Молотов был знаком с Надей еще тогда, когда ей был всего девятый год, а ему девятнадцатый. Егор Иваныч, вернувшись из губернии в столицу на новую службу, не застал Нади дома, она уже училась. Он стал вместе с Дороговыми ходить к ней в гости. При нем, отчасти под его влиянием, она выросла, кончила курс и развилась. Дома Надя в первый же день увидела Егора Иваныча. В семье Дороговых он был почти как свой; все обращались к нему запросто и бесцеремонно; он точно не гость, его не стараются занимать; иногда он возьмет газету, читает целый час, и никому нет дела до него; ходит по всем комнатам, знает, что где лежит, берет, что нужно, без спросу; с ним советуются часто отец и мать по хозяйству; когда помер маленький брат, и он был печален. Это короткое знакомство, установившееся в продолжение нескольких лет, произвело то, что Надя взглянула на Молотова будто на родного. Он будто жил с ними: то гимназист просит его объяснить по математике, то Федя — сделать петушка, то играет он с отцом в шахматы; случается, он и люльку качнет, когда мать уходит в другую комнату, а Надя чем-нибудь занята. Этот обжившийся в их семье вечерний посетитель, как человек бывалый, любил рассказывать; говорил он хорошо, ровно, не торопясь, и чего он не знал, чего не видел, где не бывал? — о чем угодно спросите, на все есть ответ. При этой короткости знакомства Молотов, кроме того, без всякого желания со своей стороны, приобрел в семье Дороговых положительный авторитет. Дело было после Севастопольской войны, всюду появилось новое, неведомое до тех пор движение. Но иной не поверит, что у нас есть слои общества, в которые очень смутно проникали сведения о настоящем положении вещей. В этих слоях общества понимали, что тяжело жить на свете, душно, — это само собою чувствовалось; но отчего тяжело, откуда ждать спасения, что делать надобно — этого никто не знал. И вдруг заговорили о таких

предметах, осуждались такие лица, развивались системы, читались книжки, передавались рассказы о старой и современной жизни, так что многие совершенно растерялись и не знали, что и думать. Одним из таких глухих кружков была и семья Дороговых. Много, что известно нам, читатели, по счастью, по случаю, по особому положению в обществе, по столкновению с людьми сведущими, — для Дороговых вовсе было неведомо. Люди мрака в то время испугались, люди света торжествовали, люди неведения, как Дороговы, ждали каких-то потрясающих переворотов. Тогда увлечения эти представлялись совершенно в ином свете, нежели ныне, и потому можно понять, какую цену в глазах Дороговых имел такой человек, как Молотов. Он был для них единственным человеком, который мог объяснить явления новой жизни. Его слова сбывались, и поэтому даже Игнат Васильич, несмотря на свою оригинальную манеру убеждаться, привык верить ему до того, что когда Надя обращалась к нему с вопросами, на которые он не знал, что отвечать, тогда обыкновенно говаривал: «А вот спроси ужо у Егора Иваныча». Ни с кем так легко не говорилось Наде, как с Молотовым. Склад его ума, казалось Наде, так подходил к складу ее ума. У Егора Иваныча не было обыкновения поддразнивать женщину, подсмеиваться сладенько, нарочно спорить с нею — в чем многие полагают элегантное отношение к дамам. Особенно ей нравилось в Егоре Иваныче добродушие его; она скоро заметила в нем ту черту, которая осталась в нем смолоду, — он во всем отыскивал искру божию и любил приникать к доброй стороне жизни. Надя была еще ребенок, а уже понимала, что Молотов чем-то отличается от всех окружающих ее людей, и ей хотелось разузнать этого человека короче. Молотов доставал Наде книги, объяснял их, проводил с нею вечера. В воспитании Нади осталось много пробелов. И жизнь и наука в ее учебном заведении были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты в стены институтского здания. Сквозь окна, закрашенные зеленой и желтой, больничных цветов, красками, не много она видела, хотя и справедливо, что институт дал ей образование, какого она дома не получила бы. За это образование она и была благодарна — но кому? не той или другой

наставнице или учителю, а вообще месту воспитания. Надю мучила несколько совесть, что она дома редко когда вспоминала особенно тепло об институтской жизни. Узнавши, что умерла начальница их института, Надя легко и притворно вздохнула, полагая это себе в обязанность, подала поминанье и забыла свое напрасное горе. «Неужели я в самом деле каменная?» — думала она, и с своими сомнениями она попыталась обратиться к Молотову. Молотов легко рассеял ее сомнения, показав, что ее холодность очень естественна и совсем не преступна.

Молотов из рассказов Нади и из собственных наблюдений довольно близко знал институтскую жизнь и порадовался за Надю, что она была холодна к этой жизни, хотя и не протестовала против нее с ненавистью и горькими жалобами, а даже упрекала себя в бесчувственности. Под влиянием рассказов Надиных Молотову невольно приходило в голову, что многие наши дамы давно приготовлены к эмансипации последнего предела, что их пора посылать на службу в полки и департаменты. Говорят, это не в женской натуре, а по нашему глубокому убеждению — ничего, можно! хоть в повытчики, в хожалые, на пожарную каланчу! С первого взгляда такое суждение представлялось, правда, чересчур рискованным. Приличие, благочиние, опрятность в институте были доведены до последней степени. Например, когда учитель истории, читая лекцию, привел текст из летописи, где упоминались «поганые ляхи», то ему сделали строжайший выговор за «поганые». Он оправдывался, ссылаясь на летопись; а ему отвечали, что эта летопись дурного тона и что читать ее не следует. В видах смягчения нравов девицам позволялось петь песню «Что ты жадно глядишь на дорогу» только до слов: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь; будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». Начальница была так высоконравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов, хотя потом и сердилась, зачем это нет к пасхе домашних яиц. Как, неужели и это Надя рассказала Молотову? Нет, это не она рассказала ему, хотя, не скроем, Надя и все ее подруги знали оный фокус благочиния и знали многие другие вещи, которые совершались у них

и о которых рассказывать было крайне щекотливо. Читатель сам увидит, в чем девушка шестнадцати лет могла быть откровенна и в чем нет. До того доходило, что когда одну десятилетнюю воспитанницу отец ее посадил к себе на колени, то со строгим замечанием, что это дурной пример другим, ему запретили делать подобные вещи. Девиц предупреждали, чтобы они не позволяли своим дядям, братьям и даже отцам целовать себя, потому что это... как бы сказать?.. ну, неприлично, что ли. Могло ли быть что-нибудь безнравственное там, где благочиние кур и петухов, каждая строка летописца и писателя русского и даже отцовский поцелуй находились под полным контролем старой девки, готовой заподозрить во всем ужасы? При всем этом в институте процветала филантропия на самых широких основаниях. Одна классная дама постоянно разыгрывала вещицы в пользу одного бедного семейства, о котором только и было известно, что ему покровительствовала сама начальница института. Билеты должны были брать учителя и девицы. Что же разыгрывалось? А вещи, жертвуемые тоже учителями и девицами. Кто их выигрывал? А выигрывали наставницы — не всё ж учителя да девицы. Некоторые дети, и, как назло, всегда почти любимые Надею, затруднялись платить за билеты и жертвовать коврики, пресс-папье, серьги, и т. п., тем более что этим расходы ребенка не ограничивались: должно было делать подарки начальнице, наставницам и другим лицам в дни именин, рождений и больших праздников. Между тем, заметьте, в том же институте, в приемном зале, набито на стену объявление, которое гласит, что родственники ни под каким видом не должны давать детям деньги или вещи для подарков кому бы то ни было. Когда принцип только на стене, поневоле в честных и добрых душах детей возникает разлад с окружающей жизнью, но большинство девиц как-то не раздражались всеми этими явлениями пошлости. Так, та же классная дама, любительница лотерей, имела обыкновение просить у своих воспитанниц денег *в долг*, разумеется без отдачи, и многие с радостью отдавали свои деньжонки, зная, что через это приобретают протекцию у повытчика-дамы. Но беда было бедным детям или таким оригиналкам, как Надя, которая всегда сочувствовала своим безденежным

подругам. Таких называли жадными, преследовали на каждом шагу, привязываясь к манерам, походке, голосу, взгляду, ко всякой тесемочке на платье, височку на голове, пуговке на рукаве. Их ожидали выговоры и наказания за всякую мелочь, — и какие наказания? Бурса таких не создавала: в бурсе — карцер, а здесь — лазарет. На провинившуюся девицу надевается рубашка сумасшедших, с рукавами вдвое длиннее против рук, после чего руки складываются крестом, а рукава завязываются под спиною, и в таком виде несчастная кладется на кровать больной. Случалось, что такому наказанию иных подвергали в продолжение пяти и более дней. В это время в пищу шла полуторакопеечная булка и габер-суп. Может ли быть что-нибудь обиднее этого? Может, и было именно в том же институте. Было немало девиц, которые постоянно протестовали против своих вторых матерей, не готовили уроков, портили рукоделья, грубили и смеялись над заведенными порядками, так что их не укрощала даже и рубашка сумасшедших. Таких протестанток отделяли в особую комнату, без различия возраста и классов, оставляли их на собственный произвол, не читали для них лекций, не следили за их поведением. Отторгнутые от общества подруг, находясь в презрении у наставниц, бедняжки дичали и делались мстительны. По полугоду и более содержались некоторые таким образом. Впрочем, впоследствии этот род наказания был уничтожен, нравы смягчились, и, к удивлению, из заключенных большинство заняли первые места. Кто бы мог подумать, что девичья школа — этот рассадник поэтических существ, невинных созданий, о котором и мы имеем такие невинные, девственные понятия, — мог выработывать в себе такие оригинальные явления в жизни? Не диво, что Надя встала в стороне от этой жизни и ждала, дождаться не могла, скоро ль настанет пора вернуться под кров родной. Родители, когда она им жаловалась, говорили ей: «Что ж делать, терпеть надо», и такие наставления, разумеется, не могли примирить ее с окружающими лицами. Она терпела, уединялась, вела себя осторожно, следила за каждым своим шагом, чтобы, избави боже, не попасть как-нибудь в рубашку сумасшедших, и ни разу она не попала; но злые люди чутьем чуяли, что она боится и не любит

их. «Но отчего же она с подругами не сошлась?» — спросят нас. Да как же было и сойтись, посудите сами? Замкнутость жизни, удаление от общества, отсутствие интересов общечеловеческих — создавали искусственные, фальшивые, институтские характеры. Так, здесь было развито в высшей степени так называемое *обожание.* Это не дружба, не каприз, не игра детей, не передразниванье старших, — это фальшивое развитие возникающей потребности любить, развитие, неизбежное в закрытом заведении, и от этой беды не спасет даже куриное благочиние и смягченные дамскою рукою летописи. Обожались учителя, посетители-гости. Случалось, что девице нравился отец, брат или другой родственник, посещавший ее подругу, и она обращала все ласки и любовь на эту подругу, если только она немного была похожа на своего гостя. Обожались, наконец, девицы мужественные лицом, высокого роста, имеющие громкий голос, твердый и отважный характер. Девица обожающая хранила на груди ленточки обожаемой, целовала книги и тетради, к которым она прикасалась, ее целовала с наслаждением, пила оставшуюся после нее в стакане воду, писала любовные письма, назначала ей свидания на коридоре или в спальне. Если обожаемая девица не отвечала на любовь, то обожающая плакала, томилась, видимо страдала и худела. Бывали случаи, что человек по двадцати волочились за одной девицей. Страннее же всего то, что сами наставницы, спасающие куриную нравственность, сами доставляли возможность своим любимицам, большею частию дающим в долг или имеющим влиятельных родственников, видеться и говорить с обожаемыми учителями. Вот в этот-то период обожания многие из девиц, желая казаться интересными, — а некоторые по какому-то болезненному расположению организма, — ели мел и уголь, пили уксус и чернила, сосали штукатурку, кирпичные кусочки и грифеля... Во всем этом было очень мало божественного, неземного и очень много так называемого исключительно институтского, созданного почти отрешенною от общества жизнью. И сколько из этого рассадника невинных созданий выходило бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками на лбу, с прозрачной матовой кожей на лице, с рожицами, выражающими ненужное страдание, от чего они становятся так



обидно для них жалкими. Между тем многих ожидала суровая, необеспеченная жизнь, и всех — иная действительность; а их окружала деланная, фальшивая среда. Надя, вообще развивавшаяся медленно, еще не чувствовала потребности любить и потому не была в положении своих подруг, которые, не находя правильного исхода чувству в запертом наглухо институте, на глазах девственных воспитательниц, выделывали все вышеозначенные штуки учебного амура; но она все понимала, хотя сам читатель догадается, чтó она могла рассказать Молотову и чтó не могла. Но Молотов и без ее рассказов знал, чтó она умалчивала. Он легко успокоил ее тревожную совесть, и она через полгода забыла свой институт — точно и не жила в нем.

Но период непонятных стремлений, туманных мечтаний и волнений в той или другой форме развивается в жизни всякого человека. Если не испытала этого Надя в школе, то испытала дома. Но многим семнадцатый год Нади покажется непоэтичным, хотя и с примесью даже институтского элемента, только в более изящной форме. Она, задумываясь по-детски о будущем, слегка мечтала и о женихе; жениха она представляла чем-то вроде папаши, разумеется помоложе; задумывалась она тогда ненадолго. Когда Надя подросла, у нее стал формироваться более определенный образ жениха, о котором она часто думала и за шитьем, и читая газету, и лежа в постели: то был чиновник, молодой, добрый, любящий свою жену и дом, получающий большое жалованье и хороший хозяин. По ночам и за шитьем этот образ выяснился — он имел рост и звук голоса, с ним часто разговаривала Надя, и у нее вышло две жизни — одна действительная, другая мечтательная, — обе жизни были полны. В мечтательной жизни, которой она отдавала бóльшую долю своего существования, у нее было свое хозяйство, свой муж, даже о детях она думала, — тогда-то

вдруг вспыхивало ее лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимает их, разговаривает с ними, просит садиться, играет для них на фортепьяно, готовит им чай и закуску. Иногда думается ей: «Вот муж захворал», а не то: «Крест получил». Какая девица, играя мыслью, не была прежде брака замужем? Но так играют дети, венчают друг друга и поют: «Исаие, ликуй!..» Скоро и незаметно наступила другая пора жизни, пора полного расцветания. Стала она рассеяннее, ее грудь наливалась, появились непонятные сны и после них тайные слезы, по девичьей душе прошли неведомые доселе движения, разрешавшиеся бог весть откуда родившимся вздохом. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный муж являлся в ее воображении, она прогоняла его, и муж, вместе с хозяйством, чаями и гостями, стал являться реже и реже, и наконец совсем скрылся где-то этот надоевший и опротивевший образ. Поневоле вспомнила Надя подруг — неужели и она обожала? Ей хотелось целовать канарейку, цветы, мраморные статуэтки и картины... Тревога пришла и кипучая жизнь... Боже, как она любила, как страстно любила, и сама того не зная... Кого же?.. Непременно — кого?.. просто любила!.. Полная и действительная любовь, с поцелуями, объятьями, клятвами, со всем счастьем и горем, бывает для избранных, а неизбранные что-то во сне видят похожее на объятья и поцелуи, а наяву чувствуют лишь жар жизни и широту души. Для многих любовь проходит этим внутренним путем, помимо мужчин, женихов и мужа. К ней кто-то сходил по ночам, стоял в ее изголовье, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками долго она сиживала в зале, сложа руки, глядя на улицу и ничего не делая. Трудно понять было, как этой девушке не скучно. Наде же казалось, что вдруг все как-то особенно и без видимой причины полюбили ее; примечала она надолго остановившийся на ней взгляд матери, отец стал целовать ее чаще, дети около ее увивались. «А Коля где?» — однажды она спросила маленьких братьев и сестер, и так хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дети кинулись к ней на шею, стали ее целовать, она их целовала и весь вечер тот пропела... Все существо девушки было ясно, чисто и счастливо... Прошло еще немного времени. Мало-помалу горячая жизнь

стала остывать, струны, высоко натянутые, упали, показалось, что все стали холодны к ней, появилось дурное расположение духа, какая-то темная мысль кралась в сердце. Она затосковала беспричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что́ нужно было Наде. Скоро в доме Дороговых появился чиновник и предложил Наде руку. Это был чиновник молодой еще, с крестом, получал хорошее жалованье и водки пил мало — рюмку перед обедом и две рюмки перед ужином. «Маменька, я не пойду за него», — сказала Надя. Мать долго уговаривала ее, доказывая все выгоды предстоящего брака; а дочь упросила отца, и Игнат Васильич решился отказать жениху. «Помни, Надя, тебе скоро будет осьмнадцать лет», — сказала Анна Андреевна. Бог знает с чего брак показался Надежде Игнатьевне какой-то службой, долгом, поденщиной, точно опять отдавали ее в институт. Она усердно молилась богу, чтобы хоть на время отдалить брак... Началось усиленное чтение. Она читала большею частию романы и повести, из которых в институте слышала одни невинные отрывки. Лицо ее горело от свободных, поэтических страниц; все, что есть у нас лучшего, прочитала она в это время; Тургенев сделался ее любимым поэтом. Многие страницы, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда... Хорошо читается в эти годы, и славное это время!.. Ясное, свободное счастье горело на ее лице, когда она, сидя за шитьем, увлекалась бессознательно и повторяла в воображении чудные картины природы и любви, созданные нашими поэтами! Если в действительности нашей многим не приходится любить — запрещено либо не удается — и в грядущем предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многие хоть над книгами поживут — и задумаются, и поплачут, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свете; одной прозой прожить невозможно... Но проза неизбежна... Часто лицо Нади над самой пламенной страницей переменяло выражение, становилось совсем другое. Оно показывало, что Надя соображает, рассчитывает что-то и обдумывает; и действительно, в одну из таких минут она поняла... она поняла, что́ такое хлеб насущный, что родители хотя и любят ее, особенно, как казалось ей, отец, но не век же им кормить ее, пора искать Наде брачной жизни, как чиновник ищет места, лошадь — корму... Мерзко стало

на душе ее и страшно. Книга была закрыта, и на обложку легла дрожащая от волнения рука... Она не заплакала... Что-то суровое и холодное отразилось в ее глазах. Она встала с нервным движением, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее в комод... Поняла наконец, кто она такая... Как в то время она боялась женихов, как их ненавидела!.. Всякий раз, когда появлялся в дому незнакомый мужчина, Надя думала с замирающим сердцем: «Не он ли?» — и прибирала в голове слова, которыми она станет упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились пока замужеством ее... Через полгода жених явился, и Надя едва не вышла замуж, — так ей трудно было уговорить и мать и отца, который теперь не держал ее сторону. Больших слез и упрашиваний стоил Наде этот отказ, но все-таки она отделалась от жениха, хотя и чувствовала с стесненным сердцем, что может прийти третий, четвертый, что много их на свете и что раз от разу ей труднее будет выпроваживать их. Чего же она ждала? не в девах же она хочет остаться? Она сама не знала, чего хотела; но натура ее была так чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого полюбит, а не для первого встречного, рекомендованного отцом. Она не родилась для обязательной любви... Опять потянулось время среди занятий домашних, но теперь как-то скучно и вяло, день за днем, по-черепашьи... Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя с ними же, сделалась особняком. Ее никто не упрекает, по-прежнему с ней ласковы, сама мать заботится о ее здоровье и удовольствиях; но скажут ли, что ныне все дорого стало, дети подрастают, или что у Лены Рогожниковой, Саши Касимовой женихи есть, так и подумается Надежде Игнатьевне, что ей пора искать корму, пора! В таких случаях ей никто и ничего не намекал, она это хорошо знала, да из самой жизни вытекал такой, а не иной смысл. Гостю делалось с ней скучно. И говорит, и хозяйничает, и потчует Надя, как всегда; как всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нет... Она опять вернулась к книгам. Но чтение уже не давало ей, как в былые дни, страстного наслаждения книгою. Она критически стала относиться к каждому образу, к каждому положению действующего лица. Жалко было смотреть на нее, когда она с сомнительной

усмешкой пробегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее. Ни с кем она не была откровенна; лишь с одним Егором Иванычем она говорила о том, о чем с другими говорить не решалась, ждала его всегда с нетерпением и, когда он не приходил, была особенно скучна и задумчива. Даже в те вечера, когда Егор Иваныч не успевал перемолвить с нею слова, она все-таки была довольна его присутствием, чувствовала что-то успокаивающее при взгляде на него. Если же он говорил с Надей, она в речах его почерпала непонятную для нее силу. Никто ей так дорог не был, как он. Нравственная связь с окружающими родными была надорвана, а знакомых было мало, да и тем она не доверялась. Надя была уверена, что, случись с ней какое-нибудь большое горе, Молотов всегда поможет ей; случись, что она сделает дело, за которое ее все осудят, он ее не осудит, и если бы даже должно осудить, то пожалеет и помилует. Добрее и умнее Егора Иваныча она никого не знала. Положение ее было окрепощено условиями, которые не давали ей взглянуть на то, как живут люди за стенами родного дома; один только Молотов мог рассказать ей о иной жизни, — и вот это не институт, не старорусский терем, а заколдованный семейный круг столичного чиновника! Это тот же терем, только нынешнего времени. Отчего ж не петь и до сих пор: «Я у батюшки в терему, в терему, я у матушки высоко, высоко»?.. Но и с Молотовым, что́ очень естественно, Надя вполне откровенна еще ни разу не была. Разговор всегда заводился о предметах, только побочно, а не прямо относящихся к ее тайным мыслям. Все, что говорил Молотов, служило для нее только данными, на основании которых она сама выясняла и проверяла свои скрытые в душе думы, и потому в разговорах ее всегда было более содержания и серьезного смыслу, нежели сколько казалось с первого взгляда. Такое искусство говорить невольно приобретается в тех обществах, где запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость — понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать решения того или другого вопроса. Молотов чувствовал, что Надя недоговаривает, что у ней есть дума, которая томит, беспокоит, стесняет ее молодую жизнь.

Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось ему узнать, что́ такое делается с ней, и день ото дня хотелось Наде узнать, что́ такое за человек Егор Иваныч. Он так, казалось ей, непохож на других. Когда она была еще маленькая, пришел откуда-то и стал почти жить с ними этот вечерний посетитель. Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость над увлечением, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много такого, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить обо всем, обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься наконец, что же ей делать и как жить на свете. В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие разговоры вела она по этому предмету и через несколько времени почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало ее сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось от многих предрассудков; но Надя спрашивала себя: «Верует ли он?» — ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так был непохож на всех, кого она знала. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, любви и браке, но всякий раз что-то ее сдерживало. Так и плелись дни за днями, без всяких внешних событий, «в терему да в терему», куда едва проникал жизненный луч света, пока не наступил Наде двадцатый год.

Молотову надо было побывать у художника Михаила Михайлыча Череванина, родственника Дороговых. Егор Иваныч часто бывал на Песках, где жил Череванин, и потому Игнат Васильич просил Молотова зайти к нему и спросить, не поправит ли он портрет Дорогова; Молотов все забывал о поручении, и вот однажды вечером, чтобы исполнить его наконец, отправился к художнику.

— У нас здесь большое декольте, — говорил Михаил Михайлыч Череванин, вводя Молотова в свою комнату.

Молотов огляделся. Довольно большая комната была освещена сальными свечами. Стояли мольберты, станки, манкены, палитры; окна были без занавесей и

заставлены картонами; на окнах стояли горшки дряннейших ржавых гераниумов, покрытых копотью и пылью; тут же, между горшками, валялась оставшаяся от чаю булка, кусок колбасы в бумаге, медная сдача, кисти и табачные окурки.

У Череванина был праздник. В гостях у него было человек двенадцать, все почти молодежь, только один пожилой офицер с залихватской физиономией и еще старичок, тоже художник. В воздухе плыли табачные облака; в стаканах дымился пунш. В то время как в других углах столицы совершалась тихая жизнь, здесь молодежь проводит буйно время.

— У нас большое декольте, — повторил Михаил Михайлыч. — Не хочешь ли пуншу?

— Не хочу.

— Твоя воля.

— Как гадко у тебя!

— Ну, ну! — отвечал художник.

— Ведь ты свой талант губишь.

— Что ж делать, братец, органический порок.

Череванин был товарищем Молотова в продолжение двух курсов университетских. Он был сын профессора семинарии, женатого на родственнице Дорогова, и приходился Игнату Васильичу чем-то вроде племянника. Он был человек странный, оригинал, талантливый человек, добрая душа и по временам сильно поклонялся Дионису. Но в его фигуре широкого размера не выражалось древлеславянской удали; напротив, видно было что-то печальное, слабость видна была, хотя всякий, взглянув на него, сразу поймет, что у него организм железный, выносливый. Причесывает его сама мать-природа, и она, любя разнообразие, отправила один клок волос за ухо, а другой повесила на щеку, на темени приподняла вихор, пробор перепутала, не завила в волосах ни одного колечка, а оставила их прямыми, как нити, не напомадила их, а приправила пухом, редко побуждала его бриться, не берегла платья от пыли и пятен... И работа его не отличалась тщательной отделкой, как и наружность, как и манера выражаться, как и все, ему принадлежащее. Краски ложились у него клочьями. Он не рисует попеременно волоса, лоб, глаза, уши и т. д., начиная верхним волоском лица и кончая последней чертой подбородка. Вот он оживился, схватывает

черту на щеке, но вдруг кисть его переносится и лепит под глазами, потом удачный взмах определит характер губ; он чертит зря, смело, уверенно, твердо; ошибется, так трудно поправить. Не умеет он изображать идеальную красоту, не увидите у него Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских, но у него встречаются удивительно верно выхваченные из жизни типы. Он имел золотую медаль за картину в роде жанр и не дорожил той медалью. Было время, когда Череванин с любовью занимался своим делом; его одобряли друзья, товарищи и учителя, но не был сам он убежден в своем таланте, и тогда это сильно волновало его. «Что, если я простой маляр? — думал он. — Что, если придется бросить кисть, вместо ее взять в руки перо чиновника, а мастерскую променять на канцелярию?» Но он давно уверен, что имеет талант — не великий, но довольно крупный; и — непонятно — с той поры самый талант стал представляться ему достоинством невеликим. Череванин удивлялся, отчего это другие не могут рисовать, как он: не хотят, а рисовать — просто, — и с странным презрением художник относился к своему искусству. Ему не жалко было продавать свои картины. Картина становилась ему противна, лишь он успевал окончить ее. «Ведь всякую черту знаю на память!» — говорил он. Но были картины, проданные Череваниным, которые были для него дороже других: головка девушки, деревенское кладбище, семейная группа, сон нищей и др. К этим любимцам он иногда ходил в гости; придет к владетелю и просит посмотреть на картину, пробудет с ней около часу и опять уйдет на год или на два. Раз он собрался сделать копии с своих любимцев, но не ужился с ними и месяца, — живо они перешли в чужие руки. Ни к чему



он не мог надолго привязаться — были ли то люди, избранные книги, произведения его искусства или простые вещи. Он был два раза влюблен. Первый раз за три дня до свадьбы невеста изменила ему. Он сильно страдал и с горя ходил на мост, чтобы погребсти в Неве свое грешное тело, но кончил тем, что нарисовал на свою невесту карикатуру; впрочем, с тех пор он особенно коротко сошелся с Дионисом. Другой раз он увлекся «погибшим, но милым созданием». Это была очень миленькая девушка, но тоже надула его. На этот раз Череванин не лез на стены, не думал топиться, но предпринял оригинальную меру, чтобы отделаться от тоски. Вставши поутру, он выходил на улицу, отправлялся куда глаза глядят, ходил до истощения сил и, вернувшись домой, страшно измученный физически, бросался на постель и засыпал. Проснувшись ночью, он опять отправлялся в поход с единственной целью измучить себя; вставал он в полдень и принимался за то же самое. Через две недели, после таких прогулок, с него как рукой сняло. Впрочем, хотя горевать он перестал и говорил с тех пор: «Лекарство от любви — моцион», но эти две неудачи сильно подействовали на его характер. Он получил наклонность к цинизму и отрицанию жизни, что, впрочем, лежало в его натуре. Стал он перебираться с квартиры на квартиру и нигде не уживался. Сначала он занял отличную модную мастерскую, хорошо меблированную; она вся была заставлена портретами его работы. В это время он вел себя джентльменом. Но не прошло и полгода, как ему захотелось идиллии, и он поселился на хлебах у одного семьянина, нанимая две простеньких, но чистеньких комнатки; около его постоянно дети, цветы, чижи в клетке, старуха в углу вяжет чулок, и окружают его уже не портреты, а вполне оригинальные произведения. Через год ему надоели и новый быт, и люди, и картины, и вот мы застаем его на Песках, в неопрятной квартире. Теперь он кутил, был грязен, говорил грубо, и дико-дико было в его комнатах, освещенных сальными свечами, где среди манкенов молодежь совершала оргию. С переменою людей, обстановки и работы и при наступлении периодического чествования Диониса ярко обнаружился его крупный, резкими чертами одаренный характер.

— Органический порок, милый человек! — повторил Череванин.

Молотов чем более вглядывался в окружающую обстановку, тем в большей дикости и нелепости она представлялась ему. Он с изумлением заметил в компании двух молодых людей, одного — сына Рогожникова, а другого — Касимова.

«Эти как попали сюда? — подумал он. — Что их гонит из дому? разве там не спокойно, не мило, нет жизни и свободы? Недостаток эстетического чувства, грубость и одичалость характера заставляют человека не любить ровную, тихую, полную глубокого смысла семейную жизнь».

— Не стыдно тебе, — сказал он Михаилу Михайлычу, — ведь ты губишь молодой народ...

— Без меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здесь за народ, — это очень занимательно и поучительно. Отличные этюды встречаются. Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и водку, — больше ничего не любят!.. Пейте, господа! — крикнул Череванин как-то вяло.

— Следует, — ответили ему.

— Хоть бы ты вымылся, — сказал ему кто-то.

— Медведь не моется, да все его боятся, — отвечал художник.

Пошло страшное попоище; начались песни, хохот, остроты, пойло пенное, пойло пуншевое, пойло пивное.

— Что ты делаешь?

— Всё пустяки в сравнении с вечностью!.. Как что́ делаешь? Мы вопросы современные решаем... Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, тут что-нибудь спроста? Нет, это он о Суэзском перешейке валяет! — не слышно что́, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу — там решают влияние французского кабинета на дела Азии. А посмотри-ко на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как он худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?

— Гегель и прогресс!.. Гегель и прогресс! — кричал длинный господин.

— Это всё любители просвещения, жрецы, братец ты мой.



— Черт знает, как скучно дома! — говорил Касимов. — Что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чем не услышишь живого слова, бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто невыносимо!.. А какая чистота нравов! Знаете ли, что у меня есть тетушка сорока пяти лет, которой группы, выставленные на Аничкинском мосту, кажутся безнравственными? Она не может смотреть на тело человека, ей совестно. В сорок-то пять лет ее соблазняет болван-композиция!..

Молотов не мог не улыбнуться.

— Выпьем еще! — слышно в углу.

— Выпьем!

— Поцелуемся, дружище!

— Поцелуемся!

— Тебе, что ли, ходить? — говорит один из играющих в шашки.

— Сходим, сходим!

— Кто, господа, идет со мной «в ту страну, где апельсин растет»?

— Подожди, еще рано...

— Так песню, господа!

И затягивают «Вниз по матушке, по Волге, по широкому раздолью». После этой песни следовала патриотическая, известная всем молодым людям столицы. Поднялся шум, и грохот, и ярые возгласы.

— Россия на ложной дороге! — кричал какой-то политик.

— Вы с Англии пример берите, — перебил его другой голос...

— Нет, в Германию, в страну философии, — начал было гегелист...

— Пошел ты к черту! — перебили его другие. — В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия — огромная портерная в Европе...

— А Россия — кабак.

— Да ты сам пьян!

— Что ж из этого?

— А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!

— Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!

— А до тех пор что будем делать?

— Ничего!

— Ну, и на здоровье.

— Слова прошу, — закричал офицер с залихватской физиономией, — послушайте слова опытного человека! Молчите и внимайте.

Все стихло.

— Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус!

— Какой, какой?

— Переломать кости первому встречному.

— Да за что же?

— Здорово живешь!

Скандалиссимус был отвергнут большинством голосов.

Молотов с изумлением смотрел на окружающие его лица и слушал их ярые речи.

— Что это у тебя творится? — спросил он Михаила Михайлыча.

— Будто не понимаешь?

— Ничего не понимаю.

— Здесь совершается великая тайна акклиматизации европейского прогресса, включительно до скандалиссимуса... Я тебе говорил, что мы решаем современные вопросы. Мы не аскеты, не люди старого закала; здесь нет ни одного человека, который бы из прогресса создал пугало нравственное и открещивался бы от него, как от сатаны. Здесь процветают широкие нравы!

— Что же будет с этими людьми после, когда пройдет время разгула, перегорит человек, переломаются его кости и испортится кровь?

— Вон ты куда хватил!

— Ведь потянет же их когда-нибудь из этого бешеного круга, жизнь заставит взглянуть на себя серьезнее, — что́ тогда будет с их убеждениями?

— С какими?

— Да вот которые они проповедуют.

— Это разве убеждения?

— Что же?

— Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну и дерут. Им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «Ай, маменька, не буду!» Предложи любому чин регистратора, сейчас и убеждения побоку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, — а какая среда? натуришка гнилая! Идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы... Хоть бы пару мужиков научили грамоте, а то даже и говорить-то не умеют, убедить никого не могут... Пей, ребята! — крикнул Череванин.

Молотов пожал плечами.

— Зачем же ты собираешь их около себя?

— Разве не видишь, что веселенький пейзажик выходит? надо же чем-нибудь утешать себя.

Молотов опять пожал плечами.

— Михаил Михайлыч, — сказал Касимов, подходя к нему. — А, Егор Иваныч, — сказал он, — извините, я вас и не заметил в дыму.

Поздоровались.

— Что вам угодно? — спросил Череванин.

— Я хочу идти в художники...

— Так что же?

— Как посоветуете?

— Ступайте.

— Ей-богу, ничего не может быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!

— И картины... — прибавил Череванин.

— Только не знаю, есть ли у меня талант.

— Все же будете принадлежать к числу художников, и у вас будет свобода, вино, женщины и друзья...

Касимова отозвали пирующие.

— Веришь ли, что я из этого господина могу сделать хоть сейчас краскотера? И все они таковы: это люди подражательные, юноши без всякого содержания. Он как родился не потому, что хотел того, а пожелали мамаша с папашей, так и все потом делал, потому что люди это делают. Между тем Касимов умеет острить, как ты слышал, но всегда впадает в чужой тон; вообще он неглуп, у него есть ум, но не свой. Смолоду такие люди всегда подают надежды. У них ничего нет за душой, кроме впечатлительности. Поживши с угрюмым человеком, Касимов совсем отвык от улыбки; с рыцарями — он рыцарь, с франтами — франт, среди ученых корчит глубокомысленную рожу. Однажды он вздумал идти в монахи, потому что наслушался какого-то старика о развращении рода человеческого; а через месяц он уже был отчаянным франтом. Заклятый ненавистник брака, пока холост, а женится — попадет под башмак жены. Человек с небольшим характером и какой-нибудь оригинальной выправкой может заставить их сапоги себе чистить. Противно смотреть на них, так они и льнут в глаза и точно в губы поцеловать хотят. Словом, народ сопливый. Он всегда находится под влиянием последней прочитанной статейки. Сегодня он кричит: «Индейцы англичан раскатали»; завтра: «Гумбольдт умер»; послезавтра: «Прочитайте «Манон Леско», очень развратная книжка», — и нигде ничего не понимает, всегда с чужого голоса поет. Когда пошла обличительная литература, тогда он с бла-

733 благоговейным страхом говорил: «Вот отчаянные-то головы!.. что пишут!.. и не боятся!» Попавшись за увлечения впросак, он вдруг хвост опускает, робеет и, не зная, что делать, иногда плачет и богу молится, не понимая, что ж это за напасть на него. Когда же их поймают в минуту растерянности и станут стыдить, то они без зазрения совести умеют напустить на себя рысь дурака: «Эх, господа, полно смеяться, я сам знаю, что я глуп; что ж делать, если бог ума не дал», — и врет, каналья: он вовсе не глуп, а просто не хочет шевельнуть мозгами, разобраться, наконец, во что он верит и не верит. Вот я и потешаюсь. Надоедят, запру двери, и делу конец.

— И тебе не жалко их?

— А тебе жалко? Мне смешно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человека. Жаль, нет здесь одного господина, который пописывает статейки. Вот забавник-то! «Как это вы пишете обличительные очерки?» — спросил я его однажды, и что же? — он сознался: «Откроешь, говорит, Свод законов, прочитаешь статьи, нарушишь их и припишешь это какому-нибудь чиновнику... при этом обстановочка маленькая, современный дух... ну, и ничего, платят за это деньги, все же на табак годится». Смешно ли это или жалко, я разности большой в том и другом случае не вижу.

— Ну, а сам-то ты что?

— А я, может быть, еще хуже их. Эх, Егор Иваныч, пойдем отсюда вон... Опротивело.

— Пойдем, — отвечал Молотов, — только как же гости-то?

— Вон там старичок есть, распорядится.

Молотов и Череванин ушли.

— Куда ж мы отправимся? — спросил Молотов, когда они вышли на улицу.

— Куда глаза глядят; пойдем хоть на Невский.

Молотов согласился.

— Не понимаю я... — проговорил Молотов.

— Чего, милый человек?

— Скоро ли у нас кончится это вечное гореванье, никому не нужная тоска, мрачный взгляд на жизнь, доморощенная байроновщина.

— Доморощенная — это верно сказано, Егор Иваныч.

Прошли несколько молча.

— Мало ли чего ты не понимаешь, милый человек, — начал Череванин. — Век живи, век учись, а дураком помрешь. Скажи ты, добрая душа, куда мне девать свои досуги? Сидишь-сидишь, и такая тоска заберет, что и сам не заметишь, как очутишься в портерной или трактирном заведении. Я уверен, что ты не смыслишь ничего в вине, а ты вообрази себе, как выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!.. думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он ходит, растет и разрастается... в голове туман, в крови жар... петь хочется, плакать и целовать всех... Вот это не мечта, а жизнь... я ее чувствую, едва не ощущаю руками... Понял, милый человек?.. И пойдут писать дубы еловые, дубы сосновые, дубы липовые!..

— Плохо, если они пойдут писать...

— Пожалуй, что и плохо...

— Зачем же ты это делаешь?

— Потому что мне нравится.

— В наше время стыдно пить...

— Это отчего? Если будешь пить, так от века отстанешь, что ли? Полно, меня ведь не надуешь. Век вырабатывает не только такие натуры, как твоя, но и такие, как моя. Ты не найдешь ни одного человека, который жил бы так, как жили в прошлом столетии, да и такого не найдешь, чтобы сегодня по-вчерашнему: то же самое делает, но иначе, в другой форме и по другим причинам. Кто ж отстает от века? Ни для кого солнце не остановится. Сменяющиеся в жизни обстоятельства, лишь коснутся человека, непременно имеют на него влияние, и тут хочешь не хочешь, а от века не отстанешь. Рутинеров ведь нет на свете, милый человек; их добрые и умные люди выдумали. Покажи-ко ты мне хоть одного отсталого человека.

— Все приверженцы старины, — отвечал с удивлением Молотов, — отсталые люди.

— Старину копнул!.. Ведь ее тот же век произвел, нам современный... Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина... Если бы деды пришли да

посмотрели на эту старину, они не узнали бы ее, стали бы отплевываться и открещиваться от нее. Эту старину только в нынешний век и найдешь... Какая же она старина? Она тоже новость, продукт современной жизни, последнего часа, настоящей минуты... И выходит — пустое слово, которых так много на свете, диалектический фокус!.. Кто же отстал от века?..

— Но есть же новые люди и новая жизнь?

— Вона́!.. кто ж этого не знал? Ведь все ныне живущие люди народились в наш век, а не из могил вышли, не с того света воротились, и все живут новой жизнью. Например, доселе никто еще не жил, как я живу; ни у кого еще не было такого взгляда на жизнь, как у меня. Если ты о пьянстве говоришь, так что же? И оно не старинное, а новое, прогрессивное...

— С тобой не сговоришь... Ну, отчего ты не пристал к лучшим людям?

— Лучшие люди?.. лучшая жизнь?.. вот оно что!.. Значит, ты согласен в том, что я новый человек; я в то же время и лучший человек.

Егор Иваныч засмеялся...

— Смейся, добрая душа, смейся; но ты опять сказал пустое слово... Лучших людей нет на свете; один худ, а другой лучше, а третий еще лучше; и наоборот, один хорош, другой хуже, а третий еще хуже, — так без конца и без начала. Только самого худого не отыщешь и самого лучшего не отыщешь. Все лучшие и худшие.

— Однако ж одни хуже, а другие лучше...

— И этого нет.

— А ты хорош?

— Нет.

— Так худ?

— И не худ.

— Что же это такое?

— Я, как и все люди, без достоинств и недостатков. По-твоему, роза хороша, а крапива худа, а по-моему, обе хороши или, если угодно, обе худы, а вернее — ни хороши, ни худы, обе — произведение почвы... Ни хвалить, ни бранить их не за что.

— И тебя вырастила почва?

— А то что же?

— Это называется, среда заела?

— А вот и не заела!.. Среда?.. заела?.. Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это.

— То есть и не животное даже, а ниже животного, растение.

— Растение нисколько не ниже животного и не выше.

— Значит, никто не виноват в твоей жизни, жаловаться не на кого?

— Еще пустое слово!.. Виноват?.. Разве виновата крапива, что ее вырастила почва? Виноватых и невинных нет на свете. Разве я виноват, что родился? Меня не спрашивали, желаю ли я явиться на свет; разве я виноват в том, что умру? не виноват же и в том, что живу!.. Всё пустые слова!.. Один чудак приходит к другому: «Ты подлец», — говорит ему; а тот и струсит: «Что ж, говорит, делать, обстоятельства»; первому станет жалко, он и давай утешать его: «Ну, ну, успокойся, ничего, это тебя среда заела». Вечное пустословие! Обвиняют среду, ну — и бить бы ее или гуманные какие средства предпринять. Не тут-то было: оказывается, все заедены... вот тебе и раз!..

— Так ты никого не обвиняешь?

— Смолоду была глупость; ругался на чем свет стоит, благородно и со злостью, винил людей в своем характере, да вовремя смекнул, что и они, в свою очередь, будут винить других людей, которые их испортили, и выйдет чепуха неисходная!.. Нет, никого не обвиняю...

— Это шаг вперед, Михаил Михайлыч.

— Ах, милый человек, разумеется, вперед, а не назад... Иначе и нельзя... Если бы у меня на месте лица затылок был... Да нет, и тогда бы, затылком, а все же вперед.

— То-то и беда, что ты двигаешься затылком вперед.

— Утешил!.. шаг вперед!.. Он не от нас зависит: хочешь не хочешь, а заноси ногу, ступай. И никто не идет назад, все — вперед. Есть в природе что-то такое, что движет людей... именно сторукие силы!.. Вперед, — да как же иначе-то быть?

— Но неужели же тебе невозможно переменить свою жизнь?

— Что возможно, то всегда и есть на деле, в жизни! Если мы идем не по той стороне проспекта, то, значит, в настоящую минуту и невозможно идти там; а лишь только перейдем на ту сторону, тотчас, но только в будущую минуту, и сделается возможным идти там. Ты странный вопрос задал!

— Однако ты понимаешь меня?

— Нисколько.

— Я спрашиваю, отчего ты ведешь такую грязную жизнь?

— Не знаю.

— Отчего не переменишься?

— Тем более не знаю.

— Попытался бы...

— Не хочется...

— Принудил бы себя.

— Не хочется принудить. Принудил бы? иначе выразиться: захотел бы пожелать? Не хочется захотеть. Что, милый человек, договорились до абсолютного бытия?.. Найди ты мне хоть одно слово, в котором был бы смысл.

— Ты не знаешь таких слов?

— Нет.

— Труд, честь, любовь, талант, да и много еще,— отвечал Молотов.

Михаил Михайлыч тихо засмеялся; Молотов пожал плечами.

— Что, ты до всего этого сам додумался?

— Сам...

Молотова интересовал его бывший товарищ; он предложил ему зайти в ресторан. Череванин согласился. Когда они сели в маленькой комнате, где никого не было, кроме их, и поставлено было на стол вино, Молотов сказал:

— Удивляюсь диалектическому направлению твоих мыслей! Охота тебе питаться софизмами!

— Слушай,— отвечал Череванин,— я действительно сумею что угодно опровергнуть или доказать, но я с тобой не играю в слова, а говорю по совести и прямо, что во всех этих хороших речах не нахожу никакого содержания. Диалектика у меня развита. Мой отец преподавал реторику и логику, и он, бывало, заставлял меня на

одну и ту же тему говорить pro и contra;[1] или прикажет описать какое-нибудь чувство, и опишешь так, что хоть сейчас в «Великопостный конфект».

— Что это такое?

— Книга такая — «Великопостный конфект, или Слово на вопрошение о смерти». Но не в «Конфекте» дело. Я тебе сознаюсь, что умею говорить и, если угодно, буду против себя красноречив. Да что толку, лучше правду говорить. Вот я тебе и сообщаю, что думаю. Если можно, так сделай, чтобы я не думал, уничтожь мои мысли. Не сделать тебе этого, практический человек.

— Это время сделает... Очень просто могут разрешиться твои сомнения. Пусть обстоятельства пристукнут тебя покрепче; тогда поневоле оставишь диалектику и найдешь смысл в таких предметах, как кусок хлеба, заплата на брюки, полено для печи.

— Случалось, милый человек, и это — голодал. Перетерпишь, и ничего. Всё пустяки по сравнению с вечностью!

— Но ведь запасешь на старость?

— Нет.

— Стар будешь, болезни пойдут, а ты без денег.

— Веселенький пейзажик!

— Тогда не покажется веселеньким. Но это еще в будущем... Неужели тебя теперь никогда совесть не мучит?

— Вот это слово не пустое!.. В нем реальное понятие; ощутить можно совесть, и она не выдумка добродушных людей.

— Наконец-то!.. И ты ощущаешь ее?

— А то как же? нельзя же без того! Ведь не мною выдумана совесть, а уже это самою природою устроено, и я тут ни при чем. Мне только остается любоваться на то, как она меня мучит, наблюдать ее, смотреть прямо в лицо пучеглазой совести, — я это и делаю. При этом заметь: что́ тебя тревожит, то, может быть, на меня и не действует; кроме того, у меня особый род совести — так называемая «сожженная». — Михаил Михайлыч сказал: не «сожжённая», а «сожженная».

— Это что такое еще?

---

[1] За и против *(лат.)*. — *Ред.*

— Многое ложилось и на мою совесть; но я страшной силой воли всегда умел подавить в себе моральное страдание; не то чтобы заглушал совесть, закрывал перед ней глаза, трусил, лукавил и оправдывался, — нет, нет, я прямо смотрел ей в рожу, холодно и со злостью, стиснув зубы. «Вперед не будешь?» — спрашивал я себя. — «Почем знаю, может быть, и буду!» Случалось, что я бросался на кровать и, накрыв голову подушкой, едва не задыхался; и под подушкой я слышал голос: «Вперед не будешь?» Тогда я отвечал в бешенстве: «Буду, теперь непременно буду!»

Череванин быстро выпил две рюмки, одну за другой. Нельзя было сомневаться в том, что Череванин говорил правду. Молотов только произнес:

— О боже мой!

— Знаешь, что меня сгубило? — продолжал Череванин. — Я всегда честно мыслил.

— Разве это может сгубить человека?

— Может. Но знаешь ли, что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотреть в свою душу, не подличая, а если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дело! Кто надувает себя, тот всегда спокоен; но я не хочу вашего спокойствия. Есть страшные мысли в мире идей, и бродят они днем и ночью, и когда рисуешь и когда вино пьешь. Особенно когда находишься один, глухо вокруг тебя, задумаешься, замечтаешься, фантазии и образы растут, мысли поднимаются на такую высоту, что кажутся дикими; но идет за ними душа до тех пор, что начинаешь бояться за свой рассудок и в страхе хватаешь в руки голову. Мысли рождаются, растут и живут свободно, — их не убьешь, не задавишь, не подкупишь. В этом царстве полная свобода, которой добиваются люди, из-за которой режутся они. Свобода, вечная независимость здесь только и возможна, и только в этом мире можно жить в собственном смысле. Но редко я живу теперь мыслью, состарился и измучился бесплодно. Гаснет хмель в речах, всякая мечта замирает, не чувствую злости ко злу, расположения к добру; смех пропадает; хоть бы совесть мучила, и того нет; скоро я, кажется, совсем мучиться перестану, — останется одна бесчувственность, и скажут: «Этот человек совсем

сгнил»; день ото дня слабеет мой организм, и я, в самом деле, становлюсь немощным сосудом. Но желал бы я воротить свою молодость? Ей-богу, не желал бы! Не надо мне ее, не надо! Это время выработывания идей, непонимания жизни и осмысливание ее, взъерошиванья волос; одушевленные лица, бессонные ночи, горячие речи — все это опротивело мне, потому что человек как ни горячится, а все-таки кончится тем, что оплешивеет и окиснет. А где же моя детская жизнь? Она стала предметом умозрения, фантазии, общих фраз и слепого воспоминания. Все состояния тела и души, всё, что составляет жизнь, есть предмет забвения. Все события от времени потеряли цвет подробностей и значение внутреннего смыслу; цепь жизни разорвана на куски, пружины и кольца ее распались. Чем доказать, что и я жил? Пусть другие нас забудут, нам ли думать о бессмертии; но неужели я так ничтожен, что не стою собственного внимания и памяти? Скучно, скучно!

— Ей-богу, не понимаю, о чем мы толкуем, — отвечал Молотов, когда Михаил Михайлыч после долгой, полушальной речи поникнул головою. — Никто так не говорит и никто не страдает такими болезнями.

— Так и знал: никто не страдает, как ты; поэтому никому и нет дела до тебя. Все в ответ только и поют стих о Страшном суде. Уж очень вам хочется, чтобы от нас, грешных, «было не слышати ни зыку, ни крику, ни рыдания»... «Река Сион протечет, как гром прогремит», а вы, святые люди, просите, умоляете, чтоб «берега с мест содвинулись, перстьем засыпались».

— Но, право, не понимаю, чем ты страдаешь. Неужели можно совсем потерять вкус к жизни? Это невероятно.

— А потерял же!.. Во мне не только положительного, во мне и отрицательного ничего нет, — полное безразличие и пустота! У меня так голова устроена, что я во всяком слове открываю бессодержательность, во всяком явлении — какую-нибудь гадость. Торичеллиевая пустота и сожженная совесть!.. Прежде, бывало, ломался и кричал: труд, отечество, любовь, свобода, счастье, слава и много иных прекрасных слов; но и тогда уже чувствовал, что лгал, а теперь ничего не хочу, кроме сна, забвения, обморока...

Череванин налил рюмку себе и закурил сигару.

— Любовь, дева, луна, поэзия... — перебил Череванин. — На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мне плевать на луну: какого черта я в ней не видал? Все мне представляется ничтожным до невероятности, потому что «все на свете скоропреходяще и тленно!» Мне только это вдолбили смолоду. Я постоянно слышал об антихристе, кончине мира, о тленности благ земных... Мы жили подле кладбища, я еженедельно видел покойников и тогда уже детскими пытливыми глазами всматривался в мертвецов. Постоянно я без нужды смирялся, усиленно откапывая в себе всевозможные пороки и гадости, воображал себя червем, прахом, ничтожеством, человеком, недостойным счастья; я презирал себя в детстве! Потом я и очнулся, протянул руки к жизни, но уже поздно было! Взгляд мой был направлен к тому, чтобы видеть одно только зло в себе и людях. Гадко и мрачно! Если вкус человека испорчен, то хотя после он убедится, что пища, употребляемая другими, хороша, а все-таки не будет он способен питаться ею. Но мало ли нашего брата, и все они идут своей дорогой, все понимают, чтó они такое. Отчего это все веселы, а я один только ничего не понимаю? Оттого, что было время, когда я принимал все близко к сердцу, в плоть и кровь вошли убеждения; а когда очнулся, вкус мой уже был испорчен, трудно было перевоспитаться. Мало только понять новую жизнь, надо жить всем организмом, быть цельным, здоровым человеком. Разные сомнения и нерешимые вопросы для вас, людей иного воспитания, быстро проходят и не имеют никакого значения, а для нас, специалистов в этом деле, они оставляют неискоренимое влияние, так что и на новую жизнь, которая предъявляла права свои, я набросил тайный флер.

— Я никого не люблю, — продолжал Череванин: — человек я честный и в товариществе добрый, но ни к кому я не привязан, никого мне не надо... Хоть теперь, разве для тебя я здесь сижу и говорю? Поучать, что ли, тебя собрался? Я тебя и знать не знаю. Делал и я людям добро, и не любил никогда тех, кому помогал.

— Зачем же ты и помогал?

— Себя тешил!.. Себя только люблю, — продолжал художник, — один эгоизм, полный, безапелляционный эгоизм!.. Да нет, и не эгоизм... Там, где действует эгоизм, бывает полное довольство, сознание собственного достоинства, а я не живу и не умираю и всегда сам себе гадок. Для кого же, зачем я буду работать? Себя я не люблю, не уважаю, вас тоже... О ком же заботиться, для кого хлопотать? Уж не для будущего ли поколения трудиться?.. Вот еще диалектический фокус, пункт помешательства, благодумная дичь! Часто от лучших людей слышим, что они работают для будущего, — вот странность-то!.. Ведь нас тогда не будет?.. Благодарно будет грядущее поколение? Но ведь мы не услышим их благодарности, потому что уши наши будут заткнуты землею... Да нет, и благодарно не будет грядущее поколение; оно обругает нас, потому что пойдет вперед дальше нас, будет сдавлено в своих стремлениях людьми старого века, то есть моими и твоими сверстниками и единомысленниками. Ведь все, что мы называем отсталым, во время оно было передовым, свежим, бодрым, боролось, в свою очередь, с давно прошедшей рутиной, о которой до нас еле слух дошел. Что же, и стариков в былое время называли лестным именем «вольтерьянцев», хотя они тоже небо коптили... И ваше время минет!.. Почем ты знаешь, может быть, самое-то молодое поколение, вот то, которое сидит теперь на школьных скамейках, уже чувствует что-то неловкое по отношению к вам, и в лице его воспитывается вам протест. Неужели оно проживет так же, как и вы, носиться будет с теми же идеями?.. Оно пойдет вперед или нет?.. И вот попомни ты мое слово, что когда тебе и твоим сверстникам стукнет лет шестьдесят и вы, при божьей помощи, дослужитесь немалого чина, вы притиснете молодое поколение, право, притиснете... На свете уж таков обычай, что лишь только сын дорастет до того, что сам может иметь сына, так и начинает ругать отца. Ведь вечное движение вперед — сытость старым; блага, прежде добытые, становятся до того обыденными, что мы теряем вкус в них. Мы пользуемся всем добром, для нас заготовленным, но всё еще несчастливы; как живот наш добра не помнит: вчера кормили — так нет, сегодня опять хлеба просит. Добьются люди своего, удовлетворятся; но потом, глядишь, новые вопросы, новые желания, иные силы воз-

никают, и старая жизнь давит молодое поколение, потому что человек не может жить две жизни. И новое поколение состарится, в свою очередь, и наших внуков, будущих людей, станет теснить за неведомые ему стремления. Внуки заставят плакаться правнуков, и так далее, в бесконечность. Экая нелепость!.. Выпить, что ли?

— За будущее поколение?

— За все поколения, потому что все они равны. Будто молодое лучше старого или старое лучше молодого? Которое-нибудь из них счастливее, нравственнее, разумнее?.. Все равны!..

— Слушал, слушал я тебя, — сказал наконец Молотов, — и ничего не понял из твоих речей. Я не приготовился к такому потоку софизмов, к такому траурному взгляду и полному отрицанию света и жизни. Как назвать, извини меня, твою дикую систему?

— Если можно, и название есть. Ты видишь, как я говорю гладко; из этого следует, что все у меня обдумано, приведено в систему и может быть выражено очень красноречиво...

— В чем же дело?

— Кого рефлексия, а нас кладбищенство заело.

— Именно, кладбищенство!

— Оно и есть!.. Да, братец ты мой, как ни закрывай глаза и ни затыкай уши, а печальные явления печальной жизни ежедневно и повсюду совершаются и неотступно требуют нашего внимания. Заснула ли жизнь, как болото, захрясла ли в бедности, истомилась ли в болезни, заглохла ли в невежестве, пороке или такой аномалии, как у меня, — много ли нас тревожит жизнь? Равнодушны мы к ближнему; редко можем понять его несчастье. Когда несчастие выдается рельефно, с криком и болью, когда мы видим раны, сильно развороченные болезнью, — тогда только мы спрашиваем себя: «В самом деле, не страдает ли этот человек чем таким?» Узнавши, мы смеемся его глупости. Если ближний страдает от бедности душевной, нам нет дела до него. Кто, дескать, велит ему страдать? Пусть себе!

— Но что такое кладбищенство?

— Вот тебе для образчика. Например, я часто думаю о смерти, до подробностей вникаю в это прекрасное явление природы, потому что я нисколько не брезглив. Вот придет чадолюбивая холера или прохватит столичная

лихорадка, а может быть, бревно сорвется с крыши и прихлопнет на месте, и отлучится, как говорят, душа от внешней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видел в детстве... Положат тебя на стол; под стол поставят ждановскую жидкость; станут курить ладаном, запоют за душу хватающие гимны — «Житейское море» или «О, что это за чудо? как мы предались тлению? как мы с смертью сопряглись?» Соберутся други и знаемые; станут целовать тебя, кто посмелее — в губы, потрусливее — в венок... Дальше?.. что́ дальше?.. Захлопнут гроб крышкой, и завинтит ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Софронов, и опустят тело в подземные жилища... Могила... Что такое там?.. Я уже вижу, как идут, лезут и ползут черви, крысы, кроты... Веселенький пейзажик!.. Через десять лет провалится крышка от гроба... я все это знаю... а через тридцать останется только череп да две кости от таза...

— У тебя мания, — сказал Молотов.

— Органический порок, наследственный...

— Какая-то нравственная торичеллиевая пустота, сожженная совесть и прогрессивное кладбищенство!

— Самородок!

— Движение вперед спиною, веселенькие пейзажики...

— Важно!.. Экая сила поднялась!..

— Глухой мрак и дубы еловые!

— Гадко! — сказал с отвращением Череванин.

— Не верю я, чтобы нельзя было отрешиться от такого могильного направления... Иначе зачем тебе и существовать на свете?.. Ведь отжил, сам говоришь? так ступай на Неву и отыщи прорубь пошире! Чего ты ждешь от завтрашнего дня? Зачем же тебе и жить завтра? Убирайся!..

Череванина озадачил такой оборот речи.

— Зачем до сих пор ты не вырвал из души всю могильную гадость?

— Не мог...

— Лжешь!

Череванин даже привстал с этого слова.

— Человек все может сделать, — продолжал Молотов: — ты не заботился о себе, запустил свою болезнь, развратил себя.

— Я родился таким...

— Переродиться надо.

— Поздно!

— Лжешь! — повторил Молотов.

Череванин вспыхнул; но это было на минуту. Он глубоко задумался.

— Странное явление — такие господа, как ты, — говорил Молотов. — Скучают о том, что жизнь коротка. Чем короче она, тем более побуждений жить! Если ты уверен, что твоя жизнь не повторится, то и должен беречь ее; не много дней дано природою...

— И ляжет в основе существования полный эгоизм...

— Эгоизм рождает любовь. Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желание сделать всех счастливыми. Ты не любишь других, потому что не любишь себя. Но бывало же и тебе жалко людей, помогал ты им, заботился о них, сострадал им?

— Самого себя жалко было — больше ничего. Несчастия людские раздражали, не давали покою, это сердило, — вот и все.

— В том-то и любовь, что чужое горе до такой степени станет твоим горем, что сделается жалко самого себя.

— Перестану, — сказал неожиданно Череванин.

Молотов посмотрел на него с удивлением...

— Попробую, что будет...

— С богом, Михаил Михайлыч!

— Скучно будет, лягу на диван, задеру на стену ноги и буду ждать час, другой, третий; выжду же, что переменится расположение духа; а не то выйду на улицу и буду ходить до изнеможения... Скучно тебе? — спросил себя художник и сам же ответил: — скучно. Ну, и пусть скучно! — прибавил он...

— Вот это не спиной вперед, — сказал Молотов...

— Право?

— Вот и возможно стало перемениться?

— В настоящую минуту возможно; а давеча не было перемены, — значит, тогда, в ту-то минуту, и возможности не было. Что возможно, то сейчас и на деле есть...

— Ну, так и дубы еловые в сторону?

— В сторону...

— И великопостные конфекты?..

— И конфекты туда же!

— И торичеллиеву пустоту?

— Ну, не совсем, — сказал в раздумье художник...

— Кладбищенство осталось, значит, можно соблазнить.

— Соблазнить?.. да вот тебе еще пустое слово!.. Соблазнить никто и никого не может... Соблазнить?.. что это такое? Я в этом слове ничего не слышу, — оно совсем пустое!.. Меня никто и никогда не соблазнял; я всегда удовлетворял только своим потребностям... Теперь поворот на новую жизнь — вот и все!

— Что же ты думаешь предпринять теперь?

— Начну работать как вол. Не будет художественного жара, стану копии писать да за рубль продавать. Заведу чистоту в квартире, насильно заведу; выгоню квасных либералов; поселюсь среди женщин — пусть смягчат мои нравы: это их дело, и вот тогда посмотрю, что со мной будет.

Череванин долго мечтал о новой жизни. Он встрепенулся и повеселел...

— Скучно тебе? — говорил он, выходя из ресторана. — Скучно! А мне какое дело? пусть скучно!

Молотов смеялся.

У Дороговых вечером опять было маленькое собрание. По обыкновению пришел Молотов; Череванин занимался портретами; здесь же был молодой Касимов, который на днях получил место. Касимов радовался по-детски, что и он наконец стал чиновником. Молодые люди, среди их и Надя, собрались около ярко освещенного портрета, над которым трудился Череванин; дети с любопытством смотрели на его работу. Касимов болтал без умолку, строил разные планы о службе и наконец уже стал впадать в роль совершенного деятеля, воображая, как он, даст бог, поразит всевозможную административную неправду. Череванин не мог не отравить его молодой радости.

— А карьера художника вам не нравится более? — спросил он.

Касимову неловко стало.

— Нет, мое назначение другое; я должен быть чиновником.

— Отчего же вы в чиновники пошли, а не в монахи, не в художники? А во время войны вы мечтали об офицерской карьере...

Касимов покраснел...

— Отчего же вы думаете, что чиновничество — ваше призвание?

— Ах, боже мой, отчего и другие думают это. Вот спросите Егора Иваныча, отчего он чиновник, а не кто-нибудь другой?..

— Отчего, Егор Иваныч?

Молотов засмеялся.

— По призванию? — спросил Череванин...

— Нет, по приглашению друга...

— Разве можно без призвания служить? — возразил Касимов запальчиво.

— Егор Иваныч, расскажи господину Касимову в назидание, как ты ехал на службу, точно мокрая курица.

— К чему! — ответил Молотов.

— Расскажите, — присоединила и Надя свой голос...

Касимову тоже очень хотелось послушать Молотова, которого он очень высоко ставил в своем воображении и едва ли не считал необыкновенным существом. Он знал Молотова как человека независимого, гордого, который ни пред кем не гнул спины, как человека свободномыслящего и притом степенного, положительного и практического. «Вот у кого поучиться!» — думал он и боялся, что Егор Иваныч не захочет высказаться...

— Извольте, расскажу, — отвечал Молотов к общему удовольствию.

— Моей карьерой распорядился фатум, — начал он, — а не разумный выбор. Не то чтобы я сам захотел служить, а это со мною просто случилось... Дело в том, что я занимался у одного помещика, нисколько не думая о будущем; помещик оскорбил меня, приходилось оставить место, — и вот тогда взяло меня страшное раздумье о моем призвании. Тогда первый раз возник в моем уме вопрос, который я долго потом решал: «Не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою, — выдумать, что ли, ее, вычитать, у людей умных спросить?» Вот так, как и вы теперь желаете порасспросить о том же умных и практических людей. Вопрос родился неожиданно, поставлен был неотразимо, но отвечать на него все-таки было нечего, потому что за душой ничего не было. В это время приятель мой написал мне письмо, в котором ясно, как день божий,

доказывал мне, что я рожден чиновником. Я не поверил ему, но у меня денег не было, средств к жизни никаких, а есть хотелось; кроме того, неловко же так жить на свете, и на вопрос: «Что ты?» надо отвечать хоть это: «Я чиновник!» Вот я, долго не думая, махнул рукой и поехал в губернию к приятелю, который обещал достать мне место. Если бы он предложил мне место учителя, корреспондента, управляющего, я бы согласился с таким же расположением, как и на должность чиновника. Вся сила в том, что мне некуда было приютиться. Я завидовал тем юношам, которые, кончив курс, имеют возможность года три-четыре не поступать ни на какую службу, которые обеспечены своими отцами и дедами. Они могут осмотреться, поучиться, пожить. Будь у меня небольшое состояние, я ни за что не пошел бы на службу, какие там ни пиши мой приятель письма. Я ехал к другу мокрой курицей, подавленный обстоятельствами, чувствуя, что я не чиновник, — а кто? не знал я тогда... Тяжело мне было думать: «Зачем меня несет туда? ни больше ни меньше как на казенную пищу, на государственные харчи!..» Мне совестно было такого положения, и вот я стал успокоивать себя фразами друга: «От тебя не требуют любви к службе; нам нужны твой ум, честность, труд». — «Что ж, — подумал я, — и буду работать». И с этого слова вдруг на меня напала какая-то фальшивая торжественность, напряженная, деланная злоба ко всему подлому. Я поехал таким карателем, что страшно стало за человека... Перестал я жалеть себя, готов был взяться за дело честно, вынести какую угодно борьбу, всю жизнь свою положить на истребление подлости людской, на гибель нарушителям закона. «Сделаю же что-нибудь!» — уверял я себя. Мне даже весело стало... Припомнилась мне судьба некоторых молодых людей, задавленных сильными мира за прогрессивные идеи. «Так что же? — отвечал я на свои мысли. — Пусть выгонят из службы... мне не жалко себя... я постою за правду... на пядень не отступлю от нее». Как теперь помню, я тогда раздумался, способен ли я решиться на какую-нибудь чиновную подлость; долго я прислушивался к своей душе и наконец с юношеским восторгом сказал себе: «Нет, не способен!» Я чуть не закричал во все горло: «Итак, борьба!» и стал торопить ямщика — верно, поскорей хотелось вступить в борьбу... примерно завтра же поутру...

Я был почти уверен, что мне придется страдать за правду, что не диво, если меня и выгонят из службы за высокие мои добродетели. Немного погодя я уже мечтал о такой участи с наслаждением и гордостью; мне было весело, и, увлекаясь, я торопил ямщика... Но скажите, ради бога, отчего это я опять поехал мокрой курицей? Юноша понял, что он занимался деланием фраз пустых... Мне стыдно стало за то, что я мечтал, как выгонят меня из службы... Во всем этом слышалось одно: «Не хочется быть чиновником — ох, как не хочется», а обстоятельства насильно делают чиновником. Вот и думалось, что судьба же и спасет меня, что авось-либо, даст бог, вытурят со службы. Так школьник мечтает о том, что его исключат из училища, и он опять будет жить дома, среди сестер, братьев, товарищей, подле матери и отца. Вот когда сжалось мое сердце... «Кто же такой Молотов?» — спрашивал я себя со злостью. У меня не только не было ни роду ни племени, ни кола ни двора, — у меня не было и сословия, я не принадлежал ни к какому кружку; я был космополит, человек, не имеющий почвы под ногами. Как мне хотелось тогда видеть своего друга, единственного человека, который был близок ко мне; как хотелось обнять его и высказать все, что было на душе! Мне казалось, что на меня напала тоска от одиночества на большой дороге, вдали от людей... «Вперед!.. жизнь широка!.. не сегодня она началась, не завтра кончится! Перейдет время, все уляжется и определится». Я представлял себе, как встречусь со своим приятелем, что́ буду говорить, о чем спорить, как проводить вместе время. В моем воображении уже рисовался губернский город. Доселе я был студентом, потом жадно всматривался в сельскую жизнь и природу, а теперь приходилось увидеть провинциальную городскую жизнь, для меня еще не знакомую. Служба в моих мыслях отходила на второй план, интересы ее стушевывались, а возбуждалась простая любознательность. Будущее было смутно и неразгадано; но хотелось повидать людей, — а в этом отношении что лучше следственных дел в жизни губернского города, где все хорошо знают друг друга? И значит, в губернию, где прежде к помещику, я ехал без ясного сознания цели жизни, в качестве зрителя, с единственным намерением поучиться, лишь с той разницей, что у меня уже не было детски ясного взгляда на

мир божий. Я понял, что мне нужно было: «О боже мой, если бы можно года четыре пожить без службы частной и общественной, осмотреться, одуматься и отведать вольного, нестесненного существования!» Но желания мои были неосуществимы, и я через несколько дней надел мундир чиновника... Оно и выходит, что я поехал на службу не по призванию, а по приглашению друга...

Все ожидали продолжения рассказа Молотова; но он не хотел больше говорить. Касимов не сделал ни одного замечания насчет Молотова. Он сознавал, что идет на службу по приказанию отца, его просто определяют в департамент, и что у него нет и тех побуждений идти в чиновники, какие были когда-то у Молотова. Он чувствовал, что не может взять на себя роль Егора Иваныча, и совсем растерялся. Но на него уже никто не обращал внимания: всех занял Молотов.

— Что же потом было с вами? — спросила Надя Молотова.

— Не хочется вспоминать, Надежда Игнатьевна.

— Отчего же?

— Молод был, ничего не понимал и кончил очень нехорошо.

— Не взятки же брал? — заметил Череванин.

— Какие тут взятки?.. Я сам готов был дать взятку, чтобы только образумили меня...

— Что же случилось? — повторила Надя с заметным любопытством.

— Если не хочешь говорить, позволь, я расскажу... — вмешался Череванин.

— Нет, после когда-нибудь, — ответил решительно Молотов.

Надя на этот раз надеялась услышать от Молотова нечто вроде исповеди; но Егор Иваныч не был расположен к откровенности. Под влиянием воспоминаний о молодых годах он сгрустнул и задумался. Надя смотрела на него пытливым взглядом, желая отгадать, что у него на душе. В это время послышался звонок в прихожей. Надя вздрогнула от этого звука. Молотов проговорил: «Кто бы это?» и обратил внимание на Надежду Игнатьевну. Она была вся взволнована. «Что бы это значило?» — подумал он и стал с нетерпением ожидать гостя, навстречу которого побежали дети... В комнату вместе с Игнатом Васильичем вошел мужчина лет три-

дцати, высокий, стройный и красавец... Надя быстро окинула взором гостя, и сердце ее упало. «Третий раз он здесь! — подумала Надя. — Зачем?» Гость не нравился ей, а между тем она думала: «Не жених ли?»

Гость сделал общий поклон, но особенно почтительно, даже с благоговением, он поклонился Надежде Игнатьевне, точно она была жена его начальника. Этот господин был секретарем при статском генерале Подтяжине, директоре одного присутственного места, Иван Федорыч Чаплинский. Чаплинский и Игнат Васильич прошли в кабинет. Беседа молодых людей расстроилась. Надя ушла к матери; Касимов отправился домой. Остались Молотов и Череванин...

— Как твои дела? — спросил Молотов Череванина.

— Все еще скучно, хоть и переменил жизнь...

— Подожди, не сразу же.

— Подожду... А теперь пока худо... После того как мы виделись, прошла целая неделя самой пошлой и бессодержательной жизни.

— Что же ты делал?

— Читал, в театре был, смотрел парады, шлялся по улицам либо сидел целые часы и, выпуча глаза, смотрел на двор; ходил по комнате и считал свои шаги, — однажды насчитал до десяти тысяч. Третьего дня я отправился на набережную Невы, оттуда ко дворцу, от дворца к Дациару, потом в Пассаж; шел-шел и очутился у Невского монастыря, и обратно домой.. Все скучно было. Встретилась баба с шарманкой, при которой был приткнут ребенок ее. Я дал бабе десять копеек... Мне не было ее жалко, нисколько!.. Ведь и ты бы не стал жалеть? Много идет народу, и никому нет дела, некогда!.. Мне таки было некогда.

— Чем же ты был занят?

— Мне скучно было, я, собственно, этим и был занят. Впрочем, что ж? Я ей дал гривенник — пусть выпьет! Для того же, чтобы помочь этой женщине, надо отнять у ней ребенка, изломать ее шарманку, дать ей тепло, деньги и хоть несколько здравых идей, а здравых-то идей у меня у самого нет... Ох вы, благодетели рода человеческого! Вот и я ходил по улице, добрые дела делал; но у меня, когда я делаю так называемое добро, после никогда не бывает того радостного чувствованьица, которое ощущает всякий, подавший нищему гривну,

Иной гривну даст, а на рубль блаженствует; а справься, блаженствует ли человек, получивший гривну? Отсюда одно следует — что добродетель награждается еще и в этой жизни. За несколько грошей — сколько чистого, высокого духовного наслаждения! Вот и мы попытались блаженствовать; нет, не выходит: за свою же гривну скучно!

— Что же еще ты видел замечательного?

— Видел я еще старика немца. В одном сюртучишке, на морозе, выводил он какую-то дичь музыкальную. Собралась около него публика... Музыкант наш берет ноты на авось. «Плохо, немчура», — сказал кучер, слушавший его, и вслед за ним толпа разошлась. На другой день мне случилось опять быть на улице, — и что же? Вижу, старик мой стоит за углом, скрыпчонка под мышкой, сам весь трясется и протягивает руку. «Что, брат, не вывезло святое искусство?» — спросил я его. Черт дернул немца заплакать; я ему дал рубль серебром. — «Выпей, дружище!» — сказал я ему. — «Ох, гер,[1] выпью», — ответил он. Так мы и расстались.

— Неужели ты только то замечал, что может нагнать скуку?

— Нет, и веселенькие пейзажики попадались.

— Опять пейзажики?

— Опять они. Так, я увидел мальчишку, замаранного, оборванного, но который с полным наслаждением копается в снегу. «Бравый парень!» — говорю ему. Он на меня взглянул и ответил: «Дяденька, а дяденька?» — «Что тебе?» — «Дай глосык». — «Зачем?» — «Гостинца куплю».

— И ты дал?

— Я ли не дам?.. Полные пять копеек отсчитал: Мой парень подрал к прянишнику. Я спрятался за угол и стал наблюдать. Он скоро вернулся назад, уписывая трехкопеечную ковригу; потом огляделся и начал рыть что-то около забора. «Что ты делаешь?» — спросил я, подкравшись к нему сзади. Мальчуга испугался. Оказалось, что он закапывал под забором оставшуюся от покупки пряника сдачу. «Это зачем?» — сказал я. — «Мамка отымет». — «А ты, не давай!» — «Выпогет». —

[1] Herr — господин *(нем.)* — *Ред.*

«У тебя мамка злая?» — «Чегтовка!» Ну как такому развитому мальчику не дать было еще пять копеек?

— И ты дал?

— Дал... Еще раз я видел историю... Стоит будочник и нюхает табак. К нему подходит пьяный мужик и под самым носом его начинает мычать. Лицо стража принимает административное выражение. «Чего тебе?» — говорит. Мужик мычит себе. Лицо стража принимает выражение юридическое. «Пошел прочь!» — говорит. Но мужик во все горло закричал: «Знать ничего не хочу!» — «Чего ревешь?» — убеждает его страж и принимает выражение военное. «Ничего знать не хочу!» — кричит мужик. Тогда будочник взял его за шиворот и, ударив методически, с чувством, с толком, с расстановкой, три раза по шее, проговорил: «Одёр, не реви, а коли натрескался, ступай домой!» Мужик постоял, посмотрел на стража без смысла, промычал что-то и пошел себе далее.

— Неужели все это время ты шатался по улицам?

— Был и дома; но и тут не веселый. Все работать не будешь, а что же делать, когда не работается? Настает тогда самое глупое препровождение времени; лежишь, задравши ноги на стену, куришь сигары, плюешь на пол и ждешь, скоро ли опять шевельнется мысль в голове, скоро ли захочется работать.

— И только?

— Только и есть. Впрочем, на днях собрался с силами, всю квартиру перерыл, велел выместь полы, прикупил мебели, чистоту завел, добыл цветов и думаю: «Дай устрою идиллию!»... Как бы это сделать? Необходимы дамы, потому что, как тебе известно, их назначение — смягчать наши нравы. По соседству живут две сестрицы, шитьем занимаются; я их и пригласил, объяснив предварительно, что я их приглашаю единственно для идиллии, а не для чего иного. Пили чай, угощались конфетами и разными сиропами, играли в дурачки, даже танцевать хотели, да только я один и был кавалер... Девицы всё сомневались, что я просил их только для идиллии, но наконец убедились, и, когда прощались, старшая сказала: «Хорошо с кем-нибудь компанию водить... Давайте быть знакомыми... ходить будем один к другому...» — «Будем», — говорю. Видишь, как быстро смягчаются мои нравы? Они обещались устроить мою квартиру, со-

шьют мне новое белье, все брюки и сюртуки мои перечистили, а младшая сестра так напомадила мою голову, что чудо!

— А старые приятели?

— Уплыли.

— А что, если ты полюбишь которую-нибудь из сестер?

— Вряд ли.

— Они образованные девушки?

— Нельзя сказать, да это все равно.

— А поведение?

— Они добрые девушки.

Молотов рассмеялся. Но он неохотно слушал Череванина. Ему хотелось поговорить с Надей, расспросить, чем она взволнована; но, как нарочно, пришел дворник и отозвал его по делам управления домом. Игнат Васильич и Чаплинский вышли из кабинета; и они куда-то отправлялись. На лице Дорогова было написано торжество, он сиял с головы до ног. Чаплинский с глубоким благоговением шел около него. Во всем этом было что-то загадочное.

Надя опять сильно встревожилась, когда, при уходе гостя, встретилась с ним и когда гость отвесил ей глубочайший поклон. Странным покажется, что Надя, лишь появится в доме новое лицо, не может смотреть на него иначе, как на жениха. Но в ее кругу с посторонними людьми без нужды не знакомятся; притом молодые и старые люди сватаются без совести и церемонии: увидят хорошенькую девушку, не познакомятся даже с ней покороче, не расспросят лично ее, какова она, а прислушиваются на стороне о ее поведении и потом обращаются прямо к отцу: я, дескать, хороший человек, так давай твою дочку — жить с ней хочу. Вот и все. Но Надя, постоянно живущая в ожидании жениха и, значит, привычная к такому состоянию, скоро успокоилась. Увидя Череванина одного, она спросила:

— Где ж Егор Иваныч?

— Ушел. За ним дворник приходил.

Надя села подле Череванина.

— Скажите, что с Егором Иванычем случилось в губернии?

— Уже не думаете ли вы, что его гнали за современные идеи, за либерализм!..

— Что же? — спросила Надя с любопытством.

— Ничего. Он просто оказался неспособным человеком. Вместо того, чтобы служить как все люди, все вникал в дело, размышлял, волновался и тосковал. Он добрый парень, простой мужик...

— Вы, Михаил Михайлыч, на весь свет сердиты...

— Ну да; а вот он так не сердился на свет, а бестолково любил его. Начать с того, что его постоянно смущало, зачем он поступил по рекомендации друга, а не по своим достоинствам. Приятель, разумеется, смеялся его странной щекотливости.

— Приятеля его звали Негодящев?

— Да.

— Какая странная фамилия, точно нарочно выдумана...

— А между тем он вел себя умнее, нежели Молотов. Он умел пользоваться случаем. Однажды Негодящев в публичном саду подал какой-то пожилой даме перчатку, которую она уронила. Оказалось, что эта была тетка губернатора. Другой раз он нашел поминанье, принадлежащее правителю канцелярии, человеку набожному; он поминанье представил по принадлежности, лично правителю. Потом еще подошел случай: предводитель губернии был ни во что не верующий; ему кто-то сообщил, что и Негодящев ни во что не верует. Открылось место по следственной части... Вы извините меня, я плохо знаю все эти термины административные, может быть, и спутаю что... Негодящев подал просьбу. Многие рассчитывали на открывшуюся вакансию; но за обедом у губернатора предводитель сказал: «Негодящев — молодой рациональный человек»; правитель сказал, что он — «молодой набожный человек», а губернаторская тетка, что он — «молодой почтительный человек». По этим трем приговорам состоялась резолюция об его определении, составилась его карьера. Ну есть ли тут смысл? Очевидно, нет; а все-таки Негодящев стал чиновником особых поручений. Вот Негодящев стал хлопотать о Молотове. Он был знаком с одной помещицей, имевшей огромное влияние на всякие дела. Эта госпожа владела огромными имениями, которые, несмотря на ее богатство, все были заложены. Она была дама

пожилая, степенная. Много своих воспитанниц повыдала замуж за чиновников. Это была заступница всех несчастных и гонимых: откупщик как-то совсем пропадал — выходила дорога в Сибирь, к гипербореям; но он просил нашу даму похлопотать — и спасся. Вот к этой-то госпоже Негодящев свез своего друга. После визита Молотов проговорил энергически: «О, черт бы побрал и службу совсем!», что́ Негодящеву показалось очень странным. Он объяснил своему приятелю, что унывать нечего, что дело не в форме, а в деле, не в средствах, а в принципе, что все служат с протекцией, значит, и ты служи, лишь только пользу приноси. «Мы, говорит, люди современные, с гонором, взятки не возьмем, подлости не сделаем, но не воспользоваться рекомендацией — это нелепость, это приторный, смешной пуризм. Потому и служба называется фортуной. После того он пересчитал служащих лиц, кого знал, с их окладами, чинами, заслугами и формулярами, и что же? оказалось, что немногие из них добились карьеры единственно своими силами. «Вот тебе факты, говорит, ты их любишь!» «Неужели, — спрашивал он Молотова, — ты придешь к начальнику губернии и скажешь: не хочу места! вы тогда дайте его, когда обнаружатся способности мои»? «У тебя, — заключил приятель, — я вижу, нет об этом предмете даже элементарных понятий!..» Молотов давеча сказал, что он мечтал о том, как выгонят его из службы, что обстоятельства сделали его чиновником, а не призвание, что ему хотелось погулять, поучиться, пожить, а его запирали в канцелярию. Вот он и стал придираться ко всякой мелочи...

— Разве это мелочи? — спросила Надя.

— А то что же? Представьте себе героя, который говорит: «Не хочу места, дайте мне его по заслугам, а не по протекции». Благородно, а смешно!.. А главное дело в том, что Молотов придирался, потому что служить не хотелось ему, — значит, благородство-то является на втором плане.

— Вы всё умеете представить в мрачном виде...

— Такова уже моя профессия!.. Я...

— Продолжайте, — перебила Надя, видя, что Череванин хочет распространяться о своей профессии...

— Ну-с, — начал Череванин. — Молотов получил место. Приятель ввел его в свой кружок; мало-помалу

он стал привыкать, всматриваться в службу и окружающую жизнь; время тянулось довольно вяло и скучно, как тому и следует быть... Но вот Андрей объявил Молотову, что он вместе с ним назначен на следствие. Дело было серьезное: об убийстве женою мужа. Егор Иваныч встрепенулся: во-первых, он никогда не видал убийц; во-вторых, служба вдруг представилась ему непосягаемо высоким и священным долгом — в его руках были суд и правда! Но с первого же шагу начался разлад. Не в его натуре было вести такие дела хладнокровно, не горячась, безучастно. Товарищ смело и бодро ходит, а он как будто на него похож, но уже кралось что-то зловещее в сердце его. Скоро Молотов увидел преступницу. Это была женщина бледная, исхудалая, трепещущая... Ей уже было внушено, что она... Эх, Надежда Игнатьевна, женщинам многого говорить нельзя! — вдруг перервал Череванин...

— Отчего же?

— Неприлично...

Надя не отвечала.

— Хорошо ли сказать: преступнице уже внушено было, что она не избежит... плетей!

Надя вздрогнула и покраснела...

— Молотов застал преступницу в минуту яростного увлечения, когда она ругалась, страшно клялась, выла от злости и на том свете грозила мужу. Егор Иваныч сначала остановился в ужасе, потом ему жалко стало, наконец на глазах доброго парня показались слезы. Сердце его было молодо, зелено, горячо и впечатлительно... Понятно, он не мог остаться бесчувственным камнем, видя в лице женщины весь ужас грядущих плетей... Молотов взял женщину за руку... Она заметила его сожаление, затряслась, заплакала; одичалость и отчаяние сменились страхом и смирением. «Барин, научи ты меня богу молиться!» — сказала она. Вот этого-то он и не умел сделать. Он только отвернулся в сторону. Когда преступница успокоилась немного, Молотов обласкал ее, утешал и уговаривал ее, как мог... Она сделалась доверчива и рассказала о своих несчастиях. Видите ли... (Череванин остановился, затрудняясь почему-то вести рассказ...)

— Говорите же, — заметила нетерпеливо Надя...

— Я, пожалуй, скажу! — отвечал он цинически. — Барин, которого она любила, отдал ее насильно замуж за своего крестьянина.

Надя опустила глаза; но она слушала с напряженным вниманием, — и странно: ей не столько хотелось узнать, что будет с преступницей, сколько то, что будет делать Егор Иваныч.

— Мужик ненавидел свою жену, бил ее, тиранил, унижал всеми мерами, публично попрекал ее, а она, дура, в ногах у него валялась и просила прощения... В чем?.. Скоро у них родился сын; муж и его стал ненавидеть... Жена все терпела... Наконец, по жалобе мужа, ее высекли однажды... С той минуты стало твориться с ней недоброе; муж стал невыносим для нее... Одним словом, она убила мужа своего топором, а сама убежала в лес, где и нашли ее в полупомешанном состоянии. Рассказ свой женщина кончила истерическими рыданиями и просьбой — отдать ей сына...

— Что же Молотов? — спросила Надя.

— Плакал, — отвечал насмешливо художник.

— Что ж тут смешного? — спросила Надя.

— Сейчас скажу... Егор Иваныч, оставив женщину, как от хмеля качался. Товарищ встретил его бодрый, веселый, точно живой водой спрыснутый... Под его руками кипело следствие, и он факт за фактом выводил на свежую воду. Молотов был бледен... «Что с тобой?» — спросил Андрей. Молотов отвечал: «Неужели она погибнет?» — «Кто?» — «Преступница», — и Егор Иваныч рассказал свою встречу с ней. Он с ужасом вспомнил ее обиды, клятвы и рыдания. Товарищ радовался, что будет обстоятельное следствие, а Молотов жалобно повторял: «Она так много страдала, за что же еще будет страдать?» Вот и вышло смешно, потому что он не нашелся, что отвечать на такие слова приятеля: «Она должна быть наказана за убийство. Многие страдают больше ее, а не берутся за топор и ищут законного пути. Все эти чувствования, друг мой, общемировые идеи не имеют никакого юридического смысла. Можешь стихи писать на эту тему, повесть. Я думал, ты мне помогаешь, а ты только путаешь дело. В службе ничего нет поэтического; служба — труд тяжелый. Стоит только пуститься в психологию, у нас всю губернию ограбят. Да и что я могу сделать? Мы — исполнители

закона и должны быть бесстрастны!» Весь юридический факультет выскочил из головы доброго парня. На глазах его шло деятельно следствие: место преступления освидетельствовано, орудие кровавое при деле, раны убитого осмотрены, смерены, сосчитаны, определены и записаны, отобраны все показания. Молотов лишь об одном заботился — сколько-нибудь успокоить страдалицу и облегчить ее положение. Он хлопотал, чтобы принесли к ней сына, он просил приставленных к женщине сторожей — обращаться с ней как можно ласковее и предупредительнее.

— Какой он добрый, — проговорила Надя тихо.

— Да; но он заботился не об обществе, которое страдает от убийцы, а о самой убийце, которая вредила обществу. Ему жалко стало... При его характере и в его летах не следовало брать на себя такие обязанности. Он оправдывался тем, что не готовил себя к такому роду занятий, призвания не чувствовал, а призвание, по его словам, все одно, что любовь, — оно, видите ли, при всех противоречиях и сомнениях, ведет к практической цели, при нем в самом разладе бывает гармония. Пустяки!.. диалектические фокусы! Призвания, как и любви, нет на свете... К чему, вы, например, призваны? к чему все люди призваны?.. Разумеется, не следовало идти в чиновники. Ему надо было остаться простым зрителем, вот как все бабы и мужики, которые, увидев трепещущую преступницу, утирали слезы кулаками и вздыхали; ему следовало вмешаться в толпу и плакать.

— Я не понимаю, на что вы негодуете, Михаил Михайлыч.

— Я уважаю его, Надежда Игнатьевна: он добрый мужик...

— Какие выражения!

— Ну, мужичок, что ли... Этак ласковее...

— Вы никого не любите...

— Никого, Надежда Игнатьевна...

— Что же дальше? — спросила Надя с досадой.

— Наш век — дивный век, — отвечал Череванин. — Ныне все заедены: кто рефлексией, кто средой, я, например, кладбищенством... (Надя поморщилась при этом слове...) кто чем; не только умные, все дураки заедены;

прежде вы встречали просто болвана, а теперь болван с рефлексией.

— Перестаньте браниться!

— Молотов не дурак, но он должен быть заеденным по духу нашего века... Дамы не страдают этой болезнью, — она мужская. Но послушайте, что его заело.

— Все же не то, что вас...

— Нет, не кладбищенство. Этот случай определил направление Молотова. Он первый раз встретил преступницу, которая, в существе дела, была женщина честная, преступление совершила она по внешним, не в ее натуре лежащим условиям. Это дало толчок для дальнейшего его развития. Он все начал объяснять внешними условиями; всякого негодяя ему стало жалко. Они казались ему несчастными, больными либо помешанными. Молотов и до сих пор сохранил свое добродушие, будучи уверен, что во всяком человеке есть добрые начала. Он кого угодно оправдает, как я кого угодно опровергну. Ему нужно быть адвокатом, защитником, а не карателем. Чего он искал? Тайну жизни разрешить хотел? Словом, не жил, а философствовал... Вот и напустил он на себя блажь.

— Я еще не вижу никакой блажи, — заметила Надя...

— Потому что главного еще и не знаете. Бывало, он выйдет на реку и всматривается в волжскую деятельность. На берегу огромными толпами бегают дети, оборванные, грязные, с непокрытыми головами, босоногие; в бедности и без смыслу зачиналась их жизнь. Он стоит и думает: «Вот новое поколение безграмотного люду; сколько из них будет воров, людей, не имеющих нравственности!» Пусть бы он развлекался только такими мыслями, а то они тревожили его. Он в то время говорил, что желал бы снять крыши со всех домов и заглянуть в эти тысячи жизней. Ко всему этому поднялись со дна души все так называемые коренные вопросы. Бог, душа, грех, смерть — все это ломало его голову и коробило. Ему хотелось и в свою и в чужую жизнь заглянуть до самой глубины, до последних основ ее. Он думал, что учился мало, и начал просиживать ночи над книгами. Но все это показывает только то, что он был мальчик способный, хотел проверить все своей головой и жизнью, то есть он развивался, что́ неизбежно в молодые годы. Важно то, до чего он додумался.

Череванин перевел дух.

— Молотов, — продолжал Череванин, — в таком состоянии непременно должен был высказаться. К приятелю своему он охладел и уже не мог быть с ним откровенным. Молотов сошелся с одним доктором, человеком в высшей степени положительным и спокойным, которого ничто не могло потревожить. Молотов проговорился перед доктором, что его жизнь раздражала. «Напрасно, — отвечал доктор, — если бедствия людские должны тревожить нас постоянно, то, значит, вот и теперь мы не имеем права сидеть здесь спокойно. Вот в эту же минуту кого-нибудь режут, окрадывают, кто-нибудь умирает с голоду либо топится. Давайте плакать. Но никакие нервы не вынесут, если мы сделаемся участниками всякого горя, какое только есть на свете. Я сейчас был у женщины, которая впала в помешательство, и вот видите, все-таки сигару курю спокойно. Отчего же я не лезу на стены? Оттого, что моя деятельность определена ясно. По моему мнению, все, что совершается в данную минуту, и должно совершаться; потом, служим мы лицу частному, индивидууму. Поэтому, встречаясь с болезнью, мы не смотрим на нее с нравственной точки зрения, судейской, религиозной. Для меня ясно, что сильно ожиревший человек не будет деятелен, чахоточный — весел; у кого узок лоб, тот не выдумает и пару здравых идей. Поэтому мы ненависти к больному не питаем; напротив, с любознательностью заглядываем в глубокую рану, хотя бы она была сделана пороком. Если болезнь неизлечима, мы не сокрушаемся, а говорим спокойно: по законам природы, нам известным, она и должна быть неизлечима. Видите, как все это просто?»

— Что же Молотов отвечал? — спросила Надя, для которой подобный разговор был чересчур нов и неожидан.

— Он отвечал: «Я ничего не понимаю». Доктор ему объяснял свое, а в голове у него было свое, молотовское. В его голове стоял вопрос: «Кто виноват в том, что человек делается злодеем? Вы докажите, что он сам, один виноват в сделанном зле, а не привели его к нему другие, и тогда делайте что хотите». Вон куда метнул!

— Однако сказал же что-нибудь доктор?

— Тот свое несет: «Мы никого не наказываем; у нас нет виноватых, а есть больные. Мы не казним больной член, когда отрезываем его; волка бешеного убиваем не за то, что он виноват, а за то, что бешен; по той же причине не подставим голову под падающее бревно с крыши или запираем сумасшедшего в больницу; я думаю, по тем же побуждениям надо уничтожить и преступника — он вреден». Всегда ведь споры подобным образом кончаются. У Молотова осталось все перепутано в голове. Он и без доктора знал, что преступники — вредный народ. Это, знаете, Надежда Игнатьевна, у мужчин бывает в молодости вроде болезни — умственная немочь, как и у женщин в эти годы бывают свои странности. Заберется в голову какая-нибудь мысль и все перепутает.

«Так вот каков он был! — подумала Надя. — Однако он теперь спокоен, — значит, он решил все это?»

Как будто отвечая Надиным мыслям, Череванин сказал:

— Решил ли он эти вопросы, или просто они надоели ему, но только он их бросил. Дело в том, что Молотов мог распустить разные чувства, но не мог долго страдать головой. Болезнь прошла, как минуются и дамские болезни. Организм переработает, и кончено.

Надя думала: «Умный же человек Егор Иваныч и добрый». Она еще более утвердилась в мысли, что Молотов многое пережил и головой и сердцем, что он человек опытный и, случись с ней беда, поможет ей. И вот она решилась в следующий раз поговорить с ним от души... Многое хотелось ей спросить. При ее боязливости высказываться, которая развилась оттого, что она потихоньку, не говоря никому, обдумывала многие вещи, Надя, очевидно, не могла заговорить откровенно с Череваниным, хоть и он, как Молотов, выделялся из круга ее знакомых и знал жизнь не ту, которая была ей знакома. Откуда она, замкнутая в своем кругу со всех сторон, узнала, что есть иная жизнь? Вычитала, со слов Молотова догадалась, или подсказало ей собственное сердце?

— Однако чем же кончил Егор Иваныч? — спросила она.

— Относительно вопросов — хорошо. К людям он остался снисходителен, но не к себе. Доктор был самый умный человек в городе и ничего ему не разъяснил. Тогда он сказал себе: «*Я* должен, *сам* должен, *своим* опытом, *своей* головой дойти до того, что *мне* нужно. Люди не помогут; да и требовать, чтобы они в *твоей* голове уложили *твои* же противоречия, — несправедливо. Всякий сам для себя работает. До сих пор меня учили, теперь я буду учиться. Великое дело — своя мысль, свое убеждение; это то же, что собственность. Только то и можно назвать убеждением, что самим добыто, хоть бы добытое было и у других точно такое же, как и у меня. Я сам и есть первый и последний авторитет, исходная точка всех моральных отправлений, и чего нет во мне, того не дадут ни воспитание, ни пример, ни закон, ни среда. Положим, я глуп, но глупого человека никакая сила не сделает умным, — учите или бейте его, смейтесь или сокрушайтесь. И в чем я прав и виноват, во всем том я сам прав и сам виноват, а не кто-либо иной. Может быть, таких начал не лежит в натуре других людей, — я их не сужу, а в моей натуре лежит. У меня все свое, и за все я один отвечаю!» Так он развивался туго, мозольно, упрямо, и нисколько на меня не похож, потому что я думаю наоборот — я не виноват в своей жизни и не прав в ней... Меня, я говорил, чтó заело... Ведь у нас редко кто имеет нравственную собственность, своим трудом приобретенную; все получено по наследству, все — ходячее повторение и подражание. А Егор Иваныч хотел иметь все свое...

Надю поразила эта характеристика воплощенного упрямства того человека, который так интересовал ее, и бог знает на что она была готова, чтобы только разгадать Молотова, с которым она давно знакома и так мало знает его.

— Вот и начал Егор Иваныч поживать своим умом, — продолжал Череванин. — Первым следствием было то, что Молотова стали теснить. Он в обществе говорил неуважительно о своей благодетельнице; добрые люди довели это до нее. Вышла большая неприятность: ему предложили подать в отставку, хотя он успел прослужить всего полтора года.

— Вы знаете, что с ним было после?

— Знаю. После...

В это время раздался звонок в прихожей, и Надя с замиранием сердца подумала: «Неужели у меня есть жених?» Она вспомнила давешнего нового гостя.

Показался в дверях Игнат Васильич. Он прямо направился к Наде, подошел к ней и звонко поцеловал ее.

— Ты счастливица, моя Надя! — сказал он дочери, глядя на нее с полною любовью.

Надя побледнела. Догадалась она.

— Чего, дурочка, испугалась? — говорил Дорогов ласково и опять поцеловал ее в щеку.

Надя молчала; у нее шумело в ушах; она переставала понимать себя.

— Голубушка моя! — продолжал отец ласкать.

— Кто он? — прошептала Надя едва слышно.

— Генерал, генерал! — ответил Дорогов с искренним восторгом, от которого трепетало все его существо.

— Какой?

— Подтяжин.

Надя слегка вскрикнула.

— Шампанского! — закричал отец.

— Я не пойду за него, — сказала Надя.

Отец не дослышал.

Радостный крик отцовский разнесся по всем комнатам; прибежали жена, дети.

— Папаша, — сказала Надя, взяв его за руки, — я не хочу.

Теперь отец побледнел.

— Что? — крикнул он грозно, и послышался старый, юность напоминающий дороговский голос.

Надя обмерла...

— Полно, дурочка, — заговорил он опять ласково и весь дрожа от волнения, — полно, моя милая... Ах! (Он махнул рукой.) Что, ты от всех женихов решилась отказываться? Но на этот раз дело решенное, и ты будешь генеральшей, — произнес отец твердо и прошел к себе в кабинет, хлопнув крепко дверью.

— Свинья! — прошептал Череванин, и ему захотелось ударить кистью в лицо портрета, который он подновлял.

Мать ушла к отцу. Дети смотрели с сожалением на сестру свою.

— Надежда Игнатьевна, успокойтесь! — проговорил, неуклюже подходя к ней, Череванин.

— Ах, оставьте меня одну, — отвечала Надя.

Она заплакала.

«Значит, я тут ни при чем», — подумал Череванин, и, не простившись ни с кем, он убрался восвояси.

Надя подошла к окну и облокотилась на косяк. Слезы лились градом. Наконец пробил час, когда должен был решиться главный вопрос Надиной жизни. Пришел узаконенный муж и говорит: «Ты мне нравишься, ты хороша и умна, я буду жить с тобой...» Ей живо представился Подтяжин, Алексей Иваныч... Он был в летах Надинова отца. Лицо его было антипатично. Такие лица иногда встречаются только у отъявленных бюрократов. Все двадцать лет честной формалистики отпечатлелись на нем. Кожа на лице была аккуратно пригната и туго натянута, и потому все черты его раз навсегда резко определены; между бровей образовалась складка; кости над щеками, около глаз, выдались выпукло; от места, где ноздря к щеке прилипла, и до края губ, направо и налево, нарезаны две черты, тонких как нити; впалые щеки лежали на широких челюстях; крутой подбородок выдался вперед. Этот форменный облик освещался из-под нависших бровей бойкими, всевидящими глазами. Взглянув на него, вы сказали бы: ни одной подчистки или помарки, будто вымыл его, выбрил, посыпал пудрой, отер полотенцем и вставил в воротнички яркой белизны тот самый писец, который готовил ему бумаги. Представьте себе, это лицо иногда улыбалось, показывая желтые зубы и твердые десны. Росту он был среднего, с выпуклой грудью, прям и украшен орденами. Без всякой подлости, единственно точным исполнением обязанностей он достиг генеральского чина. Наде и в голову не приходило, чтобы она могла целовать это заслуженное лицо.

Когда дожил этот господин до сорока лет с лишком, он, сосчитав свои деньги, вообразил, что ему необходимо жениться. Он видел Надю несколько раз у Рогожниковых, где иногда играл в карты; Надя понравилась ему, и он сказал себе: «Ведь не откажется быть генеральшей?» Вернувшись домой, он написал своему секретарю письмо, с выставкою наверху его слова: «Конфиденциально», прося сделать от его лица предложение

Дорогову относительно его дочери. Дело велось документально и чиновнически, точно генерал заботился об определении Нади на службу. Он просил поставить на вид свои капиталы, степенный характер, генеральский чин и надежды на будущие повышения. Письмо было занумеровано и внесено в число исходящих дел в домашнюю книгу. Никто не заметил в нем никакой перемены: вчера был просто генерал, а сегодня вздумал да и сделался женихом, отдавши приказание — сократить по некоторым частям расходы. Он начал соображать, как бы устроиться попокойнее: «Пойдут дети, визг и плач начнется, а я человек деловой, мне нужно уединение и спокойствие. Всю хозяйственную часть отдам ей, уж это ее дело и будет...» Вот в это-то время он и улыбнулся.

«Что теперь делать? — думала Надя. — Нечего делать... не придумаешь ничего, и посоветоваться не с кем!» Надя чувствовала со дня на день, что около ее становилось душнее и душнее, все ближе подходили к ней неприятные образы, неотступнее предлагали свои требования, и каждый день, а теперь уж каждый час, неизбежнее становилась жизнь на заданную тему, по чужому плану, по отцовскому приказу. Давно уже хотелось Наде вон из родной семьи, хотелось жить по-своему, увидеть иной быт и иные лица, быть самостоятельной женщиной; но понятно ей было, что только жених мог увести ее из дому, лишь под руку с ним можно оставить свой терем; надо кого-нибудь поцеловать, обнять, и тогда признают ее взрослым человеком, с правом самой за себя отвечать. «Отчего же я всем женихам отказываю? Что будет после? Чем это все кончится? Надо же когда-нибудь выйти замуж?» И вот Надя с усилием, с болью в сердце представляет себя женою Подтяжина. Опять в ее воображении восстает всецело зачаделое, темнообразное лицо, она уже видит в этом лице что-то доброе и строго честное, неумолимо законное, и на сердце ее мучительно тяжело. «Твоя?» — спрашивает она с трепетом и не может оторвать взоров от образа жениха... Является расчет, что она станет делать, если придется *его* полюбить, — надо же будет, если выдадут замуж, нести обязанность брака. Во время этого расчета в душе ее пока не мелькнуло ничего нечистого, возможности вдовства или любви к кому-нибудь помимо мужа; она обдумывала, какой долг она примет на себя. Но вот,

когда она подумала, что Подтяжин может осчастливить и отца ее и всех родственников, что с замужеством ее открываются громадные карьеры, кресты, чины и награды, что она все это принесет своим и потому нечего и мечтать о возможности отказа жениху — ее принудят, — когда она это подумала, ей досадно стало, она с отвращением и негодованием оттолкнула от себя зачаделый лик, хотя в это же время ясно поняла, что ей почти невозможно избавиться от Подтяжина. Да, она вспомнила грозный отцовский голос, в котором слышалось непобедимое упорство, но она не хотела больше думать о женихе и на время насильно изгнала из головы мысли о нем; она закрывала глаза, ей хотелось хоть немного забыться. Являлись мысли, совсем не идущие к делу... Душно было.

На плечо Нади легла чья-то рука. Надя оглянулась; подле нее стояла мать и смотрела на нее с удивлением...

— Чего же ты ждешь еще? — сказала она.

Надя молчала.

— Отец сердится! — прибавила мать.

Надя закрыла лицо руками.

— Неужели ты и теперь откажешься?

— Маменька, — отвечала Надя, — я ничего не понимаю! Дайте одуматься... хоть три дня...

— И ты пойдешь замуж?

— Может быть; нет, я ничего не знаю...

— Отец уж слово дал...

— О боже мой! — проговорила Надя с тоской, так что матери жалко стало свое дитя...

— Наденька, — сказала она, — что это с тобой, какая ты странная!.. Таких, как ты, я не знаю. Ведь надо же когда-нибудь идти замуж. Или у тебя есть кто-нибудь другой на примете?

Надя опустила вниз глаза.

— Ты ждешь еще кого-нибудь, кто посватается?

— Нет! — отвечала Надя и заплакала.

— Никого?

— Никого, во всем свете никого! — И плач ее перешел в рыдание.

Вошел отец...

— Через три дня ты дашь мне ответ, — сказал он Наде.

— Хорошо, — отвечала она сквозь слезы.

— А теперь спать пора! — приказал отец.

Анна Андреевна благословила дочь свою; Игнат Васильич даже и не простился с ней.

Надя не знала, что она скажет отцу через три дня — «да» или «нет»; но она решилась теперь во что бы то ни стало поговорить с Молотовым откровенно и просить его совета. Она знала Молотова с десятилетнего возраста; он всегда был к ней добр, ласков, всему ее учил, никогда ни на какой вопрос не отказывался отвечать, — неужели же теперь он не наставит ее? Больше не на кого было надеяться. Она представила себе характер Молотова, сильно очерченный художником, и сказала: «Он все знает; он добр и на все ответит». Он так много жил, думал, страдал и теперь так спокоен, не изломан жизнью, счастлив и в то же время человек новый, свежий, мыслящий. Она понять не могла, как он разрешил тайну жизни, как он созрел и стал такой ясный для себя. Молотов должен показать ей дорогу в иную жизнь, более широкую, светлую и разумную, которую она только предчувствует, но не знает. Она расспросит его и разгадает эту, как казалось ей, необыкновенную личность, от самого узнает то, что не досказал ей Череванин. Надя заснула с полной верой в Молотова.

И все заснуло; не спит лишь Анна Андреевна. Второй час ночи, а она стоит с обнаженными плечами пред иконой божией матери и вот уже около часу молится усердно, со слезами. «Умири ее душу, — шепчет она, — вразуми ее, укажи путь истинный, раскрой ее очи». Она плачет и дает обеты. «Пресвятая дева, услышь страждущую мать, молящуюся за несчастную дочь свою». Лицо ее бледно и истомлено бессонною ночью. Сыплются слезы на обнаженную грудь матери, и усиленнее она шепчет свои обеты. — О господи, отпусти матери эту низкую, бесчестную молитву!..

Дорого стоили Наде три срочные дня. Молотов на другой вечер не был у них. Надя как-то уже менее надеялась на него и опять готова была замкнуться ото всех; решимость высказаться пропала, хотя она и ждала Молотова с нетерпением. Она несколько раз пыталась убедить себя, что должна идти за Подтяжина; наконец она стала равнодушна к тому вопросу, отлагая решение

его с часу на час. «Завтра», — думала она, отгоняя от себя назойливые мысли; но наступало и завтра, а она все не знала, что сказать: «да» или «нет»? На третий день, накануне рокового решения, она увиделась с Молотовым. Она долго не могла найти предлога — остаться с Молотовым наедине; но наконец она сказала, что надобно привести вещи свои в порядок, и пошла в отдельную маленькую комнату, где находился ее комод. Скоро Молотов и Надя были одни, на что никогда не обращали внимания, потому что Молотов был почти своим у Дороговых. Надя сдерживала себя, так что по лицу ее едва заметно было, что с ней случились важные события; но Молотов, знавший Надю хорошо, заметил в ней перемену.

Надя вынула из ящика большой платок и очень спокойно просила Молотова помочь ей сложить его. Когда это дело было сделано, она вынимала рубашки, платочки, воротнички, ночные шапочки, клубки ниток, шерсти и гаруса, целый арсенал швейных орудий, нити жемчуга, бисер, небольшой образок, корзинку с пасхальными фарфоровыми яйцами и много других вещей...

— У вас большое приданое, — сказал Молотов.

Надя вынула шкатулку, слегка встряхнула ее и сказала:

— Вот какая я богачка!

— Не секрет?

Надя открыла шкатулку.

— Золото? — спросил Молотов, когда Надя показала на ладони пять полуимпериалов...

— И серебро, — прибавила она, — а вот и старинная денежка.

— Зачем?

— Для разводу... Здесь все хорошо, — говорила Надя, выдвигая второй ящик. — Вам нравится эта материя?.. Ко мне идут темные цвета...

Надя совсем овладела собою и спокойно хозяйничала, точно душа ее была свободна от темного образа жениха.

— Вот архив мой и библиотека, — сказала она, отворяя нижний ящик.

— Это что связано ленточкой?

— Тетради институтские и книги.

— А книги какие?

Молотов успел прочитать: «Фауст».

Надя вспыхнула, быстро задвинула ящик и на минуту была в замешательстве.

— Подождите, Егор Иваныч, я сейчас принесу сюда шитье.

Надя ушла. Давно Надя, прочитав тургеневского «Фауста», хотела иметь гётевского, но она остерегалась почему-то спросить его у кого бы то ни было. Ей думалось, что отец назовет «Фауста» безнравственным и не позволит читать такую книгу, тем более что Дорогов с некоторого времени с неудовольствием начал смотреть на ее любовь к чтению, потому что он заметил, что дочь его чем более читала, тем становилась загадочнее. Она все сбиралась спросить «Фауста» у Молотова; но в последнее время одна подруга-родственница дала ей по секрету запретную вещь, потому что и подруга и Надя не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что они знакомы с «Фаустом». Дурного ничего нет, думали они, а все же лучше молчать. Так Надя развивалась, секретно, крадучись, никому не говоря о том. Она половину не поняла из Гёте, но все же он произвел на нее сильное впечатление. Высокое произведение поэта имело глубокое влияние на чистую душу девушки. Она с недоумением остановилась перед грациозным образом Маргариты и хотела разгадать его своим пытливым умом. Впрочем, она в последнее время как-то недоверчиво относилась к книгам; ей не нравились эти умные люди, которые описаны в них, — ей нравились женщины. Книги теперь наводили ее только на мысль, развивая пред нею картину жизни, значение которой она хотела постигнуть и понять по-своему. Надя вернулась с шитьем и уселась около небольшого рабочего столика, Молотов поместился около нее.

— Вы читали «Фауста»? — спросил он.

Надя ближе наклонилась к шитью.

— Отчего вы стесняетесь, Надежда Игнатьевна, говорить о «Фаусте»?

Молотов решился вызвать Надю на откровенность и потому спросил ее:

— Неужели вы стыдитесь, что узнали Маргариту?

— Нет, — ответила Надя тихо, — но что подумают обо мне?

— Кто?

— Папа, вы, — кто узнает, что я читала «Фауста»...

— Боже мой, да мало ли у нас женщин, которые читают Гёте и говорят о нем, их никто не осуждает.

— Это не у нас.

— Где же?

— Не знаю.

Надя несколько оправилась.

— Согласитесь, что смешно: дочь чиновника «Фауста» читает, да и волнуется еще к тому?

— Скучно это, Надежда Игнатьевна.

— Но что делать, если смешно выходит?

— Что ж тут смешного?

— В нашей жизни ничего нет гётевского: она очень проста.

— Жизнь Маргариты была еще проще...

— Зато...

— Зато вы не встретитесь и с Фаустом...

— Но, Егор Иваныч... все же это одни слова, слова!..

Настало молчание. Егор Иваныч смотрел в лицо Нади. Она чувствовала его взгляд; во всех чертах ее явилось стыдливое беспокойство, тревога и стеснение. Она не могла долго вынести такого состояния и хотела так или иначе выйти из него. В душе ее накопилось столько сомнений, что она страстно желала откровенного разговора: хотелось хоть раз поговорить без покровов и обиняков, так же свободно, как говорят мужчина с мужчиной или женщина с женщиной... Она решилась, подняла ресницы взглянула на Молотова прямо, почти спокойно; но вдруг ей стыдно, страшно стало, рука дрогнула, и в нервном движении переломила она иглу; на сердце пала тоска; краски быстро сменялись на лице, кровь приливала и отливала... Молотов видел всю эту игру жизни, и, по сочувствию к Наде, лицо его оживилось... Он ждал... Для многих женщин часто простой вопрос составляет подвиг; иного слова сказать нельзя, чтобы сейчас же не представились благочестивые лица «старших», на которых так и написано: «Она развращается!» Все теснит и сдерживает молодую душу, готовую ринуться в бездну жизни и переиспытать все, что есть хорошего на свете. Трудно было говорить Наде; но душевные вопросы давно зрели, потребность жить и любить была велика, а до сих пор она в уединении, среди живых и родных людей, одна-одинешенька, своим женским умом работала и зашла в такую глушь проти-

воречий и сомнений, что душно и тяжело стало среди самых близких людей, мертво позади и мертво впереди, и оставалось либо расспросить у всех, кого можно, что же делать осталось, где выход из ее терема и спасенье, либо броситься очертя голову в объятия назначенного свыше жениха и прильнуть розовыми устами к его зачаделому лику. Весь организм ее трепетал от дум, запертых в голове, от страху и тоски, переполнивших сердце. Но удивительно, когда Молотов сказал ей: «Надежда Игнатьевна, вы недоверчивы стали, скрываетесь от меня», она отвечала:

— Егор Иваныч, не будем говорить об этом...

— О чем? — спросил Молотов.

— О любви, о Маргарите, о поэтах...

— Но ведь вас все это мучит, я давно заметил. Легче будет, когда уясните себе эти вопросы...

— Их нельзя уяснить...

— Так хоть облегчите себя откровенным словом... Я же не враг ваш... меня вы не первый день знаете...

Надя взглянула на него доверчиво. Ей совестно стало за свою скрытность пред Егором Иванычем, который всегда был так к ней добр и ласков, тем более что она сама же ждала его с нетерпением, чтобы спросить у своего доброго давнишнего знакомца совета... «Неужели и с ним,— подумала она,— нельзя поговорить от души?»

— Скажите же, Егор Иваныч, — начала она, — когда вы у нас слышали разговор о любви? от кого? О любви только читают да поют в песнях и романсах. Никто и никогда о ней серьезно не говорит, — сколько бывает гостей, родственников, знакомых — никто не говорит. Только в институте подруги болтали, и, разумеется, вздор. Я однажды с маменькой разговорилась, так она выговор дала. Девицы мне знакомые, родственницы не верят любви, смеются над тем, кто говорит о ней. Вот и я молчу. Заставьте какую угодно девушку читать роман вслух, особенно, что ныне пишут, все эти интимные места будут выходить крайне неловко, она будет краснеть, стесняться... И мужчины всегда говорят для шутки, для красного словца, и потому, что предмет такой... дамский, что ли? Всегда разговор кончается пустяками и смехом, все это для того, чтобы над нами посмеяться, делать разные намеки и чтобы время весело провести; а кто и вдастся в психологические тонкости,

то слушаешь, слушаешь, как будто и дело говорят, а выйдут...

— Пустяки?

— Право, пустяки!.. Раз только и слышала, как один молодой человек, родственник, говорил серьезно, горячо, от души и, должно быть, что-нибудь умное, но так красноречиво, так высоко, что я ничего не поняла... Значит, и толковать нечего...

— Но вы разговор о любви не считаете же предосудительным?

— Нет, причина проще.

Надя прямо взглянула в глаза Молотову, и, к удивлению, взор ее был тверд и спокоен, хотя и пытлив; на губах появилась ласковая и насмешливая улыбка, которая так нравилась Егору Иванычу. Сразу пропали волнения.

— Какая же причина? — спросил Молотов.

— Я не хочу быть книжницею, синим чулком, а хочу, как и все, остаться простой женщиной. В книжках все любовь да любовь, а в жизни ее нет совсем. Где эти страсти, — говорила она, незаметно увлекаясь, — где эти клятвы, борьба, тайные свидания? Ничего этого нет на свете!

— Надежда Игнатьевна, грех вам это говорить...

— Эти свидания и невозможны в нашем обществе, потому что девицы везде и всегда на виду, каждую минуту на глазах отца или матери, дома, в гостях, в церкви. Ну как в нашем быту устроить свидания, долгие беседы, клятвы, которых и выполнить-то невозможно? Наконец, пусть все это устроить можно, так кого любить? Будто у девицы много знакомых? может она выбирать, искать человека, сходиться с людьми молодыми, водить с ними компанию? Вы, быть может, сто, двести мужчин знаете, а я? — помимо своих родственников, только четверых. И у других девиц то же. Как же тут быть?.. Из четверых непременно и полюбить кого-нибудь? Что ни говорите, а смешно выходит. Смешно ведь? Оттого и бывает так: узнает молодой или старый человек о девице — что она хороша, неглупа, воспитана, небедна, — знакомится с родителями; те то же самое узнают о нем — вот и свадьба!

— А дочь?

— Думаете, насильно отдают ее?.. Никогда!.. Спросят ее согласия... Иначе не бывает, я не видела, не знаю...

— Вы много не знаете, Надежда Игнатьевна...

— Женщины, — сказала Надя настойчиво и с убеждением, — женщины, которых я знаю, никогда не любили.

— Извините, Надежда Игнатьевна, это неправда.

— Да! — сказала она упорно, и в ее голосе не слышалось тени сомнения или фальши. — Да!.. я таких только и знаю и не верю, чтоб иные были!.. Они все вышли замуж очень просто, без любви, да так потом и жили, привыкли незаметно и через какой-нибудь месяц стали, как обыкновенно, муж и жена...

— И ничего с ними не случилось ни до замужества, ни после?

— Ничего, решительно ничего...

— Так это не женщины, — сказал Молотов с едва заметным отвращением, которое не ускользнуло от взоров Надежды Игнатьевны... Она окинула его своим взглядом, смерила с головы до ног и остановила прямо свои глаза на его глазах, отчего Егор Иваныч смутился и поневоле опустил взоры. Он был под полным влиянием Нади.

— Кто же они? — допрашивала Надя...

— Не знаю, — ответил Молотов и пожал плечами.

— Они женщины! — сказала Надя...

В голосе ее было что-то поддразнивающее, насмешливое и в то же время грустно-тяжелое...

— Эти женщины не жили никогда, а прозябали только, кормились да хозяйничали, — сказал Молотов.

— Ну да, — ответила Надя коротко и ясно, — они кормились и хозяйничали...

— И вы тоже? — со страхом спросил Молотов.

— Тоже! — И быстро она наклонила голову, едва успев скрыть слезу, которая неожиданно набежала на глаза.

Опять наступило молчание. Молотов стал ходить по комнате. Он ходил нахмурившись, весь в волнении и недоумевая, что для ней настал какой-то жизненный переворот, что ее мучат крепкие думы, и ума приложить он не мог, как бы помочь ей, а помочь хотелось. «Тоже», — повторял он в уме ее слово, — это слово бесило его. Он остановился подле Нади.

— Вы не по летам умны, — сказал он.

Надя подняла голову; слез на глазах не было — они были слегка влажны.

— Егор Иваныч, с вами можно говорить? — начала она.

— Говорите, говорите! — с заметной радостью отвечал Молотов.

— Вы умно говорите, рассуждаете. Мне не поэзии нужно, а простого понимания. Я знать хочу. Скажите, видели вы сами, как любят?

— Множество случаев знаю...

— Право?

Лицо Нади загорелось от любопытства...

— Скажите хоть один?

— У меня был приятель Негодящев; он женился по любви. Знаю, один учитель женился по любви. Знаю несколько расстроившихся браков оттого, что вмешалась любовь. В губернии я видел страшную драму в крестьянской семье — жена бросила мужа и потом убила его. Сколько случаев! они совсем не редки...

— Неужели же все любят? неужели это неизбежно? — говорила Надя в раздумье.

— Непременно все. Правда, большая часть пошло любит — сойдутся, прогорят быстро и разойдутся; но и во всем этом есть что-то прекрасное, в самой пошлости видна особенная, необыденная, редкостная жизнь. И вы говорите, что не видели любви, — что ж тут удивительного? Поэзию жизни, любовь не так легко заметить, ее всем напоказ не выставляют, ее нужно откапывать в глубине повседневности, отыскивать, как клад, который ближний от ближнего прячет глубоко и далеко. Для всех она бывает: одними она отжита, для других не наступила, а иные любят, да не понимают, что с ними делается...

По лицу Нади пробежала какая-то новая, никогда души ее не освещавшая мысль. Недоумение отразилось во всех чертах ее.

— Скажите, — продолжал Егор Иваныч, — каково положение женщины, когда она, будучи замужем, полюбит другого?.. Вся жизнь поломана... отчего?.. От опрометчивого брака...

Надя начинала поддаваться влиянию Молотова. Она привыкла ему верить, ей так хотелось верить; но это расположение мгновенно сменилось другим; быстро пробежали в ее голове мысли: «Я невеста», «Мне двадцать второй год», «Корму, корму», «Не век жить у

родителей», «Завтра ответный день». Сухо было ее выражение лица, строго, несимпатично.

— Не понимаю я вас, — сказала она, — и книги я разлюбила. Читаешь — не оторваться: такая прекрасная жизнь, горячие речи, страстные свидания — существование полное, и, боже мой, подумаешь, к чему такие книги пишутся! И точно ведь живые люди там, иногда голоса их слышишь, понимаешь, отчего они плачут и радуются, а все же не верится, никто, как там, не живет, — это обман художественный!

— Может быть, и есть любовь на свете, — продолжала Надя, немного подумав, — да только для избранных. Согласитесь, Егор Иваныч, что там, в книгах, люди живут не по-нашему, там не те обычаи, не те убеждения; большею частию живут без труда, без заботы о насущном хлебе. Там всё помещики — и герой-помещик и поэт-помещик. У них не те стремления, не те приличия, обстановка совсем не та. Страдают и веселятся, верят и не верят не по-нашему. У нас нет дуэлей, девицы не бывают на балах или в собраниях, мужчины не хотят преобразовать мир и от неудач в этом деле не страдают. У нас и любви нет.

— Так у нас гораздо хуже!

— Но как же я буду жить чужой, не свойственной мне жизнью? Надобно читать, да и помнить себя. Отчего не полюбоваться на чужую жизнь? Но как переложить ее на наши нравы? Это невозможно.

— И не надо. Неужели вы думаете жить по книге?

— О чем же и толковать? — перебила Надя. — Еще вот что я скажу. Барина описывают с заметной к нему любовью, хотя бы он был и дрянной человек; и воспитание и обстоятельства разные, все поставлено на вид; притом барин всегда на первом плане, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходят негодными людьми, безобразными личностями, играют унизительную роль, и, смешно, часто так рассказано дело, что они и виноваты в том, что барин худ или страдает. Пусть безобразна среда, в которой родилась я, все же она не совсем мертвая... Так или иначе, а надо отыскать добрую сторону в *своих* людях. Без того жить нельзя!.. В монастырь, что ли, идти?

— Много горькой правды в ваших словах, но еще более ошибок, — отвечал Молотов. — Как это странно, —

рассуждал он вслух сам с собою, — все это давно пережито мною и теперь не составляет вопроса... Жизнь на все дает ответы!

— Хороши ответы! — сказала Надя с горечью...

Молотов задумался. Надя своими расспросами шевельнула в его душе много старого, выжитого и давно улегшегося спокойно в памяти, как в архиве.

Он хотел продолжать речь. Но Надя решительно овладела разговором, не давая Молотову сказать слова. Она точно торопилась высказать все, что накипело в ее сердце и было выработано в уединении, под влиянием фаталистического быта. Она сегодня восставала против всего, что говорил ей Молотов, против всех его понятий и взглядов. Егор Иваныч это чувствовал. Зрел разрыв. Первый раз он слышал от Нади многие идеи, оригинальные, самостоятельные, не под его влиянием развившиеся. Судьба круто поворачивала Надину жизнь по противоположному направлению. Ей хотелось слышать, от души, страстно хотелось, опровержений ясных, как день божий; но, увлекаясь, она не давала говорить Егору Иванычу.

— Хороши ответы! — повторила она. — Помню, я читала в одной книге, как жених говорит невесте: «Наша любовь перейдет в радости и печали, в смех и слезы, в молчанье и беседы наши. Она все осветит, всему даст смысл и значение. Она радостна и трепетна теперь, прогорит божественным огнем в свадебные дни, как лампада пред иконой, будет теплиться в глубокой старости. Она всемогуща. Кто запретит нам любить? отец? закон?.. Всякая власть бессильна пред любовью, всякая власть преступна». Пусть так, — прибавила Надя, — да запрещать-то нечего. Из четверых не выберешь...

— Если же рано или поздно придет пятый?

— Если же никогда он не придет?.. и будешь разборчивой невестой — тоже невесело...

— А если придет во время замужества?

— Что ж делать, когда это неизбежно?

— Как же выходить замуж, когда можно полюбить другого?

— Никто этого не знает. Право, как вы странно рассуждаете: в браке видите преднамеренную недобросовестность, расчет на имя и деньги мужа и на любовь

кого-то другого, какого-то пятого. А бывает совсем не так: соглашаются два порядочных человека на семейную жизнь, романической любви вовсе не предполагается, ее нет и в свадебном обыске — вот и все! Если же и случится что после, — никто не виноват!.. Пускай!

— Господи, фатализм какой!

— Что же делать, если это неизбежно?

— Удивительная покорность!

— Не покорность, а неисходность.

— Нелепо же после этого положение женщины!

— Положение и браните; может быть, легче будет, а нас-то за что?

Молотов не знал, что отвечать.

— Все примиряются с действительностию, — сказала Надя, — как бы она ни была тяжела, даже любят ее, потому что жить всякому хочется...

Молотова задело за живое, так что он вспыхнул, точно порох, и опять поднялся со стула...

— Примирение? — сказал он раздражительно. — О примирении заговорили?.. Лучшего и выдумать нельзя?.. Нет, Надежда Игнатьевна, можно жить нашей так называемой действительностью и не знать ее, ото всех замкнуться и никого не допустить до души своей. Можно иметь понятия, которых никто не имеет, и не заботиться, что пошлая, давящая действительность не признает их. Можно весь век ни одному человеку на свете не сказать, чем вы живете, и кончить жизнь так. Я в своем кабинете царь себе. На голову и сердце нет контроля...

Надя слышала в этих словах того человека, каким представлялся Молотов в характеристике Череванина; но она с каждой минутой становилась упорнее. В ее напряженном воображении стояли грядущий жених и родительские лица. Вопрос судьбы ее распался надвое: либо в будущем — дева, либо завтра — невеста. Она с насмешкой отвечала:

— В голове да сердце и останется.

— А! — сказал Молотов с досадой и отвернулся в сторону.

Надю радовало, что она сердит Молотова. Хотелось Наде взбесить его, чтобы хоть разойтись навсегда, ей

теперь все одно! «Ничего не может сказать! — думала она. — Я надеялась на него, а он на жизнь ссылается — жди от ней ответов!»

— Переломать, наконец, можно действительность, — сказал Молотов.

— Попробуйте, — отвечали ему, — я говорила, что девица имеет так мало знакомых, что и выбирать не из кого, любить некого. Как тут ломать действительность? Уйти из дому, ходить по улице да и выбирать? Ломать-то нечего... «Кто запретит нам? отец? закон?» И запрещать нечего...

— Ждать надо пятого.

— До седых волос?

Молотов терялся.

— Высоко ваше учение, но к делу нейдет, — говорила Надя, поддразнивая, ровно, спокойно и холодно, хотя к горлу ее слезы подступали. — Внутренняя жизнь у всех может быть, но какая? Чтение книг, разговор, мечта? Неутешительно и бесплодно!

— Надежда Игнатьевна, стыдно той женщине, которая никогда не любила.

— Высоко ваше учение, — ответила она с расстановкою, — но к делу нейдет.

Она заметила, что такой тон раздражает Молотова. Она ждала опровержений и теперь думала: «Ничего он не умеет сказать, и я же не скажу ему ни одного откровенного слова».

— Но если, Надежда Игнатьевна, вы полюбили бы кого-нибудь?

— Ну, и полюбила бы; а не полюбила, так и не полюбила. Не понимаю, о чем тут толковать?

Иногда двое договорятся до того, что дело становится как день ясно и разговор продолжать незачем. Что может быть проще, определеннее и неотразимее такого ответа: «Ну, полюбила бы, так и полюбила бы»?.. О чем и зачем после этого говорить? Надя хотела оставить работу и идти в другую комнату, но помимо ее воли голова наклонилась над шитьем, на глаза выступили слезы, и какая-то странная мысль глубоко внедрялась в ее отживающую душу. Она хоронила что-то, погребала. «Не у кого во всем свете спросить, никто не выручит, отец и мать не скажут, вот и Егор Иваныч

ничего не знает. Я точно запертая ото всех людей, обреченная какая-то!» Слеза упала на шитье. «Это я свой девичник справляю, — думала она, — ну так что же? весело будет... денег много... комнаты большие... отцу и матери почет... родным всем помога... генеральшей буду». Слеза упала на шитье. Ясно, как человеку расстроенному привидение, представился ей узаконенный муж, солидный, степенный, точно разлинованный, с архивным нумером во лбу, с генеральской звездой над сердцем, а ей не он нужен... Кто же? Еще слеза упала на шитье...

— Надя!

Она не узнала голоса.

— Добрая моя!

Она подняла влажные глаза...

— Жизнь на все дает ответы.

Это говорил Молотов.

Надя закрыла лицо руками и заплакала...

— Зачем ты такая неразгаданная?.. О чем же ты плачешь? Неужели я ошибся?.. Ты любишь меня?

Надя что-то тихо проговорила, но Молотов расслушал ее. Он, стоя сзади, поцеловал ее в голову, потом отвел ее руки от лица и поцеловал в щеку. Слезы блестели на ее длинных ресницах. В одно мгновение Надя так похорошела и просияла, что Молотов не подумал повторить поцелуй, а просто загляделся.

— Я люблю тебя... давно... — прошептала она и прижалась крепко к наклоненному лицу Молотова.

Тогда он поцеловал ее снова. Надя засмеялась сквозь неостывшие слезы детски-радостным, трепетным, тихим смехом.

— Не надо ждать до седых волос, — проговорила она.

— Добрая моя...

Они сидели долго молча...

— Увидишь ты, Надя, что можно жить так, как хочется, не спрашивая ни у кого позволения, никому отчета не давая. Можно так жить. Я хочу. Вот она, жизнь, и дает ответы.

— Да, — прошептала Надя...

— Я на днях буду свататься...

— Завтра, завтра! — заговорила Надя стремитель-



но. — Скажи им, что ты жених мой, что я поцеловала тебя — вот так! — сказала она, обнимая его...

— Завтра! — повторила она, оторвалась от Молотова, вышла в другую комнату и скрылась.

Молотов отправился домой; но он не усидел дома, несмотря на позднее время, и часу во втором вышел на улицу. Глубокая осень. Все спало; лишь звонко где-то щелкает копытами верховой конь да с медленным визгом, проникающим в душу, запирается железная дверь. Он вышел на Невский. На башню Думы луна наложила углами, квадратами и длинными полосами белое серебро. Небо легло над домами широкой дорогой; оно густо-синее, чуть не черное; и на этой дороге горит и смеркается много звезд... Спит городовой; спят дворники; плетется какая-то женщина, должно быть запоздалая крыса Невского проспекта, — бог с ней, она завтра, быть может, насидится голодная. Туча выдвину-

лась из-за Адмиралтейства и медленно, тяжело плывет ко дворцу. Часовой вскрикнул далеко... Хороша ночь пред рассветом и в позднюю осень... Молотов гулял долго, пока не умаялся.

Надя весь день дожидала вечера, когда должен был прийти Молотов и просить ее руки. Она знала, что такой оборот дела будет неприятен родителям, но была уверена, что они не станут противоречить ей.

Душа ее была переполнена, но внутренняя жизнь мало проявлялась наружу; у ней не явилось даже желания разделить с кем-нибудь свою радость, тем более что не с кем было и делить ее. Мелкие, едва заметные признаки обнаруживали, что это невеста, и притом невеста, не спросясь отца и матери. Игра красок на лице, тайная слеза, запрещенный и потому сдержанный вздох, особенно теплая молитва, никогда не посещавшие душу мысли и образы — все это было трудно заметить в ней; для этого надо было знать наперед, что с ней случилось важное событие, и тогда только, припоминая лицо Нади в другие дни и теперь, можно было заметить, что в нем отразилась новая жизнь. В ней ходили разнообразные мысли, и душу ее освещали радости и заботы грядущих дней. Она уверяла себя, что может опереться на крепкую руку, которую предлагал ей Молотов. Но странно, в то же время, когда она уверяла себя в том, — она прислушивалась к глубине своего сердца, где шевелилось что-то смутное и тяжелое, не созревшее еще в положительный вопрос. Она была счастливее, нежели вчера, но все около нее молчало, и в иные минуты она чувствовала холод в душе; не пропала ее привычка рассчитывать и соображать даже в эти торжественные часы жизни. Надя упрекала себя, что она не может отдаться вполне, без всяких дум, новому счастью. «Не старого же жениха мне жалко стало, — думает она, — я люблю Молотова; вот вчера, вот пять минут назад я была так счастлива, а теперь у меня холод на душе». Надя не знала, что этот холод неизбежен, когда человек решается на свободный, самостоятельный шаг: он мгновенно падает на душу при мысли, что делаешь новое, непривычное для окружающей среды дело, что люди, дивясь, посмотрят на тебя. Одиночеством порождается этот холод, а Надя не

сказала ни полслова ни отцу, ни матери и ждала с нетерпением, скоро ли придет Молотов сказать за нее свое слово родным ее... Но вот ударило восемь, а нет ни отца, ни жениха ее... Теперь в ней было заметное волнение... Ей стало страшно... Прошло долгих полчаса, и вдруг раздался благодатный звонок. Она затрепетала от радости, вспыхнула и замерла в ожидании, чутко прислушиваясь к дальним комнатам из своего уединенного уголка. Чьи-то шаги раздались в зале, кто-то вошел в гостиную. «Это он!» — прошептала Надя, и так хорошо себя чувствовала, что на минуту не усумнилась в возможности получить согласие родителей. Разговор чей-то едва пробивался из гостиной... вот будто смех... «Верно, поздравляют?» — думает она; и трепещет ее сердце от события, которое хочет сейчас совершиться. Она точно вновь нарождается на свет, шепчет полуоткрытыми губами: «Скоро ли?», смотрит на икону божией матери и, вся одушевленная, сияет дивной красотой. «Боже мой, как долго они говорят!» Но что это за крик? кто так неистово топает ногами? Смертельная бледность разлилась по лицу девушки, и на крик из гостиной она ответила своим легким криком.

— Надежда! — раздалось по всем комнатам.

Дик был голос. Надя слышала удар ногой об пол.

Надя поднялась со страхом со стула и пошла на голос. Глаза ее неясны, и походка нетверда; физическая немощь одолевала ее, хотя душа была напряжена неестественно. На щеках вспыхивали и пропадали розовые пятна. Пройдя темный зал, она в полумраке увидела подле окна группу детей, своих маленьких братьев и сестер, глаза которых были устремлены на нее. Надя остановилась на минуту перед гостиной, провела рукой по лбу...

— Надежда! — раздалось еще громче.

Надя расслушала слова матери: «Ты испугаешь маленького». И действительно, в ту же минуту заплакал ее меньшой брат, спавший в детской, в колыбели...

Надя с особенной силой распахнула двери и явилась пред отцом. Игнат Васильич был один; мать укачивала свое дитя в соседней комнате.

— Подойди ко мне, — сказал Дорогов.

Надя, бледная вся, стояла с опущенной вниз головой.

— Иди ко мне! — повторил отец.



Она сделала шаг вперед.

Отец устремил на нее неподвижный, злобный взор. Он молчал несколько минут...

— Говори что-нибудь! — при этом Игнат Васильич топнул ногой.

Надя не знала, что ей делать. Но вот она оправилась немного, на лицо выступила краска; быстро в голове ее пробежало: «Молотову нельзя было прийти... отец спрашивает ответа... сегодня срок... я сама объявлю ему».

— Говори же!

— Папа, — начала она тихо.

— Негодница! Развратница! — перебил ее резко отец.

Надя вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, она широко раскрыла глаза и с изумлением посмотрела на отца.

— За что? — спросила она с негодованием.

— Молчать! — крикнул отец.

Надя опять опустила голову. Она ничего не поняла. Игнат Васильич подошел к своей дочери, положил на

плеча ее свои руки и остановил на лице ее неподвижный свой взор.

— Надя, — сказал он, — гляди мне прямо в глаза.

Она не шевельнулась.

— Ну!

Надя с страшным усилием подняла глаза и посмотрела на отца. Дорогов спросил ее шепотом:

— Вы целовались?

Надя не поняла.

— Целовались? — повторил он громко.

— С кем? — спросила она.

— Сама знаешь с кем!

Но ответа не было. Страх и обида, что ее держат за плечи, сдавили ей горло.

— Молотова знаешь? — спросил грозно отец и потряс ее за плеча так, что Наде больно стало.

Опять повторился плач ребенка в детской, и слышалось матернее убаюкивание.

— Так целовались?

— Да! — отвечала Надя раздирающим душу голосом.

— Негодница!..

Игнат Васильич надавил плечи ее руками так тяжело, что Надя наклонилась к его лицу и ощущала его злое, прерывистое дыхание; потом он оттолкнул ее от себя. Надя опустилась на стул, закрывши лицо руками. Она была почти в беспамятстве.

— Боже мой! — проговорил Дорогов и отошел к окну.

Настало тяжелое молчание... Мать не замолвила за Надю ни одного слова, не выбежала из детской и не схватила за руки своего мужа. Ее застарелая нравственность была оскорблена тем, что дочь ее позволила целовать себя до брака. По ее понятию, поцелуй освящался церковью и потом совершался только в опочивальне. Она дивилась и Молотову, которого считала нравственным человеком, — а он вдруг оказался соблазнителем... Гордость матери страдала: она поражена была *падением* дочери. Она с ужасом думала, что в ее мирной семье совершился скандал. Откуда отец узнал об отношениях Молотова и Нади, он не говорил. Он только сообщил, что Надя — «развратница», и несчастная дочь созналась, что позволила целовать себя до брака. «Боже мой, — подумала Анна Андреевна, — он не первый год знаком с нами, кто их знает, что между ними было?» Она

вспомнила, что Егор Иваныч часто оставался с Надей наедине, иногда посещал их дом, когда Надя была одна, а они уходили куда-нибудь... Страшные мысли взволновали ее сердце, она заплакала и облила горячими слезами дитя в колыбели...

Игнат Васильич никогда не уважал тех женщин, которых сам, бывало, целовал до брака и в начале женатой жизни. Он считал себя вправе пользоваться слабостями этих женщин, но в глубине души презирал их, называл потерянными, вел себя небрежно, оскорбительно, насмехался в глаза. Бывало, девушка обнимает его, называет ласковыми именами, радостно болтает какой-нибудь вздор, а он смотрит острым взглядом, и едва заметная улыбка на его губах отражает презрение. Женщины, истинно любившие Дорогова (были такие), находили в таком отношении к ним признак силы, могучего характера и высшей натуры, а в нем между тем не было даже и дикого «печоринства», которое выродилось бы в лице его в канцелярский тип, — он действовал просто по принципу благочиния и условной порядочности. Этим и объясняется цинический элемент в его любви к женщинам. «Настоящая женщина, — говорил он, — бережет себя; она не даст поцелуя до свадьбы». Поэтому не было никакого противоречия в том, что Дорогов чувствовал глубокое уважение к Анне Андреевне за ее моральные достоинства. До замужества, в продолжение месяца его жениховых посещений, она не позволила ему прикоснуться губами даже к руке своей. Это-то и увлекло его, это же самое отчасти и покорило его впоследствии женской власти. Когда же Дорогов привык к оседлой жизни и полюбил семейственность, он стал считать себя недосягаемо нравственным господином, потому что сознал в себе не только принцип свой, но и дело, основанное на принципе. Он всегда желал дать этому принципу широкое развитие в своей семье. Дорогов был привязан к своей дочери, страстно любил ее. Представьте же, что о людях он судил по себе, и вот он уверился, что нашелся мужчина, который, как он, бывало, на своих любовниц, глядел на его дочь нагло, близко наклонял к ее лицу свое лицо, рассматривал с любопытством знатока ее глаза, уши, губы, крутил ее ухо в своих пальцах, целовал ее гастрономически, держал на шее свою руку, пока она не нагреется, и во все это время глядел

на нее с едва заметной улыбкой, с оттенком презрения, — представьте себе все это, и вы поймете, что он нравственно страдал за свою дочь, он защитить ее хотел, покрыть своей отеческой любовью. Отцы часто вспоминают свою юность, когда дочери любят без их позволения и согласия. Ко всему этому присоединялась страшная досада на то, что разрушались его планы, и даже он трепетал за свою будущность, если состоится отказ, потому что жениху-генералу стоит написать другому генералу, у которого он служит, и Дорогова выгонят вон из службы. Он не знал, что делать: оскорблена была в нем нравственность семьянина, была опасность для его и служебной карьеры, — и до этого доводит его дочь! Он поднялся со стула и подошел к Наде...

— Надя, — сказал он без крику и злости, но холодно и твердо, — ты выбросишь из головы Молотова. Я за тебя гибнуть не стану и не потерплю безнравственности в своем доме. Молотова нога здесь не будет! Ты с ним никогда не увидишься, — это мое святое слово, ненарушимое... Мать, — обратился он к дверям той комнаты, где она была, — жена, уговори свою дочь — это твое дело; она губит и себя и нас... Надя, — обратился он опять к дочери, — я у тебя спрошу ответа на днях, будь готова...

Он пошел в свой кабинет, но в его старом сердце шевельнулась жалость к своей любимой дочери; он остановился подле нее и сказал сколько можно ласково:

— Надя, образумься...

Она сидела, закрыв лицо руками, и молчала, как убитая.

— Одумайся!

С этим словом Дорогов оставил гостиную.

Долго сидела Надя, убитая горем, оскорбленная, и ничего она не понимала. «Что же Молотов? — без смыслу повторялось в ее голове. — Откуда узнал отец?.. За что он меня назвал раз...» Этого слова она не могла договорить. И опять эти вопросы бессмысленно чередовались в ее голове. Надя потеряла способность рассуждать... Она открыла лицо. Оно было измучено, бледно; после целого дня ожиданий и радостных надежд в нем выражалось тупое страдание. Ей хотелось освежиться; она вышла и умылась холодной водой, потом в темном зале открыла форточку и облокотилась на косяк окна.

Дети все еще были в зале и с любопытством, смешанным со страхом, смотрели на свою сестру... Они тоже обсуживали своим невинным умишком семейное дело. Федя подслушивал разговор у дверей и рассказал другим, что Надя целовалась и за то ее папа сильно бранил, так, как их никого не бранил... Между детьми слышался шепот.

— Отчего целоваться нельзя? — спросил самый маленький, Федя, — вот мы же целуемся...

— То совсем другое, — отвечала Катя...

— Что же?

— Так женихи да невесты целуются, — сказала Маша...

— А это худо?

— Худо...

— А что это «развратная»? — спрашивал Федя.

— Об этом нельзя говорить, — отвечали ему...

— Отчего?

— Неприлично...

— Будешь большой, узнаешь, — заметил гимназист, двенадцати лет мальчик.

— Папа у нас злой, — сказал Федя...

— Ах, какой ты! — заметили ему сестры.

— Что же?

— Так говорить не надо.

— Да, он злой!

— Надя плачет, — проговорила Маша...

— Пойдемте к ней! — звал Федя...

— Ей не до нас, — отвечали дети с удивительным тактом.

Дети, мальчики и девочки, все, кроме Феди, понимали, в чем дело, знали, что такое «развратная», но их детскому сердцу жалко было своей любимой сестры. Они готовы были броситься к ней на шею, утешать ее, плакать с ней; мальчики были угрюмы, у девочек слезы на глазах...

— Пойдемте! — звал Федя.

— Не надо...

Но Федя уже был подле сестры.

— Надя, не плачь! — сказал он...

Надя заметила его...

— Ты не развратная... папа сам развратный... Я не люблю его...

— Ах, Федя, что ты говоришь? — отвечала Надя. — Отца надо любить. Папу велел бог любить...

Мальчик присмирел... Надя заметила, что дети смотрят на нее пытливо; ей неловко стало, она не хотела оставаться в зале; идти в свою комнату надо мимо отцова кабинета, а там дверь отворена; в гостиную, — но там мать. Так Надя и места не находила, где бы приютиться ей, одуматься и успокоиться... «Может быть, маменька в детской», — подумала она и пошла в гостиную... Дети остались шептаться в зале...

В гостиной сидела мать за круглым семейным столом. В руках ее была работа; но дело, очевидно, не спорилось. Делать нечего, Надя села к тому же столу. Мать слышала, что она пришла, но не поднимала глаз...

— Надя, — сказала она, смотря на шитье. Руки ее дрожали. Дорогов ничего ей не объяснил, откуда он узнал и что было между Надей и Молотовым. Она слышала, что и дети говорили: «Надя развратная»... Страшные мысли теснились в ее голове...

— Что, мама? — отвечала Надя, тоже не поднимая глаз.

— Что у вас было?

— Я сказала папá...

— Скажи ты мне, Надя, все, все...

— Я не понимаю ничего, мама...

— Вы только целовались?

Краска бросилась в лицо Нади. Оскорбление за оскорблением сегодня сыпались на нее.

— Боже мой, ты не отвечаешь? — сказала, бледнея, мать.

— Вы оскорбляете меня, — ответила дочь с горечью...

— О боже мой! — проговорила она с радостным раскаянием...

За эти дни решительно все измучились в семье Дороговых. Настало тяжелое время. Мать, а особенно отец — ковали деньги и повышения на дочери. Им выпал отличный случай продать выгодно благоприобретенный, доморощенный товар, но товар был живой и не хотел идти в продажу. Теперь мать и дочь сидели в одной комнате. Надя, наклонив свою умную головку, думала, гадала. Бледно и печально лицо ее. Опять в голове ее чередова-

лись вопросы: «Откуда узнал отец? что же Егор Иваныч? за что меня назвали негодною?» Она вникала, ловила не дающуюся сознанию мысль, и в то же время на лице ее было написано отталкивающее упорство. Мать подняла глаза. Взгляд ее остановился на дочери. Она долго вглядывалась в черты Нади. У ней сердце сжалось и заныло; слезы показались на глазах; невыносимо жалко стало дитя свое... Вдруг взгляды их встретились... Надя заметила любящий, умоляющий взор своей матери и слезу ее, упавшую на шитье. Она вспыхнула, взволновалась, кровь бросилась ей в лицо; хотела она сдержаться, но не могла, закрылась руками и зарыдала. Мать тоже рыдала. Плакали они, не говоря слова друг другу. Ни одного нежного звука не произнесено, ни одной ласки, ни тени примирения. Как страшно плачут иные — точно у них нож в сердце поворачивается, а они, сдерживая боль, рыдают мучительно-ровным рыданием. Мать первая успокоилась. Так они и разошлись, не сказавши слова друг другу... И это было последнее событие того дня.

Наступила ночь. Все спали. Но маленькому любимому брату Нади Феде, постель которого находилась в ее же комнате, не спалось. И вот он тайком, в одной рубашонке, на босую ногу, встал с теплой постели, прошел мимо матери и подкрался к сестре. Плеча и грудь ее были обнажены, уста полуоткрыты, она жарко дышала, одеяло шелковое было сброшено до половины. Он со смущением заметил, что в ее ресницах дрожат слезы; локон, перевитый лентою, лег на щеку и был влажен, вся она, прекрасная, облита лунным светом. «Какая же она развратная?» — прошептал братишка и заботливой детской рукой закрыл обнаженную грудь сестры. Потом он тихо наклонился и поцеловал сестру в щеку, робко и осторожно. Точно от этого поцелуя, лицо ее просветлело, слеза замерла в дрожащих ресницах, и, вдруг склонив голову на влажный локон, она вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива, покоилась Надя, облитая лунным светом, легшим золотыми полосами по шелковому одеялу. Долго смотрел на нее брат. Но вот он отошел от постели, стал голыми коленями на холодный пол и прошептал молитву, в которой слова и чувства были ребячьи. Недолго он молился, но хорошо, лучше

своей матери. На другой день мальчику очень хотелось сказать сестре, как он молился за нее, но стыдно было, неловко. Вырастет большой, расскажет. Эта молитва будет дорога ему и тогда, когда он утратит самую веру. Бывают такие в детстве молитвы.

На другой день с Надей почти никто слова не сказал. Разрушалось семейное счастье, мирное существование Дороговых. Дети присмирели, и редко-редко, точно запрещенный, раздавался их смех и говор по комнатам. Вот уже два вечера отца нет дома, он в гостях. Надя ни разу не взглянула на него по-прежнему, прямо и открыто. Мать молчит. Надя большую часть времени проводит уединенно, в своей комнате. Много перебрала она предположений — откуда отец узнал об отношениях ее к Молотову, и ни одно не объясняло дело удовлетворительно... Ей было только ясно, что Егор Иваныч не придет к ней, потому что для него заперты двери дома. Крепко было слово отцовское: «Ты с ним никогда не увидишься»... Что же тут делать? И борьбы даже не предстоит, а остается лишь выносить гнет, тяжело налегший на молодую жизнь. Казалось, никаких событий больше не случится, а день за днем будет тянуться давящая монотонная жизнь; родители будут ждать, скоро ли все это опротивеет Наде и она с отчаяния, не находя исхода, бросится в объятия генерала. «Написать к нему? — мелькнуло в голове Нади... — Но через кого передать? через кухарку?» Так тяжело было оставаться в неизвестности, что Надя решилась на этот шаг...

«Егор Иваныч, милый мой! — писала Надя. — Я не понимаю, что это со мной случилось. Отчего ты не ходишь к нам? Откуда узнал папа, что я люблю тебя? О боже мой, да, может быть, ты ничего не знаешь! Меня хотят выдать за Подтяжина, генерала, а я тебя, одного тебя люблю. Мне сказали, что я с тобой никогда не увижусь. Никому не верь, кто скажет, что я отказалась от тебя. Папа очень сердит на нас. Мне тяжело. Дай какую-нибудь весточку, объясни, как это случилось, что делать надо, чего ждать? Я люблю тебя, ты помни это, добрый мой! Твоя Надя».

Надя дала кухарке рубль, и та согласилась отнести письмо к Егору Иванычу. Часа через два кухарка ска-

зала, что отнесла записку, но что Молотова дома не застала и записку отдадут ему вечером... Надя ждет вечера с нетерпением. Наступил и вечер, но вести никакой не было.

— Боже мой! — прошептала она в отчаянии, когда пробило восемь часов. — Что же это?.. Одна!.. заперта от всех... живого слова сказать не с кем!

Неожиданно на помощь явился Михаил Михайлыч Череванин. Надя насилу выждала, скоро ли он сядет за работу... Михаил Михайлыч установил на станке портрет, осветил его, но за работу не сел, а огляделся около, усмехнулся своей оригинальной улыбкой и пошел в Надину комнату...

— Вам Егор Иваныч кланяется, — сказал он Наде.

— Что он? — спросила тревожно Надя...

— Ничего... что ему делается!.. А вы-то зачем, Надежда Игнатьевна, похудели?.. Стоило ли?

— Ах, Михаил Михайлыч, что Молотов?..

— Да не волнуйтесь. Все пустяки, Надежда Игнатьевна...

— Как это все случилось?

— Очень просто. Послушайте, Егор Иваныч просит вас доверяться мне во всем... Я вас не выдам... Верите?

— Верю, верю...

— Так вы и объясните, что с вами было. Я передам Молотову; а вам расскажу, что было с ним.

Надя согласилась и рассказала Череванину. Она рада была отвести душу.

— Ваш папаша — порядочный гусь: и не сказал ничего... А ведь весь секрет в том, что он виделся с Егором Иванычем.

— Когда?

— В тот же самый день. Егор Иваныч встретил вашего папашу, пригласил к себе и сделал декларацию... Игнат Васильич объявил, что есть у вас жених и что вы дали свое согласие...

— Что же Егор Иваныч?

— Разумеется, не поверил... Он просил позволения повидаться с вами; папа отвечал, что нога Молотова не будет в его квартире. Егор Иваныч два раза стучался у ваших дверей, и каждый раз ему отвечали: «Принимать не велено».

— Что же делать теперь?

— Ничего не надо делать. Эх, — сказал Череванин, махнув рукой и впадая в свой тон, — и это браки устраиваются!.. Во всем ложь, пустые слова, веселенькие пейзажики! Ведь в браке необходимо взаимное согласие и любовь. А что же мы видим в огромнейшем большинстве тех людей, которые называются «муж» или «жена»? Над ними состоялось одно лишь благословение священника, а любви и в помине нет; одних родители принудили, других соблазнили деньги... третьи женились для хозяйства, четвертые — сдуру. И это брак!

— О чем вы мне говорите?.. Разве я хочу идти за Подтяжина? Что мне делать, что делать?

— Если вы убеждены, что подло идти за Подтяжина, то и не идите за него... Вас папаша назвал безнравственною, так ли? А сам на какое дело вас толкает? Так вы и не обращайте на него внимания, не слушайте своих родителей... Вам-то что за дело? Сидите себе спокойно в комнате и ждите, что будет... Что они с вами сделают? Кормить, что ли, не будут? Страшного ничего не случится; выйдет, как и во всем, пошлость, над которой вы сами посмеетесь. Какая тут трагедия? Событий-то даже мало будет. В трагедиях участвуют боги, цари и герои, а вы — чиновник и чиновница; потому и роман ваш будет мирный, без классических принадлежностей, без яду, бешеной борьбы, проклятий и дуэлей... Ваше положение уже таково, что ничего грандиозного не должно случиться... В монастырь вы не пойдете, из окна не броситесь, к Молотову не убежите и не обвенчаетесь с ним тайно, — все это принадлежности высоких драм... У вас выйдет простенький роман с веселенькими пейзажиками вместо трагических событий. Зачем же худеть?.. Не надо... Теперь возьмите положение Молотова, — то же самое, что и ваше... классического тоже ничего не предстоит!.. Ему даже делать-то нечего. Вся эта пошлая туча мимо его пройдет, она будет носиться над вашей головой... Егор Иваныч может только просить и убеждать папа́ и мама́, вести с вами переписку, действовать через меня, бесноваться дома сколько душе угодно, перебирать все средства, какие употребляются людьми при связи, разорванной благочестивыми родителями, и видеть, что они неприложимы в его положении. Нечто потешное выходит. У вас не будет свидания до самого благословения родительского, которое утверждает домы чад. Сло-

вом, романчик выходит оригинальный, кругленький, в котором все вперед можно предвидеть. Главное дело, стойте себе упорно на своем; что бы вам ни говорили, как бы ни убеждали, хоть бы плакали или бранились хуже, чем до сих пор, а вы все пропускайте мимо ушей, как будто и не вам говорят. Положим, каждый день вам придется выслушивать отца или мать часа три; вы прослушайте их; пройдут три часа, и вы опять сюда, в свою комнатку. Слышали вы поговорку: «Как к стене горох»? — в этой поговорке весь смысл вашей борьбы, которая вам предстоит.

— Но чем же все это кончится?

— А сейчас я расскажу последнюю главу вашего романа. Генерала вы не бойтесь: не с пушками же придет брать вас... он статский, а не военный. Носу своего он сюда до тех пор не покажет, пока вы не дадите своего согласия; папа́ не допустит его, скажет, что вы больны, либо что-нибудь другое выдумает, — он боится, что вы укажете непрошеному жениху двери... Вот родители и будут тянуть дело, мучить вас, вымогать согласие. Согласия вы не дадите. Наконец генерал рассердится и потребует решительного слова. Что папаша будет отвечать? Дочь не согласна... Тогда, делать нечего, позовут Молотова и благословят вас на брачную жизнь... Вот и вся программа трагедии... Все пустяки в сравнении с вечностью, Надежда Игнатьевна...

— Скажите же Егору Иванычу, что я буду ему верна, как бы мне тяжело ни было...

— Да вы не худейте, Надежда Игнатьевна.

— Боже мой, как все это пошло, грязно, низко! — проговорила Надя с отвращением...

— Что ж тут удивительного? Так тому и следует быть...

Надя наклонила голову и задумалась...

— Вот что, Надежда Игнатьевна, — сказал Череванин, — мне надо иметь предлог бывать у вас. Для этого я начну ваш портрет...

— Хорошо...

Череванин ушел в зал. У Нади после речей Михаила Михайлыча пропали страх и отчаяние; но их место заступила скука и апатия. Лениво пробиралась игла по краю платка; голова рассеяна. «Скоро ли все это кончится?» — думала она. Очень хотелось Наде увидеть

Егора Иваныча, который был всегда их вечерним посетителем, к которому она привыкла и которого так полюбила... Она не знала, куда деться от тоски, когда представляла себе, что, быть может, еще целый месяц пошлой скуки и томления впереди...

Череванин, возвращаясь домой, бормотал себе под нос: «Вот оно, любовь осветила и взволновала наконец это болотце... романчик начинается с веселенькими препятствиями... Право, препотешно жить на свете!.. Но что, если благочестивый родитель вздумает припугнуть ее проклятием и лишением вечного блаженства, — устоит ли Надежда Игнатьевна? Против воли отца и матери редко кто устоит. Сколько бы проклятий рассыпалось у нас на Руси, когда бы все захотели выходить замуж по своему выбору. Отчего это не запретят проклинать детей своих — запрещено же их убивать?.. Запретят!.. еще пустое слово: запрет ни к чему не ведет. О, будьте же вы прокляты сами, проклинающие детей своих! Нет, я не допущу Надю испугаться даже и проклятия. Я им всем нагажу!.. из любви к искусству нагажу!.. А, ей-богу, весело жить на свете!»

Через три дня, которые прошли по той программе, которую начертил Череванин, настал праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Надя была именинница. На Руси празднование именин вытекает ныне совершенно не из религиозных причин. Едят, пьют, сплетничают и танцуют не во имя патронального святого, а потому что случай такой вышел. Приходят гости, поздравляют с ангелом, а сами и не думают об ангеле. Обычай справлять именины многими оставлен, — напрасно: отчего под предлогом «ангела» хоть раз в год не покормить родню и знакомых? Дороговы держались этого православного обычая: обряд именин совершался у них с особенным торжеством. На стенах зажжены канделябры, сняты чехлы с мебели, постланы парадные ковры по полу. Шелк, бархат, тончайшее сукно на гостях; дети в праздничных рубашках, дорогих сюртучках и курточках, которые надеваются всего раз десять в год. Таинственный и степенный шум платьев, светлые лица, общая предупредительность и утонченная, несколько деланная деликатность — все это дает торжественный тон имении-

ному дню и заставляет искать какого-то особенного смысла, которого, может быть, и нет на деле. Надя принимала поздравления; люди в летах желали ей хорошего жениха, молодые — просто счастья. Она ходила по зале под руку то с одной, то с другой девицами-родственницами и так смотрела печально, точно просила пощады... В сердце ее разрушена была вера в своих, потерян смысл окружающей жизни, и постигла она слово: «пошлость»...

Гостей было человек сорок. Череванин, на этот раз во фраке и отличном белье, стоял подле играющих и дожидал случая переговорить с Надей. Он интересовался не игрой, а игроками, злобно размышляя о них: «Ведь это не простые игроки, это — артисты. Я знаю вас вдоль и поперек!.. К рефетам, табелькам, мелкам и разным мусам они чувствуют родственное расположение. Играют они не столько для выигрыша, сколько из любви к искусству; у всякого своя система игры, свой стиль, предания и предрассудки; у них образовался свой язык: известны всему крещеному миру «пикендрясы», «не с чего, так с бубен», «без шпаги», рефет они называют «рефетцем», бубны «бубешками», разыгрывают «сотенку», пишут «ремизцы», а не то дерганут «всепетое скуалико», десять бескозырных вносят в календарь на том же листе, где можно встретить: «Надо помянуть раба божия Ивана», пульку не доигрывают, а «доколачивают»... Какие рожи солидные!.. А, вот и засмеялись!»

— Чего же, господа, смеяться? — говорил Макар Макарыч.

— Как вы тузика-то просолили!

— Со всяким может случиться несчастие.

Настает тишина.

Макар Макарыч злится, мрачно выглядывая исподлобья, но вдруг, спохватившись, что это нехорошо, старается насильно улыбнуться; одолел себя, улыбнулся, но краска все-таки пробилась на щеки, и он, глядя в глаза счастливой партнерке-даме, думает крепкую думу: «Так бы и швырнул тебе колоду в лицо!»

— Восемь черви! — объявляет дама.

В душе Макара Макарыча поднимается страшная возня, роются тысячи мелких чертенят — пошлые страстишки, дрянной гнев, ничтожные заботы и злорадованьице. «Ишь ты, — думает он, — улыбается!.. глаза закатила... господи помилуй, как плечом-то она поводит!» И не

может понять Макар Макарыч, что он сам не может воздержаться, чтобы не отразилась на лице его игра карт...

— Что, душенька? — спрашивает, подходя к нему, любящая жена...

— Ничего не идет,—отвечает тоскливо Макар Макарыч.

— Попробуй, душенька, писать столбиками.

— Пробовал, — ничего не выходит.

Жена вздыхает печально...

— С твоим приходом еще хуже; уж ладно, душа моя, оставь меня...

Счастливый партнер — дама, долженствующая, как говорит Череванин, «смягчать мужские нравы», но в душе ее ходят преступные надежды.

«Подождите, господа, — думает она с замиранием сердца, точно любящий юноша треплет ее по старой щеке, — подождите!.. на моей стороне праздник!.. Я вас сегодня всех оберу!..»

Третий партнер, доктор, серьезно играет; перед ним Касимов — мальчишка. Он изучает игру; на туза смотрит с таким же благоговением, как на генерала, а семерка в его глазах что-то вроде чиновницы в стоптанных башмаках. Доктор в преферансе служит делу, а не лицу; для него важны карты, а не партнеры. Он никогда не злится и торжествует только при открытии какой-нибудь трефонной комбинации или бубнового закона... Макар Макарыч — практик, доктор — философ, а дама смягчает нравы того и другого; в ней олицетворилась золотая середина...

Но что выражает собою четвертый партнер? Выиграет он — ничего, и проиграет — ничего: ему все одно. Это факир индийский. Сидит факир, и вот мимо его носу пролетела муха, жук ползет в траве, в брюхе ворчит, восходит солнце; он погрузился в созерцание всех этих явлений. Зачем они? какой их смысл? Ему, добродушному, нет дела до того. Так и он остановится иногда на мосту, подле портомойной, и смотрит во все стороны: там щепочку несет, в другом месте пук соломы, бревешко, у пристани всплеснуло что-то, бабы моют белье; он созерцает все это, наконец надумается и плюнет в воду; плевок ударится под мостом, даст круг от себя и отразится широчайшей улыбкой на его роже, которой не прикрыть и поповской шляпой... Он не наблюдает, а просто глазеет, глаза пялит; это объективнейшая голова; он

служит искусству для искусства. То же самое у него и в преферансе. «Ишь, как моего туза хватила!»—думает он, и это его не тревожит: ему дайте только полюбоваться, как его туза хватили. «Вон как выходит!» — рассуждает он, объективно глядя на дело и ласково улыбаясь...

— Веселенький пейзажик! — шепчет Череванин. — Подождите, я вас разоблачу перед Надей...

Он читает по их лицам, как по книге... У Череванина, всегда верного своей профессии, явилось желание — опошлить окончательно в глазах Нади ее родню.

«До сих пор, — думал он, — Молотов только идеалы ей рисовал; он не касался этих лиц; но он мне поручил следить за ходом дела, и я не опущу случая — потешусь...»

Череванину хотелось переговорить с Надей; но Надя была с девицами... Михаил Михайлыч ходит из угла в угол: осмотрел все цветы, картины, щипнул кота, выпил воды стакан.

«Этакая скука! — думал он. — Нет, Егор Иваныч очень снисходителен к этим людям. Он сумел их всех оправдать; и я не обвиню, а только выставлю в настоящем свете... Он говорит, что я вижу одну сторону, что здесь внешняя жизнь освещается внутренним огнем, какими-то неуловимыми стремлениями, улегшимися в форму обыденной жизни, без порывов, страстей и великих событий. Но вот я разберу эту внутреннюю жизнь и покажу Наде неуловимый ее огонек! Раскроем же пред Надей книгу скучного существования, бесцветной жизни человеческой — пусть поучится!»

Наконец Надя осталась одна. Михаил Михайлыч воспользовался этим случаем и увлек ее в сторону от гостей, к окну. Первый вопрос Нади был о Молотове. С тех пор, как Надя дала слово Егору Иванычу, она говорила свободно, не стесняясь, о таких предметах, которые до того казались ей крайне щекотливыми. Впрочем, ей и некогда было разбирать, что прилично и что неприлично: она ловила вести и советы на лету, потому от художника часто выслушивала речи, каких никогда не слыхивала; притом и на Череванина она смотрела как на человека, которому все равно и который усердствовал единственно из любви к искусству. На вопрос Нади о Молотове он отвечал:

— К нему недавно сваха приходила.

— Зачем?

— Предлагала семьдесят тысяч приданого и руку вдовы, купчихи...

— Что же он?

— Я советовал не упускать случая. «Тебе же, говорю, добру молодцу, на роду написано счастье — жениться на молодой вдове. Не сумел ты, добрый молодец, изловить белую лебедушку, так сумей ты, добрый молодец, достать серу утицу».

— Вы все шутите...

— Вот и он сердится, а свахе читал целый час проповедь о безнравственности ее профессии — думает, и дело делает.

— Скоро ли всему этому конец?

— К чему торопиться?

— Да тяжело ведь...

— Так что же? Вот мне всегда тяжело, а не тороплюсь...

— Вы все о себе...

— Ну, давайте о других... Знаете ли что, Надежда Игнатьевна, у меня есть довольно веселая мысль — познакомить вас с нашей родней.

— Я давно знаю ее, — отвечала Надя с досадой.

— Нет, не знаете. Например, вон сидит наша Марья Васильевна—страстное, нервное, мечтательное существо с теплым духом и слабым телом. Посмотрите, какое у нее сквозное лицо: синие жилки ясно выступают на лбу, ноздри бледно-розовые, губки всегда открыты. Это единственная сантиментальная девушка в нашей родне. Она любит все грандиозно-поразительное, например удар пушки, колокольный звон, барабанный бой. Она просила меня нарисовать ей картинку в альбом; я изобразил ей всадника, упавшего с лошади; узда оборвала ей губы — мясо самое красное, с кровью; у всадника рука сломана. Она очень благодарила меня за то, что я угадал ее вкус. Вот подите-ко, расскажите этой дохленькой барышне про ее жениха. Вы его знаете?

— Да.

— Нет, не знаете этого благопристойного юношу, у которого так гладко выбриты щеки и снята всевозможная пылинка с платья. Кажется, ничего нет замечательного в этой личности — тысячи таких; но всмотритесь

попристальней, вы увидите много особенностей, ему только принадлежащих. Попихалов человек веселый, покладный, услужливый — так ли я говорю? Он душа дамского общества и мастер каламбурец запустить, личности ничьей не коснется, остроумия нет в его речах, а так, легкий оттенок чего-то легчайшего, получающего свою миловидность от мягкости прононса, поворота головы, уменья придать телу то или другое положение, от особенной манеры держать двумя пальцами папиросу, от искусства вовремя крякнуть, поддакнуть, подпереть рукой щеку. Он глуп, потому что никогда не сказал умного слова; но он умен, потому что никогда не сказал глупого слова. В этом и состоит вся прелесть его юмора. Ведь прекрасный человек?

— Это все я знаю, и как все это скучно...

— Потому что самого веселого не знаете... Попихалов ест сытно, одет хорошо, живет в уютной квартирке, а между тем жалованья получает всего семнадцать рублей в месяц. Объясните же это существование. Этот мягонький господин просто-напросто мелкий воришка...

— Неужели? — спросила Надя.

— Он всюду умеет втереться, а у нас даже в женихи попал. Редкий день Попихалов не бывает на похоронах, свадьбе, именинах или крестинах, потому что любит жизнь хорошую и потому что в гостях очень удобно совершать разные экономические операции; например, он курит одну вашу сигару, а отвернулись — другую он прячет в карман; берет по шести кусков сахару, конфет вдвое более других, а не то стащит и гривну со стола. Со службы государственной, из департамента, он носит домой сургуч, бумагу, перья, веревочки, потому что в его чине больше нечем взять с казны; дома у него копятся кости, гвозди, битое стекло и тряпки, которые он пускает в продажу. У него тысячи мелких оборотов. Например, он записался в библиотеку, выписывает иллюстрированные издания, картинки вырезает и продает их, а иногда цапнет и всю книгу. И вы думаете, что он считает себя негодяем, что ему стыдно, совесть его мучит? Он с особенным, непонятным для нас чувством относится к чужой мелкой собственности... Это не воровство, а пользование чужим без спросу. Он льстит, подличает, кланяется и крадет неутомимо, с сознанием своих достоинств, цели и сил. Так уже устроилась его совесть.

Он никогда не действует против своего убеждения, а убеждения святы.

— Какой он негодяй! — сказала Надя.

— Зачем сердиться? Он не подлец, а дурак, житейская бездарность. Для честной жизни нужны высокоразвитые умственные способности,—иначе как человек примет противоречие между своей бедностью и богатством других? Дураку не докажешь, что деньги надо приобретать трудом. «Нет, — говорит он, — это не расчет!» Для глупца труд представляется нелепостью, когда другие без труда богаты: нужно иметь довольно сильное логическое развитие, чтобы выйти невредиму из путаницы житейских фактов. Много надо иметь ловкости, чтобы достать честно копейку. Не корми меня живопись, я, право, кажется, умер бы в нищете. Для чести нужен ум. За что я уважаю Егора Иваныча? Мне нравится в нем эта логическая крепость, изворотливость, гибкость ума, знание множества средств, уменье найти практические и в то же время честные приемы... А Попихалов — дурак!

— Что же вы не предупредили о Попихалове?

— Кого?

— Родных.

— Зачем?

— Странный вопрос!

— Пусть их блаженствуют. Дохленькой девице такого и нужно. Попихалов в ее вкусе: она, кроме барабанного бою, любит веселости легкие и рассказы о бешеных волках, пожарах, вертящихся столах и т. п., к чему склонен и Попихалов. Лет через десять он разбогатеет, и они будут проживать в счастии.

— Но ведь она ваша родственница?

— Так что же? я-то чем виноват? И все они родственники, и всех их хочется разрисовать: кого зеленой краской, кого желтой, а кого просто грязью... Надежда Игнатьевна, меня кладбищенство сегодня мучит. Дайте мне поговорить, потешиться.

— К чему?

— Так, без всякой причины.

— Не понимаю я вас.

— И не надо понимать. Я просто люблю говорить— вот и все... Посмотрите на наших дам: как они высоконравственны, как они возненавидят вас за любовь без позволения отца и станут презирать за отказ генералу!

Они уверены, что их целомудрие никогда не нарушается, — и справедливо: оно расходуется по мелочам. Дело в том, что наши дамы любят обнажаться: выставить, например, локоток — на, вот, смотри, какое у меня белое, нежное, хорошо рощеное тело; отстегнут, как будто само отстегнулось, крючочек на груди; сядут, — кринолин в сторону, а ножка в белоснежном чулке режет глаза, и этрусские красоты приводят смертного в трепет. Это дамы занимаются экспериментами; они репетируются к свадьбе. И как они, обнажаясь, умеют прилично держать себя! Все у них выходит ненарочно и нечаянно, все само отстегивается, а сами, разговаривая и невинно улыбаясь, бросают меткие взгляды, запоминают позы, замечают, какой оборот или полуоборот производит искомое впечатление. Вон Таня подбежала к окну, наклонилась, нюхает цветок, а сама отпахнула шелковый рукав и откинула грациозно ножку... Как мило выходит! Вот нам, мужчинам, и приходится служить снарядами для опытов этих красивых девиц.

Череванин едва не сказал: «А ведь много есть из нашего брата артистов по части заглядывания во все открытые места на дамском бюсте», — но, заметив, что Надя стесняется слушать его бесцеремонную речь, не решился сказать такую вполне определенную фразу. Ее ухо не приучено было к резкостям. Молотов, относясь отрицательно ко многим явлениям жизни, редко употреблял в разговоре с нею цинические краски; но зато рельефно очерченные образы художника впечатлевали в ее душу отвращение к окружающим лицам, нагоняли скуку, торопили скорей вырваться из заколдованного круга, за пределами которого стояла неизведанная, полная какого-то глубокого и широкого смысла жизнь с Егором Иванычем... Так ей казалось; она верила в Молотова...

— И вот наступит вожделенное время, — продолжал Череванин, — добрые родственники общими усилиями, при пособии экспериментов, найдут жениха; он носит подарки, его травят, но не дадут поцелуя до свадьбы. Наконец запоют «Исаие, ликуй», настанет и пройдет медовый месяц, и наши дамы становятся специалистками в семейной жизни, устраивают хозяйство, прибирают мужей к рукам — и можете видеть второй экземпляр маменькина счастья. Стремления ограничиваются куском хлеба, квартирой, бельем, посудой и тому подобными при-

надлежностями. «Сыт, обут, одет — чего же еще?» Какая-то незримая сила провела этот принцип через жизнь честных людей крепче всех других принципов, легших в основание их жизни. «Сыт, обут, одет»? — как это просто и успокоительно! Посмотрите, что здесь совершается? Ведь все это заведено однажды навсегда, усвоило известные формы, да так и замерло в них. Какие неувлекающиеся, бесстрастные, сознающие свое достоинство лица! Какая крайняя благопристойность, гладко выбритые рожи, казенные улыбки, легкие походки и отсутствие всякой живой мысли! Долго ли понять эту бедненькую внутренним смыслом жизнь? Она вся как на ладони. У этих людей ничего нет своего, нет нравственной собственности. Все это ходячее повторение и подражание. Вон идет господин, — что у него своего? Походка отцовская: он животом вперед, и ты туда же; улыбнулся ты — точь-в-точь сестра старшая; говоря, тычешь пальцем в воздух — твоя бабушка так тыкала; речь пересыпана поговорками — это взято у товарищей, учителей, родных. Сказал ли ты хоть одно свое слово, сделал ли что по-своему, хоть дрянь какую-нибудь? Что бы ни делали эти люди: смотрят ли они на закат солнца, едят ли горячие щи, богу ли молятся или хоронят отца, — и мысль, и слово, и смех, и слезы — все у них получено по наследству; и добродетели у них не свои, и пороки не свои, и ум чужой. Что же ты такое, эй ты, честный человек? Где твоя личность, индивидуальность, где твой талант, прибавил ли ты хотя грош к нему? Недолго надо пожить с ними, чтобы понять, что́ эти люди будут думать, говорить, делать в том или другом случае. Хотите, я расскажу все, что здесь случится сегодня, о чем будут говорить, чему смеяться? Эта жизнь для меня давно прочитанная книга — скучная книга!

— Скучно же вам бывает в гостях!..

— Нет, ничего. Посмотрите, Надежда Игнатьевна, на Анну Михайловну. Видите, какая она молодая, красивая дама, с чудесной каштановой косой и голубыми глазами. Она целый час сидит, не переменяя положения: кушает яблоко, легко-легко улыбается, поднимает ресницы и, обмахиваясь платком, изредка обнаруживает прекрасные белые руки. Ведь это воплощенное изящество? Вот я вам и хочу показать, что я знаю, чем она занята и что чувствует. Она сидит в своем прекрасном платье, луч-

ших браслетах, серьгах и кружевах и блаженствует. У нее теперь особого рода ощущения — праздничные, парадные, которых не всякий и поймет. Она чувствует на себе новое платье, золотые браслеты, ловко надетую ботинку; если прибавить к этому, что она в обществе, то есть на стенах горят канделябры, вокруг торжественные лица, в руках десерт, то вы поймете ее эстетическое довольство — это ощущение новой пары и парадности. Такое ощущение продолжится весь вечер. Когда дома платье снимется, тогда только начнется обыденная жизнь, проза — а теперь поэзия...

Вечер шел своим чередом. Под руководством художника в глазах Нади все приняло иной вид. Она тосковала. «И нечего делать, — думала она, — ждать надо, как день за днем тянется это скучное существование. Утешают, что борьбы не будет. Лучше борьба, нежели эта мертвая, давящая неподвижность». Череванин окончательно испортил ей именинный день. Многое, чего бы она не заметила прежде, теперь само бросалось ей в глаза. Она отошла от Череванина прочь без всякой цели, дожидаясь, скоро ли кончится вечер, стала ходить из комнаты в комнату, от одной группы гостей к другой. Она остановилась подле почтенных дам, среди которых старичок повествовал о своем ревматизме, который уже десять лет назад излечен. После него другой старичок сказал: «Вот у меня тоже мозоли» и развил целую историю о мозолях. Анна Андреевна сообщила о зубных болях, поносах, корях и кашлях своих детей. Видали ль вы умилительную картину, когда юноша сидит среди старух, припоминающих за всю свою многострадальную жизнь, как их стреляло, кололо, тошнило, тянуло, ломало и коробило, и когда юноша того только и смотрит, как бы вырваться из кружка старух? В таком положении был молодой Касимов. Надя и без комментариев Череванина поняла, что все это очень скучно. Только подобные явления и останавливали ее внимание, а других точно и не было. Вечер близился к концу. Наде хотелось уединиться; она пошла в детскую... И дети, которые незадолго играли шумно и весело, теперь утомились, вяло ходили друг к другу в гости, устраивали школу, венчались и т. п. Надю везде преследовала скука.

— Ты будь маменька, а я — папенька, — говорил один мальчик.

— Нет, я буду нищая...

— Лучше — маменька.

— Нет, я буду нищая...

— Братцы, не принимать девочек! — сказали мальчики...

— И не нужно... Пожалуйста... и без вас весело...

— А не будет весело!

— А будет!

— Не будет!

— А будет!

— Никогда ты не переговоришь ее, — сказал Володя, — уж девочка ни за что не отстанет, а то еще заплачет...

— Ох, уж и мальчиком тоже хорошо быть... Я бы ни за что...

— А девочки-то?.. в передничках... плачут всегда...

— Мальчики не плачут?

— Уж вот никогда!.. «Ай, маменька, букашка!» Ох, вы, народ!

Надя примирила детей и опять пошла в зал, к гостям. Она взяла под руку дохленькую барышню и стала ходить с нею по комнате... Целые полчаса она слушала ее рассказы о женихе, Попихалове. Наконец она ушла в свою комнатку и в изнеможении упала на стул. Надя была измучена, утомлена своими именинами. «Скоро ли кончится вечер? — думала, — скоро ли ночь? Хоть заснуть бы!» Потом ей уж и думать ничего не хотелось; пусто было на душе. Долго она еще сидела в тяжелом полузабытьи...

Надя не слышала, как загремели стулья, преферанс кончился и настал последний час праздника...

В зале шел оживленный разговор между игроками, столпившимися около стола с закусками и винами.

— Не нужно допускать обмолвок, — говорил доктор. — Вы, Макар Макарыч, говорите про себя в задумчивости: «нет» и объявляете простой преферанс, и вот слева — пас и справа — пас. Вы запугали игроков, а потом смеетесь. Серьезная игра должна совершаться молча, позволяется говорить только технические слова игры. Даже такие фразы: «А вот я вашего туза побоку», — зачем они? Они развлекают игроков и мешают, так сказать, систематической игре... Я двадцать три года играю; я помню тысячи фактов и приобрел некоторую

опытность в деле; это составляет мою систему — понимаете? После игры я вспоминаю все свои выходы, взятки, риски, все комбинации преферанса и потом соображаю: как, что, почему? Пища для ума; я занят день, неделю, дохожу до новых соображений. А разные обмолвки мешают делу.

— Господа, положить за правило — молчать во время игры, — сказали партнеры.

— Назначить ренонс!

— Двойной!

Доктор, подозрительно осмотревшись во все стороны, показал знаком, чтобы игроки подвинулись к нему. Игроки стеснились около доктора, и он сказал шепотом:

— Вот что, господа, баб не принимать...

— Ну их к черту! — ответил Макар Макарыч.

— Только киснут — никакого риску!

— Пусть составляют бабий преферанс!

— Преферанс и дело не женское, — это не то, что чулки вязать, — заключил доктор.

— Вот что, — сказал он, возвышая голос, — по-моему, не выигрыш в две копейки фишь интересует игрока. Плата есть премия за искусство, а с другой стороны, гарантия серьезности дела: чем выше цена, тем внимание напряженнее.

«Вот оно! — думал себе Череванин, закусывая среди игроков. — Теперь наступит гробовое молчание за зеленым столом, будет совершаться мистерия, будут вырабатываться бубновые принципы и червонная нравственность. Ведь это развивается жизнь по своим законам, растет и видоизменяется, — это шаг вперед, как выражается Егор Иваныч...»

За ужином случилось событие, которое показало, что Череванин ошибался, когда говорил: «Я могу рассказать все, что будет сегодня».

Надя сидела среди молодых девиц и рада была, что кончается день. «Еще несколько таких дней, — думала она, — и конец моей неизвестности». Отец часто останавливал свой взор на лице Нади, и в глазах его отражались попеременно то ненависть к дочери, то сомнение в чем-то. Он хотел заставить Надю единственно силою своей воли — поднять глаза; но она не чувствовала влияния его взглядов. Анна Андреевна с изумлением ви-

дела, как муж налил себе уже пятую рюмку вина. Многие гости заметили, что Игнат Васильич как-то особенно недоброжелательно смотрит на дочь-именинницу, и не понимали, что это значит. Подали шампанское.

Дорогов, с заметной для всех бледностью в лице, встал со своего места, поднял бокал, сухо и строго проговорил тост:

— За здоровье нашей дорогой именинницы и нареченной невесты...

На минуту все смолкло. Потом с страшным криком принят тост.

Надя окаменела. Она не ждала такого удара.

— Кто жених? — раздался в массе говора чей-то громкий вопрос.

Опять все стихло.

— Его превосходительство Алексей Иваныч Подтяжин.

Настала мертвая тишина. Эффект был чересчур силен. Трепет пробежал по всему собранию. У Нади же в глазах помутилось и в голове стучало. Около нее столпились гости с бокалами в руках. Бледная, как полотно, она смотрела на отца и готова была упасть. Все заметили ее волнение, смертельную бледность и отчаяние, которое выказалось во всех чертах лица. Мать, видя, что Наде дурно, подошла и сказала: «Что с тобой?» Череванин ей шепнул с другой стороны: «Решайтесь, говорите, что бог на душу положит... Объявите Молотова». Надя едва расслушала его, сжала свои руки, так что суставы хрустнули в пальцах, и опустила голову на грудь. Страшно ей. Больше ста глаз смотрят на Надю, и в иных уже светится зависть, злость, насмешка, — и все молчат. Хоть бы закричали «ура», заглушили радостным родственным ревом нестерпимую боль в груди. Молчат. Но вот точно из одного горла вырвался восторг, закричали «ура», бьют ножами в стол и тарелки, подняты бокалы, клубится вино, и все-таки на нее смотрит множество глаз. Теперь ей думается: «Чего они ревут? чему обрадовались?» — тогда как у ней болит все тело и так мало воздуху в груди. Она пошатнулась... еще минута, и — упала бы в обморок. Но Михаил Михайлыч шепнул в это время: «Говорите что-нибудь, а не то я отвечу за вас... Зачем вы их боитесь?» Надя с необыкновенной силой воли собралась с духом и что-то загово-

рила... Голос ее пропал среди крику. Но гости, заметив, что она хочет сказать что-то, стали останавливать друг друга, и через минуту снова воцарилось молчание. Отец был едва ли не бледнее дочери...

— Папенька, я не иду за Подтяжина, — начала Надя.

— За Молотова, — подсказал Череванин.

— Я пойду за Молотова.

Голос прервался; она опустилась на руки Череванина и матери. С ней был легкий обморок. Изумление было всеобщее; лица вытянулись, бокалы замерли в руках. Через довольно заметное время поднялся шум и жужжанье, которое слышала Надя точно сквозь сон. Она опомнилась несколько, и ее увели из зала. Дорогов тоже вышел вон, качаясь не от хмеля, а от душевного потрясения. Он уверен был, что дочь не осмелится заявить свое слово, когда он объявит ее невестой при всех публично, что она не решится на скандал, — но она решилась. Дорогову нанесен был страшный удар, полный, неотразимый. Он с позором ушел в свою комнату и, бросившись в постель, вцепился в подушку старыми зубами... Рыдать ему хотелось, но горло как веревкой перехвачено. Мучительный час пережил он и потому только не проклял дочь свою, что не пришли в голову проклятия... Он был поражен...

Гости разошлись печально, не простясь с хозяевами, рассуждая о событии, которое в родне в сто лет случилось однажды. Надя спала без сновидений, убитая и задавленная. Череванин, выходя из дому, клялся, что он нагадит всей родне. Одно лишь было утешительно. Мысли матери просветлели в эту ночь. Она с изумлением спрашивала сама себя: за что ее дочь страдает? Ей жалко было Нади.

Праздник кончился.

Чиновная коммуна, связанная родной кровью, была глубоко потрясена, когда услышала, что в их родню вступало такое влиятельное лицо, как генерал Подтяжин. Казалось, сильная, огромная, благодеющая рука поднималась над коммуной и готова была бросить в среду ее чины, кресты и оклады. Эта в своем роде оригинальная коммуна, цельная, сплоченная в одну массу, перерождавшаяся в продолжение ста лет из чистого,

кровного плебейства в полумещанское чиновничество, с трепетом и замиранием сердца думала, что силы ее, вышедшие когда-то из народа в лице знаменитой прабабки, теперь акклиматизируются в департаментах окончательно, и тогда кто посмеет сказать, что родоначальники ее — мужики и мещане? В увлечении родные мечтали, что со временем можно будет сказать о департаменте жениха: «Департамент *наш;* он весь наш родня; и молодое поколение, которое лежит еще в пеленках, здесь же найдет впоследствии приют и занятия». Все это быстро пронеслось в головах мирных семьян-родственников, когда Игнат Васильич объявил Надю нареченною невестою генерала; но вот Надя отвечала: «Я не иду за него», и родня была поражена, оглушена. Лишь на другой день она одумалась, и в мирных семьях чиновников раздалось призывное слово: «Работать, работать!.. за дело!.. Спасайте коммуну!» Наде предстояла борьба уже не с одними членами своей семьи, но со всеми, кого она только знала... Все на нее!

На другой день после именин бо́льшая часть родственников собралась у доктора. Сразу, в один час они возненавидели Молотова, как злейшего врага своего; в одно мгновение личность человека, прежде порядочного в их глазах, превратилась в отъявленно подлую и отвратительную, как будто в их благонамеренных душах давным-давно копилась и зрела вражда к Молотову и теперь вся вылилась наружу, вся сказалась. В собрании родных раздавалась брань против Молотова, слышалось слово: «Мерзавец!» — и если бы все пожелания их исполнились, то Егор Иваныч спокаялся бы, зачем до сих пор живет на свете. Но все-таки они не знали, что делать, волновались, шумели, удивлялись событию, потому что Надя, как бы ни поучал ее Молотов, говорила правду: в родне ее существовала только обязательная любовь. Более пятнадцати голов, думавших крепкую думу, не знали, на что решиться. На любовь Нади они смотрели как на чудо, как на нелепое, уродливое исключение, которое совершается в сто лет однажды; но все же не могли они отрицать факт и поняли, что если совершился вчерашний скандал, то, значит, любовь Нади не каприз, не блажь, не пустая привязанность, что она на все готова. В их головах рождались душеспасительные и дикие мысли.

Пришел и Дорогов. Его окружили все.

— Что это случилось у вас? как вы допустили? Что делать теперь? — поднялись со всех сторон вопросы.

— Ничего не знаю, — отвечал Дорогов с отчаянием.

— Вы совсем растерялись,— сказал ему Рогожников...

— Что же я делать буду?

— Должны вразумить Надю...

— Вразумлял.

— Вы расскажите ей все о Молотове, всю его подноготную; надо вывести его на свежую воду, и Надя сама увидит, что́ это за человек... Она испугается его...

— Что же я знаю о Молотове?

— Как, вы не знаете до сих пор этого нехристя, этого отпетого безбожника? Разве вы не знаете, что у него нет даже образа в доме, креста на глотке; садится за стол — рожи не перекрестит, родителей не поминает, в церковь не ходит. Говорили вы это Наде или нет?

— Неужели это правда? — спросили в один голос взволнованные родственники.

— Честное слово, прости ты меня, господи! — отвечал Рогожников. — Он даже не любит рассуждать о делах веры. «Я не сержусь, говорит, на вас за то, что вы так или иначе веруете; не сердитесь на меня и вы за мои убеждения».

Это поразило родственников, но более всех подействовало на отцовское сердце Дорогова... «Погубит мою дочь этот человек!» — думал он со страхом и едва не закричал: «Спасите, спасите ее!» Он с яростью тигра готов был защищать Надю от когтей Молотова... К прежним побуждениям выдать Надю за генерала прибавилось еще новое, которое окончательно, последней петлей захлестнуло сердце Игната Васильича и распалило его непобедимое упорство...

— Не дам я погибнуть своей дочери! — сказал он энергично.

— Надо рассказать ей о Молотове...

— Да, да!..

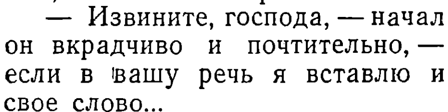
— Это я сделаю, — вызвался Рогожников, — я ей открою глаза... Она заблуждается, несчастная...

— Неужели и после этого она будет любить Молотова?

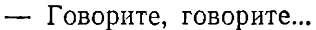
— Он опротивеет ей.

Читатель спросит: «Правду ль говорили о Молотове или клеветали на него?» Что отвечать на такой вопрос?

Не из пальца же высосал Рогожников и, верно, правду говорил. Ему все поверили с радостью, охотно. Но этим дело не кончилось. Когда человек зол на человека, он узнает и расскажет всю подноготную своего врага, подсмотрит и подслушает, припомнит, что давно забыто, — и за все будет казнить. После Рогожникова явился обвинителем Попихалов, который, в качестве будущего родственника и посетителя всевозможных собраний, участвовал на семейном совете, хотя, впрочем, его никто не приглашал.



— Извините, господа, — начал он вкрадчиво и почтительно, — если в вашу речь я вставлю и свое слово...



— Говорите, говорите...

— Я осмеливаюсь считать вас почти родственниками...

— Ну, разумеется.

— Мне кажется, есть сведения о Молотове, которые сильнее подействуют на Надежду Игнатьевну...

— Что такое?

— Молотов всего года четыре назад имел непозволительную связь...

— С кем?

— С одной вдовой-чиновницей; я ее знаю и думаю, нельзя ли достать какие-нибудь документы, например письма.

— Вы можете достать письма?

— Не ручаюсь, но надо попытать. Бог знает, может быть, у него и...

Попихалов несколько смешался и замял речь свою...

— Что, что такое? — спросили его с любопытством...

— Я хотел сказать, что, может быть, у него и дети были, судя по долговременности связи...

Слушатели были поражены; никто не предвидел последнего обвинения. С каждою минутою личность Молотова освещалась все более и более невыгодно для его

репутации... Радость неподдельная, самая искренняя на лицах собеседников. Добрые люди торжествовали при открытии, что вот Молотов — безбожник, Молотов — развратник...

— Доказательства есть? — спросили самые благоразумные...

— Судебных, пожалуй, и нет, но зачем они? лишь бы убедить Надежду Игнатьевну, и Молотов от ней самой получит отказ, тем более что это не первый случай в жизни Егора Иваныча...

Лица повеселели. Родственники были счастливы в настоящую минуту: им казалось, что они наверняка губили репутацию Егора Иваныча. Один лишь Дорогов с каждой минутой свирепел, представляя себе, что он оскорблен как семьянин; опять вспомнилась собственная юность и рисовались картины Надиной любви, созданные его небезгрешным воображением...

— После вдовы Егор Иваныч имел еще сомнительные знакомства, — продолжал Попихалов, — мне положительно известно, что он...

— Договаривайте...

— Посещал так называемых камелий...

Дорогов поднялся со стула и отошел в сторону.

— Он знаком, — говорил Попихалов, — с актером Ступиным; у этого актера... Уж извините, я буду говорить прямо...

— Ну да; нечего тут стесняться! разоблачайте его!

— У Ступина есть содержанка; у нее Егор Иваныч крестил детей.

— Господи, час от часу не легче! — проговорил Дорогов.

— Наконец, известно, что Молотов помогал одному приятелю деньгами и советами, когда приятелю нужно было увезть девицу из дому ее опекуна...

Игнат Васильич взялся руками за голову и, стиснув зубы, в душе своей проклял все на свете. «И этот человек едва не жил у меня? — думал оскорбленный отец. — Что он хотел сделать с Надей?» Дорогов был опозорен на всю родню, гласно...

— Надо довести все это до сведения Надежды Игнатьевны, — заключил Попихалов, — и тогда дело примет совсем другой оборот...

Состоялось общее решение опозорить Молотова в глазах Нади. Ко всему этому прибавились еще тысячи случаев из жизни Егора Иваныча, тысяча мельчайших черт его характера, и наконец возник вопрос:

— А откуда у него пятнадцать тысяч?

Решено:

— Украл!

— Где?

— Где-нибудь да украл! Такой человек на все способен...

Что же автор не защищает своего героя? Что ж и защищать его? Денег он не крал, и впоследствии сам Молотов расскажет, откуда у него взялись тысячи. Относительно же любовных похождений Молотова скажу, что в словах Попихалова была и правда. Детей у него не было, документов интимного свойства не существовало, но другие обвинения, пожалуй, несколько справедливы...

Мы с своей стороны ответим на один только вопрос: «Любил ли кого-нибудь Молотов?»

Такому вопросу мы придаем важное значение в деле характеристики. Как бы ни был человек прозаичен, но имеет же он хоть фунт хорошей крови в организме и пару мыслей о женщине в голове. Молотов, хотя бы он был холоден, как медно-красный индеец, идеально или материально увлекался, — это-то и нужно знать. Каждому смертному жизнь дает известную долю любовного продукта, имеющего тот или другой характер, смотря по темпераменту и нравственному развитию. Автор обязан представить факты, причем, само собою разумеется, поэтические ходули и ломанье не имеют места. Мы в романе не действующее лицо, а смотрим на события и характеры со стороны, относимся к ним холодно, бесстрастно, никого не обвиняя и не оправдывая... Известное дело, что всякий считает любимого человека выше всех на свете, и это не заблуждение, потому что для влюбленного предмет его любви в данное время действительно божество; но зачем же автор вместе с героями будет считать их божествами? Автор, по законам природы, сам имеет полное право быть влюбленным и, по тем же законам природы, считать предмет своей любви выше всех на свете, даже героев своей повести. Поэтому какая нужда скрывать что-нибудь? Лгать не только безнравственно, но и бесполезно. Так и будем писать.

В начале юности, когда проснулся организм Молотова, он встретил в жизни прекрасную кисейную девушку, которая, несмотря на всю свою неразвитость, заставила его крепко призадуматься об отношениях к женщинам. В натуре Молотова было много материального, необузданного, и первые интимные отношения к такой девушке, как Леночка, имели на его характер влияние благодетельное, смягчающее и одухотворяющее. Поэтичнее он не сделался, но стал осторожнее и честнее в отношениях к женщине. Был ли он человеком внешних обстоятельств или не развился он окончательно, только ему до знакомства с Надей не удалось ни разу увлечься всецело, и любовь его проявлялась как-то односторонне... Так, он скоро после Леночки увлекся дочерью генерала Прокопина Анной Федоровной, которая была в полном смысле красавица. Он ни прежде, ни после того не встречал женщины изящнее ее. Он с первого же раза был поражен красивой, художественной фигурой Анны Федоровны. Эта женщина способна была страстно увлечься искусством. Произведения поэтов, картины знаменитых художников, античные статуи, серьезная музыка, картины природы — составляли ее насущную потребность, она жила среди прекрасных образов, и это отразилось на ней самой. Ее существование было глубоко изящно. В губернии Прокопин жил только летом, а зиму в Петербурге, где у него было самое избранное знакомство, цвет общества: люди замечательные либо по общественному положению, либо по талантам. Он скоро сошелся с нею и высказывал меценатке свое несозревшее миросозерцание. Она слушала его внимательно и однажды сказала: «Из вас выйдет замечательный деятель; такие люди, как вы, нужны для общества, вы не будете представителем науки или искусства, но станете во главе практического движения». Молотов хотя не поверил меценатке, но все-таки почувствовал спокойствие, когда сошелся с нею. Чаще и чаще хотелось ему видеть Анну Федоровну. Она объясняла ему смысл и красоту художественных произведений. Все, что было грязно, порочно или несчастно, она отстраняла от себя, потому что все это было неизящно и не давало эстетических наслаждений. Молотову казалось, что ей следует занять место в Эрмитаже, на мраморном пьедестале, среди произведений искусства, — так она была

хороша. Он, незаметно увлекаясь, дошел до обожания, до поклонения, о чем и проговорился ей нечаянно. По этому поводу Анна Федоровна сказала: «Я полюблю только очень замечательного человека, знаменитость». Она говорила правду, и Молотов понял свое положение. Если бы он написал гениальную поэму, сделал знаменитое открытие в науке, решил государственный вопрос или взял крепость, тогда она охотно пошла бы под венец с Молотовым. Но Молотов был простой парень, ученый мужик и не мог же сделаться гением по приказанию этой изящной женщины. Наступила зима, Прокопины уехали в столицу, и образ красавицы скоро стушевался и лег в душе подле образа Леночки... После того у Молотова не было увлечений; носило его с места на место, нигде он не мог основаться надолго и по тому самому завязать романа. Несколько раз хотели женить его, но он и не думал о том... Вот в это время Молотов, как и все мужчины, тратил себя, не жалея. Из тысячи молодых людей нашего времени остается ли один даже до шестнадцати лет невинным? — Молотов не был исключением. Поэтому обвинять его было нетрудно; Помихалов обвинит, если угодно, самого Ромео — за фактами дело у него не станет. Молотов до тридцати трех лет прожил холостяком, — как же автору оправдать его? Никто не поверит, и выйдет идиллическая пастораль. Вдова была последняя его привязанность, но он был знаком с ней не более месяца, — это была еще молодая и красивая, но злостная, ядовитая баба, желавшая прибрать его к рукам. Четыре года прошло, как Молотов жил безупречно... Он уверился было, что не способен влюбиться, и стал мечтать, как лет под сорок вступит в законный брак с какой-нибудь тридцатилетней дамой, чтобы не обижать уж молодых. Он обдумал и план, как до заката дней дотянет свою жизнь беспечально, и сам предсказал свое грядущее: работы настолько, чтобы отдохнуть захотелось и было бы сытно и не совестно, а во время тошноты от скуки, которая хватает за горло людей с неудавшейся жизнью, — рюмка вина, моцион или книга. Все было рассчитано и похоронено; стало киснуть сердце; сделался он сух и эгоистичен. Молотов думал, что отходит его молодость, а Надя в это время только что расцвела, и вот встретились эти два человека. В душе Молотова ожили лучшие

инстинкты; он медленно увлекался, но тем больше сильно; узки и мелки показались ему расчеты житейские, так что он не мог говорить с Надей спокойно, когда она защищала брак без любви. Сила привычки, долгого знакомства и откровенности с Надей сделали то, что он лишался в ней точно жены, а не невесты. Егору Иванычу нужна была умная женщина — Надя сказала ему: «Мне не поэзию надо, я знать хочу», Надя хотела выйти из жизни замкнутого круга — Молотов указывал ей дорогу, — и вот они сделались жених и невеста... Теперь хотят обвинить Молотова перед Надей.

Родственный сейм после совещания разошелся с полной надеждой, что опозоренная личность Молотова сделается противна для Нади, и в тот же день ей были объяснены поведение и характер Егора Иваныча. Но все были удивлены, когда узнали, что Надя ничему не поверила; а удивляться было нечему, потому что она любила Молотова, к родным же теряла уважение с каждою минутою... Нет, верно не воротить старого: чужой человек давно был дороже своих. Стали искать причину — отчего Надя так упорно шла на очевидную, как казалось, опасность, и не могли отыскать ее.

На другой день отыскали причину...

Игнат Васильич сам подслушал, как Михаил Михайлыч повторял Наде свои наставления и доказывал, что Егор Иваныч нравственнее всей родни ее, взятой вместе.

В сердце Игната Васильича был неистощимый запас бешенства. Каждый день он волновался, дрожал от злости, бледнел; много ночей он не спал, но нервы его все еще не теряли способности раздражаться, не тупели, а напротив — приобретали страшную упругость и силу. Дорогов едва не собственноручно выгнал Череванина из дому. Но Михаил Михайлыч, слушая брань его, медленно убирал работу и, уходя, сказал Наде:

— Надежда Игнатьевна, терпение...

— Несчастная! — проговорил отец, когда они остались вдвоем...

Надя решилась молчать...

— Сегодня последний день твоим капризам...

«Что же они сделают?» — думала Надя...

— Я тебе сказал, что ты в жизнь свою не увидишь Молотова. Помни, что мое слово ненарушимо, и подумай о себе. Я ненавижу его, как злейшего врага своего. Ты разрушаешь мое счастие, и я этого не прощу тебе. Никто не может насильно поставить тебя под венец, но как же ты без моего согласия пойдешь за Молотова? И вот даю тебе честное, крепкое слово, что ты готовишь себя к страшной беде. Знаешь, что я тебе скажу?

Надя не отвечала...

— Тебе говорил Череванин, что все пройдет; нет, неправда это... Если ты не покоришься, я ни за кого не отдам тебя замуж... ты навеки останешься девкой... Молотов не будет моим зятем... Что, угадал Михаил Михайлыч? Правду говорил он, что на днях кончится твой роман? Он никогда не кончится... Ты обреченная старая девка!

Надя вздрогнула...

— Не Череванин, а я предскажу тебе будущность; я напишу тебе последнюю главу твоего романа — длинна она будет, дочь моя...

Надя почти с ужасом прислушивалась к зловещим словам отца.

— Ты не любишь нас, — продолжал отец, — уверена, что мы разрушили твое счастие; и я не люблю тебя, потому что ты погубила мое спокойствие. И вот с этой же минуты знай, на что ты решаешься. Ты останешься жить среди людей, которых отвергла душевные просьбы, будешь хлеб их есть, нищенствовать, проживать у них... Простят они тебе? Ты сама видишь, как с тобой жить тошно стало, и все-таки остаешься с нами, чтобы окончательно отравить наше существование. Ничего, живи с нами и каждый день наслаждайся, как около тебя будет все сохнуть, стареть и горбиться. Нет, я тебя не прокляну, не выгоню из дому, не пущу к Молотову, на которого ты надеешься и вот в эту же минуту о нем мечтаешь: «Где он? Что теперь думает и делает?.. Когда ты с ним увидишься?..» Оставайся ж старой девкой! — вот тебе наказанье, и всю жизнь ты будешь чувствовать, какой великий грех — противиться родительской власти! Никто тебя не выручит и не пожалеет, несчастная! «Терпенье!» — сказал этот негодяй, — испытай свое терпенье... Старая девка! — сказал отец со злобой и посмотрел на Надю с ненавистью...

— О господи, это хуже проклятья! — проговорила она...

— Голодная старая девка!.. Живи среди нас, объедай своих младших братьев и сестер и учи их потихоньку ненавидеть отца...

Надя чувствовала, как она каменела, превращалась в бездушное существо, кровь останавливалась в ее жилах; но она с напряженным вниманием вслушивалась в ужасные заклятия на жизнь свою... Отец же точно помешался, и не останавливалась его безумная речь...

— Что ты будешь делать, когда отца твоего не станет? Ты не получишь тех четырех тысяч, которые я обещал тебе в приданое... Не стоишь... И вот ты пойдешь таскаться по братьям, у родных нищенствовать, сядешь на чужие хлебы, дармоедничать будешь, — и так весь век в зависимости от людей... Опомнись, тебе двадцать третий год! Что за нелепое упрямство?

Надя смотрела на него с изумлением...

— Или не думаешь ли ты, что проживешь как-нибудь своими трудами и никому не будешь в тягость?

Надя ничего не думала.

— Мужчине, и то дельному и здоровому, под силу жить своими трудами, а не вам, бабам. Что ты знаешь, чему училась, на что способна, куда и кто тебя примет? В швеи, что ли, пойдешь?

— Боже мой! — проговорила Надя.

— Или скажешь: зачем же тебя не учили ничему? Неблагодарная тварь! Я тебя ничему не выучил? я не воспитывал? Кого во всей родне нашей так заботливо растили, как тебя? Вспомни, как, бывало, после целого дня службы я по вечерам учил тебя азбуке и письму; потом третью часть жалованья отдавал этому мерзавцу Молотову — добру он наставил; разве не я чуть не в ногах валялся у князя, чтобы определить тебя в институт его пансионеркой? Подарки делал начальству, ночи не спал от забот, молебны служил, чтобы тебе господь смысл дал; семь лет следил за тобой как за своею совестью, — ведь ты первая и любимая дочь моя!.. Много ли девиц, которые, как ты, умеют держать себя в обществе, танцевать, говорить? Откуда все это у тебя? На свои деньги, что ли, купила?.. Все моя спина гнулась от работы на вас, бездушных тварей!.. Говори что-нибудь, деревянная кукла!.. Оправдывайся!..

Надя бессмысленно улыбнулась...

— Ты смеешься еще? — крикнул отец в бешенстве.

Наконец стали слезы подступать к горлу Нади. Летаргическое оцепенение миновалось. Тяжелый, порывистый вздох вырвался из ее груди. На лицо пробилась кровь большими пятнами...

— Ты нарочно бесишь меня? — говорит отец. — Бесишь грустной рожей, молчаньем, слезами...

Надя заплакала.

— Говори что-нибудь!

Отец подошел к ней, положил, как прежде, на Надины плеча тяжелые руки и с внимательной, оскорбительной, дерзкой злобой смотрел ей в лицо.

— Надя, молишься ты за меня богу? — спросил он медленно и сам побледнел...

Судорожный трепет пробежал по членам Нади. Плач переходил в рыдание...

— Молишься ли богу?

— Молюсь, — отвечала она прерывающимся голосом, — чтобы он смягчил ваше сердце...

— Любил я тебя, Надя, а теперь не люблю... Опротивела ты мне!.. Вспомни, бил ли я тебя когда-нибудь, наказывал ли, знала ли ты розгу? И я тебя ласкал и лелеял, целовал и имя дал Надежда... Теперь мне ударить тебя хочется...

Смертная бледность разлилась по лицу Нади...

«Ударить», — подумала она и закрыла глаза в ужасе...

И вот ей вдруг почудилось, что отец поднимает тяжелую руку с плеча. Она вся, с головы до ног, обмерла, обезумела и дико вскрикнула на все комнаты, закрывая лицо руками.

Вбежала бледная и трепещущая мать.

— Что у вас? — спросила она, с недоумением глядя на окаменевшую дочь и на изумленное лицо мужа.

Надя отвела руки, взглянула на отца, ничего не поняла и не сообразила и опять вскрикнула:

— Ах, не бейте, не бейте меня, папенька!

Анна Андреевна бросилась к мужу, оттолкнула его от себя и потом обняла Надю, которая с диким шепотом повторяла:

— Не бейте, не бейте!..

— Ты с ума сошел, обезумел! — говорила жена...

У отца в первую минуту, когда он услышал вопль дочери, мелькнула страшная мысль — «Она помешалась»; потом, когда Надя закричала: «Не бейте меня» и шептала: «Не бейте меня», он догадался, что дочь его поверила тому, что он способен ударить; ему тогда едва ли не страшнее стало. В одно мгновение в голове, быстро цепляясь мысль за мыслью, явилось сознание: «Я сделался для родной дочери предметом ужаса...» Взглянул он на жену, — та с ненавистью, с презрением, отвращением смотрела на него; взглянул на дочь, — она дрожала от страха... У него сердце замерло, он растерялся, испугался своего положения и в первую минуту не произнес ни слова...

— Не подходи к нам! — сказала жена, когда заметила его намерение приблизиться к ним...

— Надя, дурочка, полно тебе, перестань, — заговорил наконец Дорогов умоляющим голосом. — Неужели ты могла подумать, что я способен ударить тебя?

Он взял Надины руки, отвел их от лица ее, сжал нежно в своих руках и стал целовать Надю в лоб, в глаза, в голову и неожиданно сам заплакал...

— Неужели тебя, мою Надю, мою самую любимую дочь, могу я... О господи, что это пришло тебе на ум? Тронул ли я когда-нибудь пальцем?.. Надя, друг мой, скажи что-нибудь...

Надя обвила его шею руками, — и оба они плакали.

— Добрая моя, как тяжело тебе, — прошептал наконец Игнат Васильич.

Надя обливала поседевшую голову отца горячими слезами. Игнат Васильич не вынес было, хотел уже простить ее, разрешить ей делать все, что она хочет, и благословить на новую, желаемую с Молотовым жизнь. Анна Андреевна предчувствовала такой исход дела, и радость, давно ее оставившая, оживила ее душу. Она решилась во что бы то ни стало защитить свою Надю и, сама знавшая лишь обязательную любовь, благословить дочь свою на любовь свободную, человеческую. Казалось, начинается тайна примирения, тайна разрешения и всепрощения. Вошли дети и остановились с изумлением, видя, как сам отец обнимает дочь свою...

— Папа простил сестрицу, — прошептала Катя.

Отец, увидя их, сказал коротко:

— Подите отсюда... играйте себе...

Дети повиновались; но лица их были светлы, ребячьи речи полны надежды; они, дети, радовались и за Егора Иваныча, своего доброго знакомца, и за Надю, свою любимую сестру...

Отец стал ходить по комнате.

— Ну, полно, — сказал он Наде. В его словах уже слышалась строгость.

Он быстро прошелся по комнате и вдруг повернул в свой кабинет, двери которого запер за собою плотно. Все поняли, что теперь его не надо беспокоить. Необыкновенное что-то делалось с Дороговым. Они сидел, положа голову на ладони, а локти на стол. Суровое, тяжелое, нелепо-отталкивающее выражение было на лице его. Морщины глубже врезались, увеличились и яснее обозначились. Взгляд сделался тусклым, сухим, неподвижным. Постоянно нависшие брови точно выросли. Голова его начала седеть, и скоро с нее будет падать волос. Редко он переводит дыхание, но сильно, так что слегка разжимаются его тонкие, сухие губы. Давно он не улыбался, давно не было в его душе светлой и радостной мысли. В заржавевшем сердце проснулось чувство любви и жалости к своей дочери только тогда, когда вскрикнула она: «Ах, не бейте, не бейте меня!» Крик, вырвавшийся из Надиной груди и потом перешедший в полупомешанный шепот, заставил его уйти от своих и запереться... Проняло его наконец и покоробило. Вопль дочери внезапно ярко осветил положение семьи, до которого он довел ее. Этот вопль связал его душу и готов был подчинить его, старшего в семье, младшим людям. Сознание прокрадывалось в темную душу; он чувствовал, что власть ускользает у него, что чья-то тяжелая незримая рука легла на его голову и не давала ходить его мысли по-старому, своевольно, хоть бы назло всем, лишь бы самому нравилось. «Да я так не думаю» — это исходное жизненное начало его деятельности туманилось и гасло. Догадывался мундирный самодур, что, в свою очередь, можно было ему ответить: «Я не думаю, как ты...» В его воображении стояла бледная, дрожащая дочь, с руками, защищающими лицо, обезумевшая от ужаса, и возникал и повторялся с ясностью сейчас повторяющегося события вопль и шепот дочери, и с каждым разом он переживал боль сердечную. Он несчастлив, и несчастлив по-своему, оригинально.

Душно старику. Если бы молодые годы, Дорогов разнес бы свое горе по холостым кружкам, утопил бы в вине, выкричал бы в песне, отшибло б ему голову, и то было бы исходом из охватившего его удушья. Но двадцать лет перевоспитания, неуловимой, тайной переделки характера сделало то, что в сердце его родилась любовь к семье и легла сверху необузданной дикой воли, которая, будучи вызвана обстоятельствами, неожиданно вся сказалась в отвратительных формах. Сразу жили в нем любовь и ненависть; то зверь проснется в нем, то отец семейства; то ему плакать хочется, то выть от злости. Невыносимо страдание человека, когда в мрачную душу, в черное сердце поселяется любовь, когда он любит и ненавидит одно и то же; все следят за его страданиями, но никому не жалко его, потому что его страдание с бешенством и криком на то, зачем люди хотят жить не так, как приказал он, и не диво, что он седеет, горбится, лицо его покрывается морщинами, как иссохшая глина трещинами, и тупеют его мозги. И все перед ним стояли бледная жена, трепещущая дочь, испуганные дети. Куда ж девались тихие вечера, ребячьи сказки, добрые молитвы, ясные поцелуи и светлая будущность? Семья разлагалась. Из недр ее встали новые силы — нравственные, непобедимые. Он точно разделился на две половины, глубоко заглянул в свою душу, слышал, как в ней шевелились проклятия; но он не смел дать им волю, потому что страшно стало душить чужую молодую жизнь, запрещать свежим людям мыслить, и веровать, и радоваться по-своему. Нельзя сказать: «Я решил за вас!» — все хотят думать сами за себя. «Вот первое, любимое дитя мое, которое я растил себе на радость, а что оно со мною сделало? — думал Дорогов. — Что будет с другими детьми? Неужели до глубокой старости мученье и тревога? Да, уж Надежда не послушается меня, не сломишь ее! И другие дети вырастут, — неужели сказать им всем: «Не имею права принудить вас ни к чему, живите как хотите»? Но вот он стиснул голову руками и проговорил: «О господи, да это хуже всякой пытки!..», потом поднялся со стула и начал ходить по комнате из угла в угол... Его совесть начала мучить неотступно. В тех случаях, когда душа человека сильно потрясена, при напряженной головной работе, часто бывает, что поступки наши в собственных

же глазах неожиданно освещаются болезненно ярко, самим же сделанное дело дает такой смысл, какого никогда и не предполагал человек. Это момент пробуждения совести, и особенно он труден для такой упрямой души, как Дорогов.

«Я тебя не прокляну, не выгоню из дома, оставайся среди нас... старой девкой... навсегда...» Сегодня же он говорил эти шальные речи и доказывал, что в них ненарушимое, крепкое его слово; а теперь ему было мучительно тяжело припомнить, как он заклинал свою родную кровь, молодую жизнь дочери, любимой Нади, на всегдашнее девство и попреки родительским кормом... Доходило до того наконец, что он сам себе не мог уж доказать свои права, и точно нож поворачивался в его сердце... Ему захотелось простить и примириться со всеми, но не нашлось силы и решимости сразу покончить это дело. Он готов был тянуть собственное горе, оттягивая время час за часом и дожидая, не откроется ли сам как-нибудь исход из его положения. Самая минута прощения была для него тяжела. Он был бы рад, если бы за него кто другой сказал либо они сами догадались, что он потерял над ними власть и не хочет больше борьбы. Ему тяжело было разверстаться с своими старыми грехами, прямо, откровенно и благородно положить конец неурядице семейной. Вместо слова и дела на душе его являлись мысли: «Зачем все это случилось?», и даже пустые мечты о том, что будто ничего и не было — ни генерала-жениха, ни именинного праздника, ни родственного совета, вопля и шепота дочери и душевных потрясений. Он струсил, закрывал глаза себе, насильно хотел остановить требования рассудка и совести и отдавался ожиданию, что сами события придут и дадут знать, как быть теперь; но действовать он не мог — духу не хватало, и в этом неисходном положении тоскливого ожидания и мления он так и замер. Душнее нет той жизни, в которой участвующие лица не действуют, и нисколько не утешительна та истина, что в романе Нади не будет никаких событий, что надо ждать и терпеть, превратиться в автомат и никого не слушать; да, лучше борьба, скандалы, ломка, на виду совершающиеся тайные свидания, запрещенные поцелуи и письма, нежели это внутреннее, мертвящее удушье. И никто не действовал, — все ждали. Анна Андреевна ничего пока не пред-

принимала. Есть род женщин, по натуре умных, честных, кротких, всю жизнь свою живущих обязательною любовью; с удивительным самоотвержением они вечно верны и святы, ни одна мысль грешная не посещала их душу, и сквозь всю дрянь, окружающую их, видна в них натура богатая, сильная, лишь только сдавленная фатумом... Эти женщины весь запас свободных привязанностей отдают своим детям, и муж для них нужен для того только, чтобы перевоспитать его, приурочить к дому, дать ему жизнь на заданную тему, и все для того, чтоб получить детей от мужа, чтобы было кого любить всей страстью женской любви... Анна Андреевна питала к мужу узаконенную любовь, и поэтому она хотя простила в душе любимую свою Надю, готова была дать ей вольную волю любить кого хочет, и настрадалось ее сердце, глядя на горе дочери, но она все-таки не понимала Надю, и, казалось ей, лучше нейти за Молотова. Она не хотела более настаивать на этом, но только потому, что не хотела более мучить Надю... Она уже решилась противиться мужу, и опять ее умная голова готовилась к подземной работе, сбираясь по-прежнему вышивать тонкими шелками по канве семейной жизни; но пока она не нашлась, что делать, и потому только примкнула к своей Наде и с непобедимым терпением собралась выносить гнет тихо движущихся событий, выжидая, скоро ли возвратится ее влияние на мужа... Все остановилось и замерло. И положение Нади никогда не было так печально, как теперь. Полное, холодное отчаяние пало на ее душу, и несколько раз приходили мысли, отрицающие счастье; на будущность ложилось флеровое покрывало, и повторялись бессознательные слова, против которых так горячо защищался Молотов: «Все примиряются... это неизбежно... Это не покорность, а неисходность...» Она поверила крепкому слову отцовскому, не зная того, что он и сам был не рад этому слову и больше не верил ему; а Наде все-таки пришлось пережить душою нерадостные мысли: «Неужели я забуду Егора Иваныча? неужели это правда? Ведь все забывается, все пройдет, и вот через какие-нибудь пять-шесть лет самый образ Молотова потеряется из памяти, сотрется силою времени, как пропал из души образ любимого дедушки и младшего брата, как все стушевывается и забывается. И он меня позабудет, — иначе

нельзя, не бывает... Но все-таки я не пойду за Подтяжина — он противен мне, и я его ненавижу». Так она говорила, а сама без ужаса не могла себе представить, что за жизнь готовится ей среди родной семьи; она едва не призывала забвение, — оно невольно приходит на ум, когда уверены мы, что связь с любимым человеком порвана навсегда. Но ей страшно было подумать, что забвение придет к ней, — что́ она тогда будет?.. И так было трудно на душе, что будто случилась между ними не простая разлука, а развод совершился... И она, как все, стала ждать, что скажут события, не выручит ли завтрашний день, не случится ль что на следующей неделе? Так никто не действовал, и жизнь остановила на время свой медленный ход. Неужели же так ничего и не случится, и тем кончится дело, что душно всем станет в спертой атмосфере, среди глухого молчания, до того невыносимо, что разбегутся эти люди в разные стороны, и долго потом будет им невесело встречаться между собою? Всем приходилось ждать, — и Дорогов, и Анна Андреевна, и Надя, и Молотов, и дети, и родня — все ждали, и только... Недаром сказал Игнат Васильич: «Это хуже всякой пытки!..» Хуже и есть. Вот какие в наших обществах возможны романы, и совершаются они сплошь и рядом. Даже противно! — без движения, почти без завязки, с секретным, ото всех закрытым развитием, с обязательной любовью, и действующие лица не действуют... А главная причина, узаконенный жених с зачаделым своим ликом, до сих пор стоит в стороне и не является на сцену. Скучная действительность!.. Гадко!..

Молотов сидел у себя дома, подле стола. Перед ним стоял портрет Надин, подаренный ему Череваниным. Художник успел унести портрет с собою, когда должен был прекратить работы у Дороговых.

«Как поздно пробил мой час, — думал Егор Иваныч, глядя на лицо девушки. — Чем я отплачу тебе за твою любовь и за то терпенье, которое тебе нужно теперь? Настрадалась ты, бедная, за то, что хотела жить со мной; но что я тебе дам в жизни? Все, что ты хочешь. Все мое сделается твоим, и недолго же нам осталось мыкать горе: запремся в наши комнаты, состроим жизнь по-своему, никого не спрашиваясь, и прежде всего

будем жить для себя, для двоих только, и любить друг друга. У людей ничего не выпросишь, не дождешься от них радости, и не надо — без их помощи проживем».

Глаза портрета прямо смотрели ему в лицо. Он встал и отошел в сторону — смотрят глаза, спрашивают. Долго и пристально вглядывался Молотов в портрет Нади. Он выяснился перед ним и вырезался; отделялись лицо, руки, грудь. От усиленного внимания образ Нади встал перед ним в воздухе, как живое существо. Не мог он угадать, о чем эти живые, печальные взоры невесты хотели спросить его. Он опять сел и мысленно беседовал с Надей. До сих пор Егор Иваныч не мог назвать ни одну женщину ангелом и стать перед ней на колени, а теперь сами собою являлись ласковые имена, которые часто для постороннего лица кажутся так изысканны и сантиментальны. Не будем повторять их.

Егору Иванычу не хотелось, чтобы теперь зашел к нему Череванин, который, несмотря на свою готовность помогать, не в силах был воздержаться от красного словца, которым охотно поддразнивал своего приятеля, так что стал ему в тягость и часто доводил до страшного расположения духа... Молотов давно уже сделался ровным и спокойным мужчиной, научился сдерживать себя, стал глубже и сосредоточеннее; антипатии прежних лет перешли в полное равнодушие и теперь не составляли для него вопроса. Но в настоящее время он был оскорблен, люди хотели уничтожить его счастье, для которого он много лет работал, запрещали ему любить, обижали его Надю, и внутри его все кипело и волновалось, как в былые годы, а Череванин своими бесцеремонными речами хватал за больные места. Он мог выйти из себя и вот почему не желал посещения художника. Не привык он так бездеятельно, пассивно участвовать в жизни; а между тем ему приходилось сидеть сложа руки, потому что пришлось столкнуться с каким-то особым, замкнутым, наглухо застегнутым в чиновный мундир обществом. В те минуты, когда он представлял себе, что Надя одна-одинешенька страдает, а он не может пальцем шевельнуть для ее помощи, ему становилось совестно, он горел от стыда и, кажется, способен был решиться на что угодно; но во что бы то ни стало приходилось ждать, а это было не совсем в его натуре.

Теперь мы застали Егора Иваныча довольно спокойным. Его волновали надежды и гордые мысли.

— И я теперь буду не один на свете, — говорил он себе, — и я нашел свою родню, совью себе гнездо. Недаром я копил эти цветы, картины, книги, фарфор и серебро. Она будет здесь жить; тут мы будем сидеть, читать и беседовать. Все, к чему я стремился, скоро может осуществиться в моей жизни. Теперь в сторону все эти необъяснимые вопросы; я знаю, зачем буду жить на свете... я просто любить и жить хочу. Стоит лишь припомнить пройденную дорогу — сколько забот, труда, часто унизительных положений пришлось вынести для того, чтобы сказать наконец: «Я сам, один, без всякой посторонней помощи сумел прожить и выбиться из бедности. Кому я обязан своим комфортом и довольством? откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфор? Мне никто и ничего даром не давал; судьба меня бросила нищим и голодным, провела чрез страшную школу бедности, и вот я стал копить деньги, я люблю их, потому что люблю независимость, я сам себя должен прокормить... никто воды даром не даст напиться без того, чтобы не согнуть спины... Ненавижу я хлеб чужой, и никогда я не пожирал ничего чужого... Все, что есть у меня, заработано своими руками... Все свое. И устрою же я себе жизнь как хочу, и никто не посмеет от меня потребовать отчета, зачем я живу на свете... Не будет по-вашему — Надя придет сюда, и ей одной буду благодарен за свое счастье, весь отдамся ей, потому что люблю ее...»

Он взглянул на портрет и прошептал:

— Добрая моя, ты единственный человек, которому я дорог и близок!.. Спасибо тебе... Никогда я тебя не разлюблю, потому что давно ты мне родная... О, как я буду работать для тебя!..

Он смотрел на Надю. В увлечении ему показалось, что портрет ресницы поднял; он наклонился и поцеловал его. После поцелуя ему страстно захотелось увидеть Надю, взять ее у отца и матери и увести из дому; разгоралось и кипело сердце, и невыносимо досадно было, что все пути заказаны к любимой женщине. Он встал в волнении и спрашивал себя: да кто же запретит любить им друг друга?

Раздался звонок...

— Череванин идет! — проговорил с досадой Молотов и отошел к камину.

— Жив ли, душа моя? — сказал художник, входя к нему. — Вона!.. да ты как бык здоров, а влюблен!.. Страдать, братец, следует!.. Надя не теряет же времени — делает свое дело... Я с кухаркой сошелся, — за рубль какого хочешь амура продает...

— Что там? — спросил стремительно Молотов...

Череванин рассказал, что успел узнать...

— Скоро, значит, конец, — прибавил он, — потому что крупные сцены начинаются... Мы можем следить за ходом дела по мелочной лавочке, в прачешных и по всем кухням, потому что везде толкуют о том, что управляющий снюхался с дороговской дочкой. Словом, приличный романчик выходит.

— Ты всегда, Михаил Михайлыч, говоришь пошлости.

— Ну, вот это дело: выбраниться можешь, при сильной страсти хорошая мера. Когда я был несчастливо влюблен, мне однажды попала под руку кошка, я ей хвост надорвал, и что же? — легче стало...

— Перестань, Михаил Михайлыч, и так тошно.

— Ничего, пройдет...

— Наконец, это бессовестно с моей стороны ничего не делать, тогда как она измучилась и настрадалась...

— И все-таки тебе шевельнуться нельзя...

Молотов сложил руки и остановился перед художником...

— Вот у Кукольника в повестях, так там все какое-нибудь высокое лицо соединяет любящие сердца; но ныне таких штук не бывает... А то спасают иногда даму сердца во время пожара, нашествия иноплеменников или наводнения, — тогда она, как приз, принадлежит избавителю; и еще есть средства: крадут девиц, свертывают шею их соперникам или продают свою душу черту, — это очень практический господин; но, к сожалению, все эти меры не в правах гражданского чиновника... Ты что за птица? какой у тебя чин? Сиди-ко себе да кисни... Время само придет.

Молотов вышел из себя...

— О, проклятое положение! — сказал он, стиснув зубы.

Прошелся он по комнате...

— Нет, надо наконец решиться...

— Подождать, — подсказал Череванин...

Молотов взглянул на него сердито...

— Ты, кажется, находишь удовольствие бесить меня...

— Экой ты какой ядовитый!

Молотов окончательно вышел из себя... Он схватил шляпу и отправился к двери...

— Эй, куда ты утекаешь?

— Отстань ты от меня!

С этими словами Егор Иваныч скрылся...

— Свежим воздухом подышать захотел? Что ж, это хорошо... Помогает... А сделал бы моцион верст в пятьдесят, как рукой сняло бы... Постой же, я на тебя карикатуру напишу...

Череванин достал карандаш и бумагу. На первом плане, сверху, с распростертыми руками, красовался генерал-жених и протягивал для поцелуя губы. Подписано: «Сиволапый медведь по поднебесью летал, поросяточек щипал». Потом изобразил Дорогова, в поджаром виде, с подписью: «Говори, чего хочешь, пирога или хлеба?» и ответ Дорогова: «Мне все одно, давай хоть пирога». Под супругой Дорогова стоял текст: «Тптпрунды, баба! тптпрунды, дед! хватилися, хлеба нет; стала баба деда мять, деду где же хлеба взять?» Молотов с сонными глазами и разинутым ртом; Надя плачущая; под ними: «Терпения имате потребу». Дальше сам Череванин шел под руку с дамой; внизу написано: «Моя любовь отвечает: «Ах, Михаил Михайлыч, никак нельзя»...» Серию карикатур заключал Касимов-отец, со словами к изображенным лицам: «Милостивые государи, кто от любви чахнет, а мы от геморроя!» Карандаш его разыгрался, и он, увлекшись карикатурами, тешился по крайней мере часа три...

Между тем Михаил Михайлыч и не подозревал, что Молотов на скандал решился. Он отправился к Подтяжину с намерением просить его отказаться от Надежды Игнатьевны, а если не согласится добровольно, то напугать его и принудить насильно. У него начали рождаться довольно оригинальные логические построения.

«Чего тут ждать? — думал он, торопясь к Подтяжину. — Надо действовать... Как?.. А как они действуют... Что за благодушие, что за щепетильная разборчивость

в средствах?.. Против насилия нечего церемониться и бояться поднять палку... Все средства, употребляемые врагом, позволительны и против него... Это не иезуитство, а обыкновенное житейское дело, естественная защита... Что ж я предприму?.. А что бог на душу положит!.. Объясню, в чем дело, и сначала буду просить отказаться от Нади; если же он не согласится, я не задумаюсь схватить его за горло и насильно вырвать отказ. Чем это не принцип: не желай другому, чего себе не желаешь, и значит, если ты делаешь гадость, то и тебе, нисколько не стесняясь, могут нагадить? Тут не цель оправдывает средства, а только люди борются равным орудием; это вполне законное и необходимое дело, иначе всегда и ото всех будешь обижен! Тяжело наконец стало! Чего еще ждать? Того, что ли, когда у Нади, измучивши ее, вырвут согласие и об'венчают с нелюбимым человеком?»

С этими мыслями он входил к Подтяжину. Когда Молотова приняли и он отрекомендовался генералу, генерал спросил:

— По службе?

— Нет, по личному делу.

— А, так прошу садиться.

Молотов сел...

— Что скажете? — спросил Подтяжин.

Молотов приступил к делу прямо, без обиняков:

— Вы желаете жениться, ваше превосходительство?

— А вам что за дело?

— Ваша невеста Надежда Игнатьевна Дорогова?

— Что за допрос, я не понимаю?

— Ваша невеста любит другого...

— Что?

— Она не хочет быть вашей женою...

— Вы нелепости говорите — у меня есть письмо от ее отца.

— Но дочь не согласна, ее принудили...

— Принудили? Откуда же вы это узнали? Где доказательства?

Генерал нахмурил брови. По телу Молотова пробежала от досады нервная дрожь.

— Я знаю того человека, которого она любит...

— Кто ж это?

— Я сам, — ответил резко Молотов...

— Вы не кричите и не горячитесь, а говорите толком...

— Она моя невеста, — ответил Егор Иваныч.

— Кто ж после этого моя невеста?

— А я почем знаю?

— Но у меня есть письмо ее отца...

— Я вам и говорю, что отец принуждает ее идти за вас насильно. Разве вы желаете, чтобы ваша будущая жена любила кого-нибудь другого, а вас ненавидела?

— Нет, не желаю; но расскажите же наконец, что там такое случилось?

Молотов начал рассказ, причем, разумеется, не пожалел красок, когда излагал семейные дела Дороговых, особенно, когда касался Нади, и заключил рассказ свой обличительным словом против безнравственности выдавать замуж дочерей насильно...

Подтяжин слушал Егора Иваныча внимательно, «и на челе его высоком не отразилось ничего».

— Зачем вы горячитесь, милостивый государь, — отвечал он спокойно, — мне все равно, на ком ни жениться; но, очевидно, я не расположен вступить в брак с женщиной, которая способна влюбляться...

Молотов повеселел.

— Я человек пожилой, степенный, и у меня их было две на примете, и если эта не хочет, бог с ней, — найдется другая...

— Так вы откажетесь? — вскрикнул с радостью Молотов.

— Знаете дочь Касимова? — спросил генерал, не отвечая на слова Егора Иваныча...

— Знаю.

— Какова она?

— Прекрасная девица.

— Сколько ей лет?

— Двадцать три года...

— Умеет держать себя в обществе?

— Да.

— Хорошая хозяйка?

— Почти весь дом на ее руках...

— К страсти неспособна?

— О нет.

— И ко всему этому недурна?

— Почти красавица...

— Чего же лучше! Вот я на ней и женюсь; мне решительно все равно. Значит, вы напрасно выходили из себя.

Молотов радовался такому обороту дела и с любопытством рассматривал лицо Подтяжина. Оно было важно, степенно, во всеоружии генеральского чина, и показывало, что этот форменный человек никогда не позволит себе вступить в законный брак с женщиной, которая не только полюбит другого, помимо его, но и с такой, которая полюбила бы его самого, генерала Подтяжина. Он никому не позволит влюбиться в себя, да и сама природа поддержит его в этом случае. Подтяжин, с своей стороны, обязуется отпускать жене ежедневно определенную цифру поцелуев, давать ей жалованье и, наконец, согласен иметь детей, а жена обязана представить в своей персоне те особые приметы, которые он выставил Молотову в допросных пунктах по поводу Касимовой. Молотов благословил судьбу, что генерал имеет такой абсолютно архивный темперамент, что у него такой огромный запас сухости в сердце, что зачаделый лик его боится страстных поцелуев. «Как это хорошо!» — думал Егор Иваныч и радовался.

— Но, — сказал Подтяжин, — пока не объяснится дело, я не могу дать вам положительного ответа...

— Так поезжайте, ваше превосходительство, теперь же и спросите Надежду Игнатьевну лично, — вы и уверитесь, что я говорю правду.

— Это так, но у меня такая пропасть занятий. Однако делать нечего, надо потерять часа полтора времени... Мне все одно, на ком жениться, но дело требует обследования... Поедемте...

— Не замолвите ли, ваше превосходительство, в мою пользу слова?

— Кому?

— Дорогову.

— Я подумаю.

И вот Подтяжин поехал с Молотовым сказать Игнату Васильичу, что если Надя не хочет быть его женою, то он не сердится, ему все равно, только надо было раньше дать знать о том, потому что он человек занятой и у него мало времени. Из множества сплетней,

глупостей и пошлостей образовались было серьезные препятствия для любви Молотова, и вот то же лицо, которое было причиною всех несчастий, развязывало все дело. Кто бы мог подумать, что оно примет такой исход? Сколько пережито напрасных страданий и нелепой вражды, сколько обид нанесли друг другу самые близкие люди, как долго они будут помнить зло и горе! — и вот вдруг оказывается, что жених-генерал, причина всех несчастий, равнодушно и без спору уступает свое место другому и, пожалуй, готов превратиться в посаженого отца Молотова. Лишь только он явился в семье Нади, жизнь ее потемнела, все около ее стало разрушаться и стягиваться в заколдованный круг, готовый задавить ее совсем... А он все стоит в стороне, ему и дела нет; настрадались и отец, и мать, и вся родня; дошло до страшного удушья, до последнего часа жизни, и тогда лишь он является и говорит: «Да мне все равно, я женюсь и на другой».

Нелепые страдания, ненужная возня!..

Молотов передумал все это, стоя на лестнице, которая вела в квартиру Дороговых, и дожидаясь, скоро ль выйдет Подтяжин, чтобы узнать, чем кончилось дело. Он сказал генералу, что будет его ждать. Но вот он вдруг услышал, что кричат сверху его имя. Он стремительно бросился по лестнице и через мгновение был у Дороговых... Он стоит среди старых знакомых, с которыми он жил душа в душу несколько лет и которые, когда столкнулись интересы, едва не прокляли его... Всем было неловко. Надя радовалась, хотелось ей увести его в свою комнату и наговориться досыта; Игнат Васильич не знал, что делать, и молчал; наконец Анна Андреевна нашлась и для такого торжественного случая заговорила о погоде... Генерал раскланивался с хозяевами, помышляя о том, как бы завтра повидаться с Касимовыми, не доверяя более своей судьбы чиновнику особых поручений.

Вечер тянулся вяло. Молотов не успел переговорить с Надей. Когда он уходил, Надя шепнула ему:

— Приходи завтра.

Он и сам думал о том же. Череванина он не застал дома. Егор Иваныч нашел на столе карикатуры его и, так как был счастлив, то долго смеялся...

— Завтра наша свадьба, — говорил Молотов Наде спустя месяц после примирения, сидя с нею в маленькой ее комнате.

Надя скоро поправилась после тучи, пронесшейся над ее головой, похорошела, лицо ее цвело счастьем и радостью. Она ничего не ответила Молотову, хотя глубоко взволновалось ее сердце от слов Молотова. Она только взглянула на него, покраснела, застенчиво улыбнулась и хотела, чтобы Молотов сам догадался в эту минуту поцеловать ее.

Молотов поцеловал ее.

— Надя, — сказал он.

— Что?

— Я все думаю, сумею ли сделать тебя счастливою.

Она посмотрела на него с удивлением и спросила:

— Отчего ты так думаешь?

— Оттого, что я сам только от тебя и научился счастью...

— От меня? твоей ученицы?

— Да... Ты не знаешь, до чего я доживал в своей холостой квартире...

— Что ж я с тобой сделала?

— Жизнь мою осветила.

Надя глядела на него внимательно. Она вспомнила, чем был для нее Молотов, вспомнила рассказы о нем Череванина и, наконец, свое давнишнее желание разгадать личность Егора Иваныча. Теперь она думала, что Молотов выскажется и накануне свадьбы отдастся ей весь откровенно.

Молотову действительно хотелось рассказать Наде, чтобы она знала, кого завтра назовет своим мужем...

— Знаешь ли ты, Надя, что я до сих пор человек без призвания?

— Как же это?

— Да так же, как и тысячи людей. Помнишь, я говорил тебе, как не хотелось идти в чиновники, и, однако, я должен был надеть мундир?

— Помню.

— Мне захотелось отделаться от службы не по призванию и всю жизнь не мог от нее отделаться. Нам говорили, что отечество нуждается в образованных людях, но посмотрите, что случилось: весь цвет юношества, все, что только есть свежего, прогрессивного, образован-

ного — все это поглощено присутственными местами, и когда эта бездна наполнится? Редкий человек выберет карьеру по призванию; редкий образованный человек не убежден, что он родился чиновником. Действует какой-то бюрократический фатум, и всё у нас юристы!.. Лишь только кто-нибудь выдирается из своей среды, и думает, как бы сделаться человеком; выходят ли люди из деревни, бурсы, залавка или верстака, — куда они идут? Всё в чиновники! Помещик прожился в деревне и ищет места, это значит — чиновного места; военный выйдет в отставку и хочет нести другую службу, это значит — чиновную службу. Но особенно надо удивляться мелким чиновникам. Никто не работает так усердно, как эти несчастные переписчики чужих дел. В надежде, что авось-либо дадут наградишку, прибавку жалованья, пособие, они трудятся не покладывая рук. Сотни тысяч живут единственно перепискою бумаг, так что для них достать частное занятие — значит достать переписку. Какое странное призвание — родиться единственно затем, чтобы перебелить в жизнь свою до миллиона черняков и потом сойти со сцены! Иной лишь проснется, у него дома наемная работа, потом в должности пишет, придет домой и опять работает пером до истощения сил, до одурения. Представьте себе, что человек всю жизнь только и делает, что, захватив памятью строку, написанную чужой рукой, переносит ее на бумагу; целую жизнь держит в своей голове чужие, не интересующие его, не нужные ему мысли, и представьте, что за все это он едва-едва существует... Чиновники — самый испитой народ. А между тем надо сознаться, что большинство образованных людей находится именно в этом сословии. Чиновничество — какой-то огромный резервуар, поглощающий силы народные. Вот и я, мужик по происхождению, по карьере все-таки чиновник...

— Как же это случилось?

— Со мной и все случалось. Я не выбирал себе того или другого положения, а оно само приходило, помимо моего выбора и воли. Случилось, что я попал к профессору на воспитание, потом в Обросимовку, потом на губернскую службу, потом скитался по России, перебрал множество занятий и наконец попал в архивариусы, — все случилось. Выделился я из народа и потерялся. Натура звала на какое-то другое дело, во мне было

полное желание определить себя, отыскать свою дорогу, самостоятельно выбрать род жизни, и ничего не мог я сделать, — судьба насильно надела на меня мундир чиновника и осудила на архивную карьеру.

— Что же за причина тому?

— Великая причина, страшная сила!

— Какая?

— Нужда, «безживотие злое», как выражается Михаил Михайлыч.

Молотов, сбираясь с силами, провел рукой по лбу.

— Было время, не жалел я себя, способен был на всевозможные жертвы. Прослужив полтора года в губернии, я очень хорошо понял, что чиновничество — не мое призвание. Когда снял мундир, то думал: «Не пойду же я в чиновники, буду заниматься частными делами, не увидят меня более в мундире никогда». Вот и пошел парень гулять по свету, догулялся до довольно узкого существования. Я поехал в Петербург, думая заработать здесь копейку. Петербург мне родной город и потому сманил меня к себе. Но с этого-то времени судьба и начала меня преследовать; она не давала мне отдыху и молодые лета растратила на добыванье насущного хлеба. На пути в столицу, «домой», как я говорил тогда, хотя у меня не было в Петербурге ни роду, ни племени, — пьяный ямщик сделал мне карьеру. Он ударил телегу в пень, я вылетел на землю и сломал себе ногу. Еле протащился я две версты, весь разбитый, до уездного городишка, где и слег на наемной квартире, у дьячихи. Тяжелое это было время, грустное, бесприютное и холодное, как русская зима... проклятое время! Лежал я с затянутыми в лубки ногами; пошел бы дальше, да нельзя, и безотрадно пересчитывал, как рубль за рублем уходили на лечение из двух запасных сотен. Вот когда я в первый раз понял, что значит в жизни монета! Пять месяцев я пролежал в болезни, и когда выздоровел, то в кармане всего оставалось двадцать восемь рублей, а до столицы шестьсот верст. Ну, надо подниматься и сбираться в дорогу, как вечный жид, без цели, без назначения. «Что же я за миф?» — думалось мне. Горько стало на душе. Простился я с дьячихой, расспросил путь и направился на ближайший губернский город пешком, сберегая каждый грош. Но через месяц у меня не было ни копейки; я продал часы и пошел дальше по направлению к Петер-

бургу. Наконец скоро осталось нечего продавать и пришлось остановиться на постоялом дворе, и стал я справляться, не нуждается ли какой помещик в учителе для детей. Никому не надо было. Дошло до последней беды — платить нечем было дворнику. Что было делать? Чужой хлеб есть? протянуть руку Христа ради, воровать? Я здоров был и силен, и нисколько мне не стыдно вспомнить, что я на постоялом дворе колол дрова, рубил капусту и нянчил ребят хозяйских, за что меня и кормили. Может быть, в этом и было мое призвание! В это время напала на меня апатия, и я ничего не делал, справляя день за днем черную работу, — а сработать я мог больше всякого мужика, потому что здоров и силен, как медведь... Два месяца я прожил чисто народной жизнью и узнал, что это совсем не идиллия, — тяжела она... Но, право, когда я разговаривался с ними, то встречал много добрых душ, которых никогда не забуду... Здесь я прожил около двух месяцев. Наконец выпало местечко. Надо было одному помещику приготовить сына в гимназию. На это ушло еще семь месяцев... Сам же я и отвез своего ученика в столицу, где и поместился он у своего родственника; а я, употребив около четырнадцати месяцев на переселение в Петербург, долго не встречал не только родного, но и знакомого человека. Заняв квартиру за четыре рубля, я стал выглядывать, где бы зашибить копейку. Один университетский товарищ нашел мне вакансию у генеральши Чесноковой — опять учить детей. Дети были очень понятливы и полюбили меня; но генеральша, женщина полная, рослая, с лошадиной комплексией, хотела вызвать меня на такие отношения к ней, и жалованье даже предлагала за новую работу, что я только плюнул на порог ее дома и больше не являлся к ней. После этого быстро сменялись одно за другим занятия. Я попал в купеческую контору, жалованье хорошее положили; но здесь все клонилось к злостному банкротству. Я счел долгом предупредить о том кредиторов. Коммерческие люди так озлились, что наняли двух приказчиков поколотить меня... Если бы поколотили меня, я от тебя этого не скрыл бы, но они струсили... После этого я нашел место бухгалтера при одном акционерном обществе, меня и оттуда скоро выгнали. После этого добыл корректурные занятия при журнале; но скоро редактора какой-то князь,

меценат литературный, просил дать занятия одному бедному студенту, и меня сместили. Снова нашел учительское место, — так денег не платили. И ты думаешь, что это меня только судьба преследовала, а другие счастливее на занятия и вольную работу? Нет, милая моя, это общее положение всех чернорабочих. У нас частная работа менее развита, чем общественная. Вольный труд неразвит и унизителен. Наконец, и откуп, открывающий объятия для многих наших образованных юношей, ласково приглашал к себе нуждающегося человека, но туда я и сам не пошел. Попытался я переводами заняться, ничего не вышло; написал три фельетона и получил по восьми рублей за каждый, — значит, я был и литератором. Какие только должности не проходил я, бился как рыба об лед, а воровать не хотелось, хотя, испытавши, что значит честный труд, смотрел на людей снисходительно. И вышел из меня человек, порождение нашего времени, пролетарий, добывающий насущный хлеб всевозможным трудом, долго сбирающий собственность и в один незаработный год пожирающий ее.

— Боже мой, как тяжело жить на свете! — проговорила Надя.

— Да, голубушка моя...

— Много же тебя оскорбляли...

— Ничего, отерпелся... Смешно вспомнить, как в самой юной молодости выходил из себя за то, что одному помещику вздумалось выбранить меня за глаза, а теперь хоть в глаза брани меня — так мне все равно, даже лень и сердиться... Мне-то что за дело, что обо мне говорят другие? Я сам себя знаю! Я прежде не понимал самой простой вещи: господа, презирающие нас, просто-напросто несчастны, бедны умом, невоспитанны. Мне их жалко теперь. Стала появляться в моем характере какая-то одеревенелость, вследствие которой меня ничем не проймешь: сплетня, дурное мнение лица или кружка, сословное презрение на меня не действуют. О чем тут хлопотать и шуметь?.. Пусть их!.. Они считают себя благодетелями, давальцами, меценатами?.. Что же я-то стану делать, когда у них голова скверно и уродливо устроена? Не сердиться же, в самом деле, когда, например, лает собака; из сотни собак разве одна не бросается на незнакомого, на не своего, и таких собак не любят хозяева. Но мало ли есть неприятностей

на свете? Дождь идет, клопы кусают, душно в воздухе, прыщи на лице — и из-за этого волноваться? Я настолько независим ото всех, что могу считать людей, презирающих меня, ничтожными. Что ни думай они обо мне — мне все равно. Моя квартира для них заперта, как и их для меня, — значит, мы квиты. Я их не пущу к себе, живу без них, и, право, оттого мне не хуже. Презрение их ничтожно и низко. Но не сразу же я дошел до такого благодетельного равнодушия; постепенно и медленно утихала сокрытая ненависть, пропадали насмешки и дерзости; самое презрение к ним пропало, и наступило полное равнодушие, так что обиды не шевелят и сердца моего. Жизнь, Наденька, вытекает не из принципа, а из натуры, не из теории, а из причины. Поэтому у меня и должно было родиться особенное, оригинальное понятие о чести. Я глух к чужому отзыву о своей личности, — он даже не раздражает меня нисколько: «Это ваше мнение, говорю я, а не мое, — я не так думаю»; а больше мне ничего и не надо. Когда сыплются на человека в продолжение многих лет несправедливые оскорбления, он становится к ним бесчувствен и равнодушен. У нас свой гонор, особенный; например, иного труса вызовут на дуэль, и он долгом считает принять его, не откажется ни за что, а я откажусь, хоть не трус вовсе; скажут, что это бесчестно, я не обращу на то никакого внимания; пристанут сильно, стащу в полицию — вот и все. Иному господину стыдно сказать, что у него есть невеликосветские друзья и знакомые, а я ведь мужик и, знаешь ли, нахожу особое удовольствие, когда у княгини Зеленищевой, детям которой даю уроки, выпадает при гостях ее случай вставить такое словцо: «Вот когда я однажды рубил капусту на постоялом дворе», либо что-нибудь вроде этого. Михаил Михайлыч тоже любит потешиться в этом роде. Рисуя портрет какого-нибудь аристократа, он вдруг в его салоне расскажет, как он Христа славил, читал по покойникам и собирал в радуницу на могилках блины. Презанимательно выходит!

Перед Надей раскрывалась действительная жизнь, раскрывался характер Егора Иваныча, и она с пожирающим вниманием слушала его рассказ.

— Да, трудно заработывать в нашем обществе хлеб своими руками. Лишь откроется место учителя, корреспондента, управляющего домом, секретаря и т. п. —

сейчас являются сотни претендентов. Мне казалось, да и теперь часто думается, что в самом честном-то труде много нечестного. Отчего мне работу, а не другим? Ведь и они есть хотят? сделают то же, что и я? Права одинаковы на работу. Почему же мне ее дали? Потому что счастье, ловкость, случай? Работать всякий станет, будьте уверены: как не трудиться, когда желудок кричит; «Работы, работы!» Но и самую работу надо завоевать, как дикарь завоевывает у дикаря скот и пожитки. Мы постоянно поедаем друг друга. И неловко, моя Наденька, было принимать участие в борьбе из-за куска хлеба, из-за пожитков. Но что ж делать? Они есть хотят, и я хочу; они имеют право на работу, и я тоже; они сделают хорошо дело, и я хорошо; я неправ, что отбиваю работу у них, и они неправы, что отбивают ее от меня. Много ли людей, которые работают не потому только, что есть хотят? Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги всем нужны. Были когда-то побуждения иные, высшие, а теперь приобретать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вот сознаю, что я тоже приобретатель. И сегодня, и завтра, и целые годы надо прожить, и прожить так, чтобы в лицо не наплевали, — значит, надо работать без призвания к работе. «Злато — металл презренный», — кто это сказал такую чепуху? Деньги, монета — учреждение государственное; за деньги можно хлеба купить, современных идей, потому что они не на улице валяются, а продаются в книгах, можно купить свечу и поставить ее какому-нибудь угоднику. «Все куплю, сказало злато; все возьму, сказал булат» — это армейский софизм, потому что и сам-то булат куплен на деньги. О, если бы побольше злата, а булатов поменьше!

— Как же ты опять поступил чиновником? — спросила Надя.

— Отведав вольного труда, я нашел, что департамент вернее обеспечивает человека. Неутешительно, а справедливо. Но на этот раз я пошел в департамент без всякой мечты о деятельности общественной, а просто на казенную пищу, на государственные харчи. Не любовь к труду, приносящему деньги, а именно любовь к деньгам руководила мною. Я освоился со службой, втянулся, но, по совести сказать, не люблю ее. Отношения к служ-

бе у меня те же, какие у иного школьника к уроку. Урок лежит в голове — вот падежи, плюсы, тексты, хронологическая цифра, французский глагол, — а школьнику что за дело до всего этого? Урок сам по себе, школьник сам по себе. Лишь пришел я из департамента домой, мне и дела нет до него. Так ломовая лошадь тянет воз, а какая ей забота до него? Плеть повисла над спиной. И надо мной нужда нависла плетью. Я маленький механизм в огромной машине служебной. Механик заведет машину — и все механизмы, винтики, пружины, кольца и цепочки служебные приходят в движение; остановит машину — и мы остановимся. Главный болт работает, а мы уже вертимся за ним. Денег не дадут — заниматься не стану; дело остановится на половине — мне не жалко; уничтожьте мои труды — я не буду горевать. Отерпелся я и занимаюсь чем угодно, не чувствуя особенного влечения к предмету труда; но не скучаю занятиями, люблю самый процесс работы, потому что моя натура требует непременного движения. Я мелочной торговец и человек без призвания. Но, несмотря на механизм труда, моею работою всегда довольны, я точен и исполнителен. Иногда и скучно, но не обращаю на то внимания и работаю...

— Что же заставляет тебя быть чернорабочим?

— Ты думаешь, неужели одна любовь к деньгам и процессу труда? Неужели ты не понимаешь, что̀ значит чувство собственности? Оно может развиться до щекотливости, чтобы быть независимым, никогда не просить, никого не благодарить за кусок хлеба. Я горд, Надя, и не хочу, чтобы кто-нибудь служил для меня; а и захотел бы, так никто служить не станет. Положение вытекает прямо из обстоятельств. Я тебе говорил, что жизнь происходит из натуры, а не принципа, из причины, а не теории. Но не сразу я добился и такого положения в обществе. Много было потрачено сил душевных, терпенья и выжиданья, прежде нежели я освоился, огляделся, приобрел ловкость, такт и изворотливость, приобрел связи и рекомендацию и наконец обстановился. Я теперь вполне обеспечен, потому что, при даровой квартире и дровах за управление домом, могу проживать ежегодно до полуторы тысячи рублей, сыт всегда достаточно, одет прилично, помещен в тепле. Я люблю свою квартиру... Ты увидишь в ней, Надя, что-то семейное,

домовитость, порядок и приют. На стенах картины и канделябры, на окнах пальма, золотое дерево, фига, лимон, кактус и плющ, на столах вазы, на полу ковер, перед камином дорогой резьбы ореховое кресло. Я много положил забот, чтобы устроить свой кабинет изящно. В нем мы будем проводить время, читать, работать. Много ты у меня найдешь серебра, фарфора, мрамору и дорогих бобров. Я постоянно приобретал себе вещи, и каждая из них куплена обдуманно, с размышлением, по личному вкусу; вещь прочная и изящная. Я долго собирал книги, собирая их понемногу, и составилась библиотека всех моих любимых авторов. У меня есть отличный микроскоп, зрительные трубы и другие физические инструменты. Положенное число раз я бываю в русском театре и на итальянской опере; абонируюсь в библиотеке и читаю все лучшее. Я понемногу свивал свое холостое гнездо и десять лет копил усидчиво собственность. В шкатулке собственной работы у меня заперто более пятнадцати тысяч. Вот таким-то образом я одел себя, обул, поместил в тепло, среди красивой обстановки, добыл себе изящную в возможных размерах жизнь, и не стоит теперь передо мной каждый день, каждый час неотразимый, мучительный, иссушающий мозги вопрос: «Хлеба, денег, тепла, отдыху!»

— И ты счастлив был? — спросила Надя пытливо.

— В минуты доброго расположения духа почти счастлив. Мне думалось тогда: достаньте вы в столице ежегодно полторы тысячи, заработайте так, чтобы в каждой копейке могли дать отчет, за что она получена. Это трудно; у меня же есть деньги и совесть! Вспоминалось мне пройденное поприще: сколько забот, трудов, часто унизительных, пришлось вытерпеть! Тогда я не мог не ощутить довольства собой, душевного спокойствия и рад был, когда в это время заходил ко мне гость. Один, заметь, Надя, без чужой помощи, единственно себе я обязан моим комфортом. Мое сребролюбие благородно, потому что я никогда и ничего не крал, ни от кого не получал наследства, у меня ничего нет подаренного, найденного, заработанного чужими руками. Все, что у меня есть в комнатах, в комодах, на плечах, в кармане, — все добыто моей головой и руками. Ни материально, ни морально я ни от кого не зависим. Меня судьба бросила нищим; я копил, потому что жить хотел,

и вот добился же того, что сам себе владыка. Я, Надя, свободен и никому не дам отчета, как я живу и что думаю, кроме тебя, Надя. Часто среди этих мыслей возникал твой образ, и я долго и задумчиво сидел в кресле перед камином. В это время я был счастлив.

Молотов задумался, вспомнив былые дни.

— Но такое расположение духа не часто гостило в моей холостой квартире. Большею частью время шло ровно и спокойно; после труда и отдых, и обед, и пустой разговор — все имело свою прелесть. Я испытывал то физическое наслаждение, которое так хорошо знает чернорабочий, отдыхая после труда. Но душа спала, и когда просыпалась, я ощущал страшную скуку и тоску. «Экое дело, — думалось мне, — что я честен, не пью водки и в квартире у меня хорошо!.. Что в том толку?.. И не глуп я, и силен, и работать люблю, но куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добывание насущного хлеба!.. Благонравная чичиковщина!.. скучно!.. благочестивое приобретение, домостроительство, стяжание и хозяйственные скопы!..» Холодно становилось мне в своей квартире и пусто, и нередко я испытывал то состояние, когда и страх, и точно мучения совести, и отвратительная тоска теснились в мою душу... «Черт бы побрал, — думал я, — мое мещанское счастье, как говорил Михаил Михайлыч, и мою искусственную независимость в одиночку, без товарищества и любви». Иногда так тяжело становилось, что я готов был схватить и брякнуть об пол вазы, порвать картины, разметать цветы и статуи. Противно было думать, что из-за них-то я и бился всю жизнь... Вещами наслаждаться, книгами, театрами, а с людьми не жить! Когда-то жизнь мне казалась так широка, беспредельна. Я, Надя, родился космополитом, не был связан ни с какою почвою, не был человеком сословия, кружка, семьи. Казалось, так легко было вступить в свет. Но я был выходцем из своего сословия и потому, как все выходцы, не понимал, что многого требовать нельзя, что необходима умеренность, тихий глас и кроткое отношение к существующим интересам общества. Мы ломать любим, либо делаемся отъявленными подлецами, либо благодушествуем, как я благодушествую. С тупым изумлением смотрим мы на людей, потому что они не похожи на нас. Положение нелепое — торчать от всех особняком; пальцами начнут

указывать, на смех поднимут, возненавидят. Поневоле пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой же человек, как все, а дома устроить себе и моральную и материальную жизнь по-своему, завести своих пенатов, своих поэтов, общество и друзей. Что же делать, не всем быть героями, знаменитостями, спасилями отечества. Пусть какой-нибудь гений напишет поэму, нарисует картину, издаст закон, — а мы, люди толпы, придем и посмотрим на все это. Не угодит нам гений, мы не будем насильно восхищаться, потому что толпа имеет полное право не понимать гения... Иначе простым людям жить нельзя на свете... Правду ли я говорю, Надя?

Надя посмотрела на него и ничего не отвечала...

— Неужели запрещено устроить простое, мещанское счастье...

Надя ожидала, что он еще скажет.

— Надя, миллионы живут с единственным призванием — честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы...

Молотов подошел к ней.

— Ты согласна на это?

— Я... твоя ведь... — ответила Надя.

Молотов обнял ее...

. . . .
. . . .

В это время темное кладбищенство глянуло в двери.

. . . .
. . . .

Но Михаил Михайлыч, заметив, что Молотов и Надя обнимаются, поспешил уйти...

Тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно...

1861

Примечания

В настоящее издание вошли все дошедшие до нас художественные произведения Н. Г. Помяловского.

Рукописи Помяловского сохранились в очень небольшом количестве. Поэтому в большинстве случаев за основу взяты первоначальные прижизненные и посмертные публикации, но учтены также издания сочинений Помяловского, подготовленные его другом и биографом Н. А. Благовещенским: «Повести, рассказы и очерки» (1865) и «Полное собрание сочинений» (1868). Издание 1865 г. в основном повторяет журнальные тексты; в нем исправлены лишь некоторые ошибки (но вместе с тем допущены и новые). В издании 1868 г. впервые появляются интересные отрывки (отрывок «Они упражнялись в диалектике...» — в очерке «Зимний вечер в бурсе», несколько отрывков и фраз — в романе «Брат и сестра»). Все они включены в текст настоящего издания. Однако, наряду с исправлением опечаток, устранением явно случайных и цензурных искажений и пропусков, Благовещенский имел тенденцию кое-где исправлять текст Помяловского, подновлять его язык. Всюду, где с достаточной степенью уверенности можно предполагать редакторскую руку Благовещенского, его правка снимается.

Не передавая в точности пунктуацию и орфографию Помяловского, приближая их к современным нормам, мы сохраняем особенности, имеющие не только графический, но и интонационный и фонетический характер. Сохранены, например, такие формы, как «волоса», «плеча», «усвоивал», «противудействует», «без смыслу», «сбесился», «скрыпнула», «фиялка» и т. п. Явные опечатки и описки исправлены без особых оговорок в примечаниях.

Одним из основных источников при изучении жизни и литературной деятельности Помяловского до сих пор остается биографический очерк-воспоминания Благовещенского, впервые появившийся

вскоре после смерти писателя («Николай Герасимович Помяловский» — «Современник», 1864, № 3, стр. 115—154). Приведенные нами в примечаниях свидетельства Благовещенского заимствованы в большинстве случаев из этого очерка. Ссылки на другие его указания оговорены в каждом отдельном случае.

Махилов

Впервые напечатано после смерти писателя в журнале «Современник», 1864, № 5, стр. 155—168, в качестве приложения к биографии Помяловского, составленной Н. А. Благовещенским, со следующим подстрочным примечанием: «Этот недоконченный рассказ был писан Помяловским еще в старшем классе семинарии (в 1855 г.) для рукописного журнала „Семинарский листок"».

В биографии Помяловского Благовещенский сообщает о том, как был воспринят рассказ товарищами: «„Листок" на 7-м выпуске прекратился. В этом последнем выпуске Николай Герасимович поместил начало своего рассказа «Махилов», который произвел на класс огромное впечатление и показал товарищам, что Помяловский обладал силами недюжинными».

Материалом для «Махилова» послужили, по-видимому, рассказы товарищей о «старине и древних героях бурсы», «бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством», о которых Помяловский упоминает в написанных через несколько лет после «Махилова» «Очерках бурсы» (см. т. 2, стр. 69 и 116).

Стр. 47. *Ч.....в.* — Дальше говорится, что Ч.....в — губернский город, и притом южный; таким образом, место действия рассказа прикреплено к Чернигову.

Стр. 47—48. *Словесность, философия* и *богословия* — младший, средний и старший двухгодичные классы духовной семинарии. *Словарь, философ, богослов* — ученики этих классов.

Стр. 48. *Для нее настала рекреация со своим трехнедельным досугом...* — Рекреации давались семинаристам по создавшейся традиции несколько раз в мае месяце и продолжались обыкновенно один день, но не больше двух-трех дней. Может быть, в текст «Махилова» вкралась опечатка и вместо «трехнедельным» следует читать «трехдневным». Возможно, впрочем, что и в этой детали сказалась мечта о бурсацкой вольнице, пронизывающая весь рассказ.

Стр. 50. *Вот как жили при Аскольде...* — строки из «романтической оперы» «Аскольдова могила», либретто которой написал М. Н. Загоскин по своему одноименному роману, а музыку —

А. Н. Верстовский. Помяловский несколько перепутал последовательность строк.

Стр. 51. *То сей, то оный набок гнется* — строка из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак».

Стр. 53. *Петр Амьенский*, или Петр Пустынник (1050—1115) — французский монах, один из проповедников первого крестового похода; собрал ополчение из крестьянской бедноты, доведенной до отчаяния голодом и эксплуатацией и надеявшейся на улучшение своей участи.

Вукол

Впервые напечатано в «Журнале для воспитания», 1859, кн. 1, отд. 1, «Воспитательные очерки», стр. 10—32, под псевдонимом «И. Герасимов».

Цензурное разрешение номера журнала, в котором напечатан «Вукол», датировано 24 декабря 1858 г.; следовательно, рассказ написан не позже октября — ноября того же года.

Еще при жизни Помяловского, весною 1863 г., «Вукол» был перепечатан в газете «Очерки» (№ 87 от 31 марта) с пропусками, сделанными, по всей вероятности, редакцией газеты.

Стр. 69. *Дождит на праведные и неправедные* — пародийно использованные слова из Евангелия.

«Экой счастливец какой!» — цитата из стихотворения В. С. Курочкина «Счастливец», напечатанного в «Отечественных записках», 1857, № 12, стр. 731—732.

Стр. 70. *Начатки* — учебник «Начатки христианского учения, или Краткая священная история и краткий катехизис».

Стр. 71. *Грамматика Пожарского* — см. т. 2, стр. 312, прим. к «Зимнему вечеру в бурсе».

Стр. 72. *Первоуездный класс* — первый класс уездного духовного училища.

Стр. 74. *Мазепа* за измену Петру I был предан церковной анафеме. Как бранное слово имя Мазепы упоминается и в «Очерках бурсы» (см. т. 2, стр. 70).

Стр. 79. *Антиох Эпифан* (II в. до н. э.) — царь Сирии.

Стр. 82. *Кальвин* Жан (1509—1564) — религиозный реформатор.

Тебе говорят, что ты стоишь, а ты сидишь, — говори, что виноват. — Аналогичное «изречение» приведено в биографическом очерке Благовещенского: «Если ты стоишь, а начальство говорит тебе, что ты сидишь, значит ты сидишь, а не стоишь». По свидетельству Благовещенского, оно принадлежит инспектору Петербургской семинарии А. И. Мишину.

Данилушка

Впервые напечатано Благовещенским после смерти писателя в журнале «Женский вестник», 1867, № 3, стр. 89—105, с подстрочным примечанием, в котором, между прочим, было указано: «Печатая этот очерк, мы выпускаем все то, что заимствовано из него автором при составлении „Очерков бурсы“ и „Вукола“».

В биографии Помяловского Благовещенский, кроме того, отметил, что «Данилушка» связан и с «Молотовым»: «Многие места и мысли буквально вошли в повесть «Молотов» и приписаны Череванину». Речь идет, по-видимому, о детских впечатлениях Череванина (см. стр. 259). Эти места также отсутствуют в дошедшем до нас тексте рассказа.

Рассказ написан в 1858 или в начале 1859 г.

Благовещенский подчеркивает автобиографический характер «Данилушки»: «Под Данилушкой он, кажется, хотел описать самого себя, потому что личные впечатления автора видны во многих подробностях рассказа».

При печатании «Данилушки» в «Женском вестнике» одно место, «в котором Данилушка просит отца объяснить ему библейское сказание о том, что Саул разрубил коров на части и пр.» (стр. 93—94 настоящего издания), не было пропущено цензурой (Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1866, № 86).[1]

Стр. 90. *...читал с чувством, с расстановкой, даже с толком* — перефразировка стихов из «Горя от ума» Грибоедова:

Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой.

Стр. 100. *Диоклетиан* Гай Аврелий Валерий (245—313) — римский император, жестоко преследовавший христиан.

Мещанское счастье

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1861, № 2, стр. 669—760, с подзаголовком «Повесть первая».

Тотчас же по выходе номера «Современника», в котором было напечатано «Мещанское счастье», в Главном управлении цензуры возникло дело «о предосудительных статьях, помещенных в фев-

---

[1] Все цензурные материалы, использованные в примечаниях, хранятся в Центральном историческом архиве СССР в Ленинграде.

ральской книжке «Современника» за 1861 г., и о худом направлении сего журнала». Говоря о том, что «Современник» стремится «разрушить укоренившиеся частные убеждения русских читателей в общих истинах и... создать новые основы для законодательства, философского мышления, политического положения общества, социальной и семейной жизни, значения женщины и т. д.», что в нем господствует «дух порицания, часто в виде насмешки над государственными, сословными, церковными отношениями», член Главного управления цензуры А. А. Берте, наряду со статьями Н. Г. Чернышевского, М. А. Филиппова и романом Г. Н. Потанина, характеризовал в этом плане и «Мещанское счастье».

«В повести «Мещанское счастье», — писал Берте, — ...оскорбленный плебей не скрывает своего сословного презрения к аристократам и называет их: «негодяи, аристократишки, бары-кулаки»... «черти, мерзавцы»... С своей стороны, дворяне, являющиеся здесь на сцене, заражены тем же предрассудком. Автор хотел показать неблагоприятные действия сословных предрассудков, и потому статью эту, отдельно взятую, нельзя назвать неблагонамеренною, особенно если бы были исключены некоторые неприличные выражения. Я указываю на нее потому только, что она принадлежит к характеристике направления журнала „Современник"» (Дело Главного управления цензуры, 1861, № 119). Центральным эпизодом повести и ее идейным ядром действительно является столкновение «плебея» Молотова с «аристократишками» и «барами» Обросимовыми, однако Берте заблуждался, полагая, что Помяловский осуждал только «неблагоприятные действия» сословных предрассудков. Писатель стремился показать не только и не столько нелепость сословных предрассудков, сколько непримиримость классовых интересов и культурных навыков разночинной интеллигенции и дворянства.

По докладу Берте цензор «Современника» В. Н. Бекетов получил строгий выговор, а редакция журнала — предостережение, что если направление его не изменится, он будет запрещен (Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1861, № 61).

Стр. 122. *Марлинский* — литературный псевдоним писателя-декабриста Александра Александровича Бестужева (1797—1837). В 1830-е годы его романтические повести имели огромный успех, но вскоре были развенчаны Белинским.

«Всех цветочков боле розу я любил...» и *«Стонет сизый голубочек...»* — романсы на слова поэта И. И. Дмитриева (1760—1837), одного из видных представителей русского сентиментализма.

Стр. 123. Романы Жорж Занд, пропагандировавшие идеи женской эмансипации, посвященные борьбе женщины с мещанской

моралью, пользовались большой популярностью в России в 40-х годах и были высоко оценены передовыми русскими писателями — Белинским, Салтыковым-Щедриным, Герценом и др. Вместе с тем они считались «модными» и в общественных кругах, усвоивших лишь одну внешнюю либеральную фразеологию. К числу этих следящих за «модой» людей принадлежит и Лизавета Аркадьевна.

Стр. 129. *...хозяин почти всегда ломается над наемщиком...* — Здесь слово «наемщик» употреблено в смысле «наемник».

Стр. 132. *Варламов* Александр Егорович (1801—1848) — композитор, автор ряда широко известных в свое время романсов.

Стр. 145. *Пески, Коломна, Петербургская сторона* — районы Петербурга.

Стр. 150. *«В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть...»* — первые строки стихотворения Лермонтова «Молитва».

Стр. 186—187. *...это господин Арбенин сказал! ...большой барин и большой негодяй!* — Владимир Арбенин — герой юношеской драмы Лермонтова «Странный человек». Приведенные Помяловским слова не являются цитатой. Очевидно, речь идет о следующей сцене.

«Белинский. Несчастные мужики! Что за жизнь, когда я каждую минуту в опасности потерять все, что имею, и попасть в руки палачей!

Владимир. Есть люди, более достойные сожаленья, чем этот мужик. Несчастия внешние проходят, но тот, кто носит всю причину своих страданий глубоко в сердце, в ком живет червь, пожирающий малейшие искры удовольствия... тот, кто желает и не надеется... тот, кто в тягость всем, даже любящим его... тот! но для чего говорить об таких людях? им не могут сострадать: их никто, никто не понимает.

Белинский. Опять за свое! О эгоист! как можно сравнивать химеры с истинными несчастиями? Можно ли сравнить свободного с рабом?

Владимир. Один раб человека, другой раб судьбы. Первый может ожидать хорошего господина или имеет выбор — второй никогда. Им играет слепой случай, и страсти его и бесчувственность других — все соединено к его гибели».

Молотов

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1861, № 10, стр. 295—450.

Помяловский сразу задумал произведение в нескольких или, во всяком случае, в двух частях. Об этом говорит прежде всего под-

заголовок «Мещанского счастья» при его публикации в «Современнике» — «Повесть первая». Об этом же свидетельствует единственное место «Мещанского счастья», где упоминается имя Череванина, который, как известно, появляется только в «Молотове». «Молотов пошел однажды к товарищу, Череванину, — пишет Помяловский, — о котором говорили, что он с «философским направлением» *(мы с ним встретимся еще)* и у которого любили собираться студенты» (курсив мой. — *И. Я.*).

Помяловский приступил к работе над «Молотовым» вскоре после того, как было напечатано «Мещанское счастье». Работа пошла быстро. Помяловского побуждали к этому и внешние причины — редакция «Современника» торопила его, желая поскорее напечатать продолжение «Мещанского счастья». О спешном писании «Молотова» сам Помяловский говорил П. Д. Боборыкину (П. Д. Боборыкин, Из воспоминаний о пишущей братии. — «Биржевые ведомости», 1878, № 153). А. Н. Пыпин в своей статье о Помяловском также отметил, что «он очень торопливо писал «Молотова», свою лучшую вещь» («Современник», 1864, № 11—12, стр. 84). Наконец, о том же узнаем из биографического очерка Благовещенского. По его словам, Помяловскому «за недостатком времени» пришлось отбросить какие-то элементы первоначального замысла и «посократить» последние страницы, столь важные для раскрытия идейного смысла повести. Спешной работой объясняются, очевидно, некоторые мелкие промахи. Так, например, из «Мещанского счастья» мы узнаем, что Негодящев был на юридическом факультете, а Молотов — на историческом; в «Молотове» же, описывая следствие, Череванин восклицает: «Весь юридический факультет выскочил из головы доброго парня» (т. е. Молотова).

Работая над «Молотовым», Помяловский использовал некоторые из своих очерков, написанных одновременно с «Вуколом», т. е. за три года до этого. Эти очерки известны нам только по названиям, и можно лишь с некоторой долей вероятности догадываться, что «Человек подражательный» мог пригодиться Помяловскому для характеристики Касимова-сына, а «Дневник девицы» — для характеристики Нади.

Благовещенский отметил автобиографические черты образа Череванина: «В лице Череванина он во многом выразил свой собственный образ мыслей того времени и даже свою манеру выражений». Некоторые факты подкрепляют это утверждение. В «Молотове» есть такое место: «Скучно будет, лягу на диван, задеру на стену ноги и буду ждать час, другой, третий; выжду же, что переменится расположение духа; а не то выйду на улицу и буду ходить до изнеможения... Скучно тебе? — спросил себя художник и сам же

ответил: — Скучно. Ну, и пусть скучно! — прибавил он». И немного дальше: «Скучно тебе? — говорил он, выходя из ресторана. — Скучно! — А мне какое дело? пусть скучно!» А за два года до «Молотова», в марте 1859 г., Помяловский писал Благовещенскому: «Впрочем, я сам мало обращаю ныне внимания на свои душевные расположения. Мрачно, глупо, нескладно на душе: ну, так что же? — думаю себе, — пусть его нескладно! мне-то что за дело? Лягу на диван и дожидаюсь, скоро ли наступит другое расположение духа». И через полстраницы, как и в повести, снова: А станет скучно, так подражай мне. Ну скучно, так скучно, ведь пройдет, и дожидайся, скоро ли пройдет. И действительно, всегда проходит» (Полное собрание сочинений, т. 2, М.—Л., 1935, стр. 269). Сходство разительное. Насмешке Череванина над словами «среда заела» соответствует аналогичное заявление самого Помяловского в письме к Я. П. Полонскому от 4 ноября 1862 г. (там же, стр. 275). Наконец, Череванин, когда ему изменила невеста, хотел броситься в Неву. О подобном же намерении Помяловского, когда выяснилось, что любимая девушка не может стать его женой, узнаем из того же письма к Полонскому.

Некоторые автобиографические черты вложил, по-видимому, Помяловский и в Молотова, хотя общий облик писателя имеет с ним мало сходства. Вообще следует подчеркнуть, что автобиографические черты не только Молотова, но и Череванина не дают, конечно, оснований для отождествления с ними Помяловского.

В повести упоминается ряд исторических фактов и имен, благодаря которым время ее действия может быть отнесено к 1859 или 1860 г. Эти упоминания связаны со злобой дня — итальянской национально-освободительной войной, начавшейся в 1859 г. *Кавур* Камилло Бензо (1810—1861) — итальянский государственный и политический деятель, вождь либералов; *Антонелли* Джакомо (1806—1876) — кардинал, председатель Государственного совета Папской области, ярый реакционер; *Виктор-Эммануил* (1820—1878) — сардинский, а впоследствии итальянский король. Если бы действие повести было отнесено к тому моменту, когда Помяловский писал ее, то Кавур, умерший 6 июня 1861 г., не был бы упомянут как живой человек. С приурочением действия повести к 1859—1860 гг. согласуется также упоминание о смерти Гумбольдта как о злободневном событии. Немецкий ученый-натуралист и путешественник Александр Фридрих *Гумбольдт* (1769—1859) умер 6 мая 1859 г. В соответствии с этим время действия «Мещанского счастья» должно быть отнесено приблизительно к 1848 или 1849 г. (в первой повести Молотову двадцать два, а во второй — тридцать три года).

При печатании «Молотова» в «Современнике» слова «институт», «институтский» на страницах, посвященных обучению Нади Дороговой, были заменены словами «заведение», «пансион», «пансионный». Описанные Помяловским нравы цензор считал слишком компрометирующими казенное учебное заведение — притом еще находящееся в ведении «Ведомства учреждений императрицы Марии, состоящих под непосредственным их императорских величеств покровительством», — и перенес их на частное — пансион. В цензурной практике 60-х годов это был очень распространенный случай; см. воспоминания редактора «Журнала для воспитания» А. А. Чумикова («Русская старина», 1899, № 12, стр. 588 и 590).

Стр. 203. *...с знаменитыми домами Сенной площади.* — Район Сенной площади в Петербурге был приютом нищеты и преступного мира. Там помещались ночлежные дома, притоны и пр.; там же находилась и так называемая Вязевская лавра — огромные населенные беднотою дома, принадлежавшие Вяземскому.

Стр. 205. *«Бова»* — старинная повесть о Бове-королевиче, пользовавшаяся большой популярностью и получившая широкое распространение в лубочных изданиях.

Стр. 213. *...приглашает к зеленому столу* — то есть к карточному столу.

...смешивал... службу делу со службою лицу — перефразировка строки из «Горя от ума» Грибоедова: «Кто служит делу, а не лицам» (слова Чацкого).

Стр. 215. *...лирические порывы из верхнего этажа вниз головою и тому подобные идеально-широко-бесшабашные атрибуты...* — Насмешка над А. А. Фетом. В своей программной статье о стихотворениях Тютчева, в которой он развивал идеи искусства для искусства, Фет, характеризуя черты, присущие, с его точки зрения, истинному поэту, писал: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик» («Русское слово», 1859, № 2, отд. 2, стр. 76).

Стр. 233. *«Что ты жадно глядишь на дорогу»* — первая строка стихотворения Некрасова «Тройка», ставшего народной песней.

Начальница была так высоконравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов... — Незадолго до напечатания «Молотова», в марте 1861 г., в сатирическом журнале «Искра» появилась карикатура Н. А. Степанова с таким сопроводительным диалогом: « — И житья-то она, кажется, целомудренного. — П р и ж и в а л к а. И не говорите, матушка, она примерного благонравия. Толкнулась я как-то к моей благодетельнице

в последний день масленицы, так она при мне изволила отдать приказание вывести на семь недель петухов из своего курятника» («Искра», 1861, № 8, стр. 112). По всей вероятности, карикатура связана с каким-то конкретным фактом. Факт этот мог быть одинаково известен и Помяловскому и Степанову; однако возможно, что Помяловский узнал о нем именно из карикатуры, запомнил ее и использовал при писании повести.

Стр. 238. *«Исаие, ликуй!»* — слова из церковного песнопения при совершении свадебного обряда.

Стр. 244. *..не увидите у него Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских...* — Статуи Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской — одни из лучших образцов античного искусства.

Стр. 245. *«Погибшее, но милое созданье»* — слова из «Пира во время чумы» Пушкина.

Стр. 246. *...это он о Суэзском перешейке валяет!* — Еще в 1854 г. король Египта предоставил французскому предпринимателю и дипломату Ф.-М. Лессепсу концессию на прорытие канала через Суэцкий перешеек, но из-за противодействия Англии работы были начаты лишь в апреле 1859 г.

Стр. 247. *Группы, выставленные на Аничкинском мосту...* — четыре скульптурные группы работы П. К. Клодта (1805—1867), изображающие коней и удерживающих их обнаженных юношей.

Стр. 248. *«В ту страну, где апельсин растет»* — слова из песни Миньоны в романе Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

Стр. 250. *...прочитайте „Манон Леско"...* — «Приключения кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) — роман французского писателя аббата А.-Ф. Прево д'Экзиль (1697—1763).

Стр. 251. *«Как это вы пишете обличительные очерки?»* — Речь идет о так называемой обличительной литературе, обличительстве, получивших распространение во второй половине 50-х гг. «Обличительство» было одним из характерных проявлений поверхностного либерализма. «Обличители» ополчались на частные и мелкие недочеты, на отдельные злоупотребления чиновников, помещиков и пр., не связывая их с основами социально-политического строя крепостнической России. Революционные демократы всячески высмеивали эту мелкотравчатую «обличительную литературу», считая, что она затушевывает подлинные причины общественного зла, социальной несправедливости и мешает борьбе за коренное общественное переустройство.

Стр. 269. *Дацниаро* — владелец художественного и антикварного магазина в Петербурге.

Стр. 271. *С чувством, с толком, с расстановкой* — слова из «Горя от ума» Грибоедова.

Стр. 288. *...прочитав тургеневского «Фауста», хотела иметь гётевского...* — Рассказ Тургенева «Фауст» был написан и напечатан в 1856 г. Существенную сюжетную роль в этом рассказе играет «Фауст» Гёте.

Стр. 346. *Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — реакционный драматург и беллетрист 30—40-х гг.

Стр. 349. *«И на челе его высоком не отразилось ничего»* — строки из поэмы Лермонтова «Демон».

Стр. 355. *Дворник* — хозяин постоялого двора.

Стр. 358. *«Все куплю, сказало злато; все возьму, сказал булат»* — строки из стихотворения Пушкина «Золото и булат».

Содержание

Николай Герасимович Помяловский

СОЧИНЕНИЯ, т. 1

Редактор В. Морозова. Художественный редактор Л. Чалова. Технический редактор В. Алексеева. Корректоры В. Урес и Е. Хваленская.

Сдано в набор 11/II 1965 г. Подписано к печати 13/IV 1965 г. Бумага 84×108 1/32—11,75 печ. л. 19,74 усл. печ. л. 19,56 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1183. Цена 69 к.

Издательство «Художественная литература»
Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета министров СССР по печати, Измайловский проспект, 29